Я 252
Я 238

СТАРАЯ СИБИРЬ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

ОГИЗ ИРКУТСК 1939

Я 252/238

Тб(91)

2 176/Я 252/238
ОПБ Тв(91) Же-825
Тв

СТАРАЯ СИБИРЬ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

СОСТАВИЛ Б. ЖЕРЕБЦОВ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ Б. ЖЕРЕБЦОВА

Под редакцией В. И. Соколова

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИРКУТСК—1939

Всесоюзная
БИБЛИОТЕКА
имени
В. И. ЛЕНИНА

71836-40 пр 42

2007333114

СТАРАЯ СИБИРЬ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ.

I

— Ой ты, горечь, злая мачеха, Сибирь.
Снежной степью разметалась вдоль и вширь,
Неприветна, непривольна, нелюдна,
Неприглядна, неприютна, холодна...

Такое мрачное, безрадостное впечатление производила на поэта П. Шумахера старая царско-капиталистическая Сибирь.

Другой поэт К. Ф. Рылеев назвал Сибирь «страной изгнанья» и надолго, на десятилетия, предопределил в русской художественной литературе образ этой неприветной, неприютной, каторжной страны.

И даже поэт-сибиряк, пламенный патриот своей холодной родины, И. В. Федоров-Омулевский писал о родном крае (стих. «Если ты странствуешь, путник», 1865 г.):

— Там сквозь снега и морозы
Носятся мощные звуки;
Встретишь людей там, что терпят
Муки за муки...

Сибирь входила в сознание дореволюционного читателя прежде всего как край изгнанья и страданий, как место ссылки и гибели всего живого. Чуть ли не с первого десятилетия своего присоединения к России Сибирь стала для царского правительства местом ссылки его политических противников. По сибирской тайге и болотам влачил свою неволю непримиримый фанатик протопоп Аввакум. В глухом Илимске томился первый русский революционер А. Н. Радищев. «Во глубине сибирских руд» хранили гордое терпенье декабристы. В далеком северном Вилюйске был заживо похоронен вождь революционной русской демократии 60-х годов Н. Г. Чернышевский. В сибирской каторге едва не сгиб Ф. М. Достоевский. Не перечесть имен всех замученных, погибших, похороненных в этой далекой и суровой стране. Сибирь—звучало страшно.

На деле старая Сибирь была не такой ужасной, какой она представлялась сознанию дореволюционного читателя. Внимательные, вдумчивые наблюдатели, даже попавшие в этот край не по своей воле и потому имевшие право быть предубежденными против него, предсказывали Сибири великое будущее. Декабрист И. И. Пущин писал из Сибири директору Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардту:

«Я не иначе смотрю на Сибирь, как на Американские Штаты. Она... богата всеми дарами царства природы. Измените несколько постановления, все пойдет улучшаться» *.

Такое же мнение о Сибири высказал другой декабрист, А. А. Бестужев-Марлинский:

«Сама природа указала Сибири средство существования и ключи промышленности. Схороня в горах ее множество металлов и цветных камней, дав ей обилие вод и лесов, но между тем заградив ее от Европы, она явно дает знать, что Сибирь должна быть страной фабрик и заводов» **.

Наконец, третий декабрист, серьезно и внимательно наблюдавший жизнь старой Сибири, А. Е. Розен также охотно сравнивал ее с Соединенными Штатами Америки:

«Сибири, может быть, предстоит в своем роде назначение Северной Америки, куда также за политические и религиозные мнения волею и неволею переселились изгнанники... Залогом хорошей будущности Сибири служат уже ныне три обстоятельства: она не имеет сословий привилегированных, нет в ней дворян-владельцев, нет крепостных, чиновников в ней немного. Сверх того, народ хорошо справляется на мирских сходках, трудится большей частью на земле привольной и справно выполняет все государственные повинности»***.

Великий русский революционер А. И. Герцен писал о Сибири:

«Сибирь имеет большую будущность: на нее смотрят только как на подвал, в котором много золота, много меху и другого добра, но который холоден, занесен снегом, беден средствами жизни, не изрезан дорогами, не населен. Это не верно.

Мертвящее русское правительство, делающее все насилием, все палкой, не умеет сообщить тот жизненный толчок, который увлек бы Сибирь с американской быстротой вперед...» ****

О большом будущем Сибири сочувственно писали также И. А. Гончаров (последняя часть путевых очерков «Фрегат Паллада»), А. П. Чехов (очерки «Из Сибири», 1890 г.), и многие другие дореволюционные писатели. Правда, предсказания их имели ввиду возможный переход Сибири на рельсы капиталистического

* И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма. М., 1934 г., стр. 178—179.

** «Отрывки из сибирских рассказов», 1829 г.

*** А. Е. Розен. Записки декабриста. СПБ, 1907 г., стр. 213.

**** А. И. Герцен «Былое и думы», 1937 г., ч. 2, стр. 419.

прогресса, но у А. П. Чехова проскользнула более глубокая, почти пророческая нотка в следующих словах:

«На Енисее жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая с страшной быстротой и силой мчится в суровый Ледовитый океан... Я стоял и думал: какая полная, умная и светлая жизнь осветит со временем эти берега!»

Великая Октябрьская социалистическая революция осуществила мечтания Чехова. На берегах Енисея, Оби, Иртыша и других сибирских рек ныне могучим ключом бьет полная, умная и светлая советская жизнь. Старая каторжная, купеческо-чиновничья, кулацкая Сибирь превратилась в Сибирь советскую, колхозную, индустриальную—социалистическую Сибирь, неотъемлемую часть нашей великой родины.

II

Свободную, счастливую и радостную жизнь дала Сибири только Октябрьская социалистическая революция, свергнувшая в нашей стране власть капиталистов. Правящие классы старой царской капиталистической России делали все от них зависящее для того, чтобы держать Сибирь на положении отсталой, угнетенной, беспощадно обираемой окраины.

Русской буржуазии Сибирь была нужна как источник дешевого сырья и рынок сбыта промышленных товаров фабрик и заводов центральной России.

«Народ здесь, в Сибири,—говорил А. П. Чехову один случайно встреченный им в Сибири торговец,—темный, бесталанный. Из России везут ему сюда полушубки, и ситец, и посуду, и гвозди... Жалко смотреть, господин. Человек-то ведь здесь стоющий, сердце у него мягкое, он и не украдет, и не обидит, и не очень чтобы пьяница. Золото, а не человек, но гляди, пропадает ни за грош, без всякой пользы, как муха или, скажем, комар».

Царское правительство и правящие классы сознательно стремились держать рабочих и крестьян Сибири, не говоря уже о сибирских народах, в жестокой кабале, невежестве и темноте.

В этом обширном, отдаленном, культурно и экономически отсталом крае всякий самомалейший начальник, от губернатора до сельского писаря, мнил себя царем и богом. Известна поговорка: «На небе бог, а на Камчатке Кох». Старая царско-чиновничья Сибирь знала таких диких самодуров, как иркутский воевода 1719—22 гг. Лаврентий Ракитин, беспощадно истязавший кнутом всех ему подвластных, или знаменитый лихоимец князь Матвей Гагарин (первый сибирский губернатор в 1710—19 гг.), которого за его исключительные «подвиги» по части лихоимства даже царское правительство оказалось вынужденным предать смертной казни; или иркутский губернатор начала XIX в.

Н. И. Трескин, или, наконец, начальник нерчинских заводов «шалун» В. В. Нарышкин, в самом деле спятивший с ума на том, что он является царем Сибири.

О лихоимстве нечего и говорить. Сибирские сатрапы—взяточники и вымогатели были редкостными экземплярами даже в дореформенной гоголевско-щедринской России.

От чиновников не отставали купцы. Сибирские купцы и золотопромышленники не останавливались ради наживы ни перед какими преступлениями, вплоть до убийств и делания фальшивых денег.

Что касается сибирских золотопромышленников, то они на своих таежных приисках чувствовали себя совершенно независимыми владетелями. «Золотопромышленник,—писал в 80-х годах сосланный в Сибирь народник И. П. Белоконский («По тюрьмам и этапам», Орел, 1887 г., стр. 229),—это сибирский помещик, хуже того—это рабовладелец в полном смысле слова; помещик, ради собственного благосостояния, иногда заботился о крестьянине, предупреждая хотя бы невыгодную для него смертность; золотопромышленник смотрит на рабочего, как на вещь, которая если и пропадет—ему безразлично». Золотопромышленникам ничего не стоило вывезти заболевшего рабочего с прииска в тайгу и бросить его на муравейнике на съедение заживо муравьям (см. в настоящем сборнике главу «Из быта рабочих сибирских золотых приисков», стр. 133).

Что творили в старой сибирской деревне свирепые мироеды-кулаки, хорошо описано в рассказе известного писателя-сибиряка Н. И. Наумова «Деревенский торгаш» (1871 г.). Мощный слой всесильного кулачества сложился в сибирской деревне еще в XVIII столетии. Известный историк В. И. Семевский говорит в своей работе «Казенные крестьяне при Екатерине II» («Русская старина», 1879 г., кн. 1—2, стр. 264—266) об одном сибирском кулаке-крестьянине горнозаводского ведомства Томской губ., Новикове, который держал до 80 годовых работников-батраков и более 40 приказчиков по своим торговым делам. Новиков вел крупную торговлю хлебом и скотом; под его дудку плясали не только зависимые от него во всем крестьяне, но и власти, от волостных старшин до высших уездных чиновников.

В. И. Ленин в своей классической работе «Развитие капитализма в России», писанной в Сибири, привел статистические данные о классовом расслоении сибирского крестьянства в конце XIX века. «Весьма интересно наблюдать,—писал Ленин (Соч., т. III, стр. 84—85),—что отношения зажиточного сибиряка к поселенцу... в сущности совершенно тождественны с отношениями наших зажиточных общинников к их безлошадным и однолошадным «собратам».

Сибирское кулачество беспощадно эксплоатировало и ссыльно-поселенцев, и переселившихся в Сибирь из-за Урала новоселов, и «собственную» деревенскую бедноту из старожилов.

И, наконец, духовенство, миссионеры—«просветители» сибирских народов и простые сельские попы, посильно обиравшие свою крестьянскую паству. История запечатлела множество вопиющих фактов поповских издевательств над вверенной их опеке «паствой». В 1809 г., например, якуты Борогонского аймака подали начальству жалобу на якутского протоиерея Слепцова, который разъезжал по улусам со множеством сопровождающих, не платя прогонных денег, заставлял якутов покупать у него порох по неимоверной цене и, чтобы скрыть свои проделки, ложно донес на якутов, будто они устроили возмущение с целью помешать ему проповедывать «слово божие». На Слепцова жаловались и чукчи. Священника Попова эвенки хотели убить за то, что он насиловал их жен и дочерей; он же пытался изнасиловать двух якутских девушек. Другой священник обвинялся в покушении на изнасилование своей 60-летней тетки *. Как правило, попы венчали, исповедывали, хоронили только за более или менее крупную мзду, граничащую с вымогательством.

Политическая и экономическая кабала в старой Сибири сочеталась с ужасающей культурною отсталостью, даже по сравнению с тогдашней зауральскою Россией. В старой Сибири вплоть до второй половины XIX века не было ни местной общественной печати, ни литературы, ни театра. Культурная жизнь ограничивалась чрезвычайно редкими любительскими спектаклями, балами и военными парадами: все интересы местного чиновничье-купеческого «общества» вращались исключительно в сфере наживы; нравственный и культурный уровень его был очень низок.

«Во всей Сибири,—писал в 60-х годах Н. М. Ядринцев (статья «Сибирь к 1 января 1865 г.», «Томские губернские ведомости», 1865 г., № 1),—нет ни одной частной типографии, нет даже книжных лавок, как будто умственная жизнь чужда Сибири и ее городские жители более нуждаются в винных погребках, чем в великом изобретении Гутенберга».

Книжная торговля зародилась в Сибири лишь в 80-х годах XIX в. Тогда же появилась и местная общественно-прогрессивная печать (иркутская «Сибирь», «Сибирская газета» в Томске, «Восточное обозрение» в Петербурге).

Первые народные (губернские) училища в Сибири были открыты—в Иркутске и Тобольске—в 1781 г., первые гимназии, в тех же двух городах,—в 1805 и 1810 гг. Первое женское учебное заведение—«Сиропитательный дом Елизаветы Медведниковой»—открылось в Иркутске в 1838 г., Девичий институт—в 1845 г., Омский кадетский корпус—в 1846 г. Но и после этого дело народного просвещения в Сибири далеко отставало, как вследствие отсутствия хороших педагогов, так и вследствие не-

* В. И. Вагин. Исторические сведения о деятельности гр. М. М. Сперанского в Сибири. СПБ, 1872 г., ч. II, стр. 113—114. См. также С. В. Максимов. Сибирь и каторга. СПБ, 1871 г., ч. II, стр. 225—230.

многочисленности контингента учащихся. В 1872 г., например, курс тобольской классической гимназии окончил всего один ученик, курс красноярской гимназии в 1874 году окончило три человека. В 80-х годах в Томской губернии один учащийся приходился на 180 человек, а в Якутской области—на 412,2 чел. очень редкого населения *. Понятно, большинство учащихся, особенно в средних учебных заведениях, составляли дети зажиточных чиновников, купцов, духовных лиц, а в деревне—кулаков. Детям рабочих, городской бедноты и трудящихся крестьян доступ к образованию был закрыт.

III

Не следует однако слишком сгущать тона и рисовать всю жизнь старой дореволюционной Сибири одной черной краской. В глухой тьме сибирской ночи вспыхивали иногда огоньки; иные из них светили довольно долго и согревали окружающую общественную почву. Огни эти не сливались в большое пламя общенародного движения, но все-таки они существовали.

Такими огоньками среди ночи была, например, общественная деятельность политических ссыльных—от декабристов до социал-демократов—большевиков. Особенно важна подпольная революционная деятельность ссыльных и местных большевиков по политическому воспитанию сибирского пролетариата. «Сибирь,—говорит Е. Ярославский **,—была особенно богата представителями всех революционных течений... Сибирь была средоточием, где наиболее крупные и видные деятели революционного движения, правда, невольно, проводили целые годы».

Достаточно напомнить, что в сибирской ссылке несколько лет провел В. И. Ленин.

«В ссылке Ленин продолжал революционную работу. В ссылке Ленин закончил важнейшую научную работу «Развитие капитализма в России», завершившую идейный разгром народничества. Там же он написал известную брошюру «Задачи русских социал-демократов».

Несмотря на то, что Ленин был оторван от непосредственной революционно-практической работы, он все же сумел сохранить кое-какие связи с практиками, вел с ними переписку из ссылки, делал запросы, давал им советы». (Краткий курс истории ВКП(б), стр. 23).

Старая Сибирь выдвинула на арену русской общественной жизни целый ряд видных деятелей-сибиряков. Это—П. А. Словцов, первый сибирский ученый и публицист, автор «Исторического обозрения Сибири» и «Писем из Сибири»; декабрист Г. С. Батеньков; известный русский историк А. П. Щапов; известный в

* Ядринцев. Сибирь как колония, стр. 565 и 571.

** См. сборник «Сибирский Союз РСДРП», М. 1935 г., стр. 3—4.

свое время публицист, теоретик раннего народничества Г. З. Елисеев; выдающиеся общественные деятели—Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев, С. С. Шашков, Н. А. Белоголовый; писатели—П. П. Ершов (автор «Конька-горбунка»), Н. И. Наумов, И. В. Федоров-Омулевский, И. А. Кущевский, художник В. И. Суриков и др. Край, давший таких деятелей, должен был обладать—и обладал—большою жизненною силой. Очень характерно, что почти все выдающиеся старые сибирские деятели вышли из среды мелкой и средней сибирской буржуазии.

Даже в среде хищной и невежественной (в массе) местной буржуазии встречались выдающиеся личности. Иркутского купца С. С. Дудоровского, который знал несколько азиатских и европейских языков и «в науках не уступал архиерею», можно назвать одним из первых сибирских областников. Иркутский купец второй половины XIX в. В. П. Сукачев составил замечательную для своего времени и для провинции картинную галлерею, красноярский купец Г. В. Юдин—ценную библиотеку. Золотопромышленники И. М. и А. М. Сибиряковы известны своим покровительством многим научным предприятиям.

Первый общедоступный театр в Сибири был основан в 1805 г. в Иркутске ссыльными князем В. Н. Горчаковым и бывшим гвардейским офицером А. П. Шубиным. Но еще двумя годами ранее, в 1803 г., иркутский купеческий сын Е. П. Солдатов пытался основать в Иркутске театр «для всей публики», с труппой из гарнизонных солдат и канцеляристов (впрочем, театр Солдатова просуществовал очень короткое время).

Первая общественная библиотека в Иркутске была основана купцом А. М. Балдаковым в 30-х годах XIX в., т. е. тогда, когда декабристы только еще начали выходить из каторжной тюрьмы на поселение и не могли еще влиять культурно на местную общественную жизнь.

В организации первых сибирских общественных газет «Амур» (1860—62 гг.), «Сибирь» (1875—87 гг.) и «Сибирская газета» (1882—88 гг.) видное участие, наряду с политическими ссыльными, принимали представители передовой части сибирского купечества и местной буржуазной интеллигенции.

Сибирский пролетариат своим революционным воспитанием всецело обязан партии большевиков, в частности стоявшему на искровской платформе Сибирскому социал-демократическому союзу.

В 1905 году сибирский пролетариат показал себя уже достаточно зрелым и сознательным, способным на активную революционную борьбу против самодержавия. Достаточно напомнить всеобщую забастовку сибирских железнодорожников в октябре 1905 г., или «Красноярскую республику», или вооруженное декабрьское восстание рабочих красноярских ж.-д. мастерских.

Сибирское трудовое крестьянство в период партизанской борьбы с колчаковщиной также доказало, какая огромная революционная энергия таится в его недрах.

Освобожденные Великой Октябрьской социалистической революцией народы Сибири рука об руку с русским народом строят свою новую, счастливую и радостную жизнь и свою культуру, национальную по форме, социалистическую по содержанию.

IV

История культурного развития Сибири еще не написана (как, впрочем, вообще история Сибири). Для нее пока приходится лишь подбирать и систематизировать материалы.

Из этого беглого очерка, который мы даем в качестве предисловия ясно, как много интересных моментов и фактов таится в материалах по сибирской истории. Не менее ясно и то, что многие из них нуждаются не только в извлечении их из архивов, но и в правильном освещении, в обнаружении исторического их смысла и значения.

Среди исторических материалов, освещающих ту или иную сторону минувшей действительности, особое место занимают мемуары. Записи современников, рисующие жизнь старой Сибири в ее конкретной, красочной и многообразной полноте, и положены в основу настоящей книги.

Вообще говоря, мемуары—не вполне надежный исторический источник. Классовая принадлежность мемуаристов, условия жизни и воспитания, политические убеждения, привычки, предрассудки, личные вкусы и склонности, симпатии и антипатии,—все это накладывает на мемуары неизбежный отпечаток.

Но из этого отнюдь не следует, что историку не нужно использовать мемуары. Мемуары лучше, чем другие исторические источники, дают почувствовать тепло и трепет давно умершей жизни, почуять ее аромат, цвета и звуки. Мемуары—не сухие хроники, а живой рассказ о прошлой жизни и людях, написанный с гневом и болью или с улыбкой светлого воспоминания. Мемуары—это почти художественное произведение, помогающее историку восстановить картину прошлой жизни во всей ее конкретности и полноте.

На комментатора ложится обязанность проанализировать «направление» мемуариста, подметить его ошибки и указать на них читателю, проверить приводимые им сведения по другим источникам, исправить, если нужно, и дополнить их. Комментарий устраняет субъективность мемуаров и делает их полноценным историческим источником.

В настоящий сборник включены отрывки из наиболее интересных мемуаров современников о старой Сибири. Большинство этих мемуаров написано сибиряками или лицами, прожившими в Сибири много лет и хорошо изучившими местный быт и нравы.

Жизнь старой Сибири встает со страниц мемуаров перед современным советским читателем, как живой и движущийся кинофильм.

Старые сибирские мемуары разбросаны по старым, редким книгам и журналам и в настоящее время трудно доступны для широкого читателя. Сведение их в сборник представляется полезным.

При подборе мемуаров главное внимание уделено истории общественных движений, быта и культуры. Таким образом, настоящий сборник не дублирует ни одной из выходивших ранее сибирских исторических хрестоматий.

Само собою разумеется, историю культурного развития Сибири нельзя изучать оторванно от истории развития ее экономической и общественно-политической жизни. Каждая глава настоящей книги сопровождается вступительными комментариями. Комментарии эти раскрывают социально-исторический характер данного общественного движения (например, сибирского областничества) или культурно-бытовых «надстроек», о которых говорится в мемуарах.

Старые сибирские мемуаристы главное свое внимание уделяли жизни сибирских городов. Это вполне понятно: большинство мемуаристов было или чиновниками, или литераторами, или просто городскими обывателями, и знало крестьянскую жизнь только понаслышке или по нечастым наездам в деревню. Этот дефект сибирских мемуаров сказался и на настоящем сборнике: в нем главным образом отражена жизнь старого сибирского города *.

Главное внимание уделено Иркутску, потому что Иркутск еще с XVIII века стал играть первенствующую роль в истории Сибири; с начала XIX в., когда было образовано Сибирское генерал-губернаторство, его даже прозвали «столицей Сибири». На примере Иркутска рельефнее и резче выступают характерные черты старой сибирской городской жизни.

Включенные в настоящий сборник мемуары рисуют жизнь русского населения старой Сибири. Материалы о жизни сибирских народов должны, по нашему мнению, составить особую книгу, тем более, что литературы мемуарного характера по этому вопросу почти нет.

Объем настоящего сборника не позволил использовать всю, довольно богатую, мемуарную литературу о старой Сибири. В частности, остались неиспользованными такие интересные мате-

* Впрочем, старая сибирская деревня неплохо описана старыми сибирскими писателями-беллетристами, в частности Н. И. Наумовым, и читатель может обратиться к произведениям этих писателей.

Художественные материалы о старой Сибири собраны в книге «Сибирь в художественной литературе», выпущенной в 1938 г. Новосибирским областным издательством. Избранные произведения Н. И. Наумова переизданы тем же издательством в 1937 г. («Рассказы о старой Сибири», Новосибирск, 1937 г.).

риалы, как автобиография известного сибирского историка С. С. Шашкова (газ. «Восточное обозрение», 1882 г., №№ 27—32), содержащая немало сведений о быте старого иркутского купечества и духовенства, воспоминания В. И. Вагина «Сороковые годы в Иркутске» и мн. др. Часть этих материалов использована во вступительной статье и в комментариях к другим воспоминаниям.

Из обширной литературы о сибирской каторге и ссылке использована только та, которая так или иначе показывает взаимоотношения политических ссыльных с местным сибирским населением (см. главы «Сибирская общественность и декабристы», «Начало газетной печати в Сибири»).

По времени сборник обнимает мемуары, рисующие старую Сибирь до революции 1905 года, которая явилась переломным моментом и в жизни Сибири.

Сборник рассчитан главным образом на преподавателей истории в сибирской средней школе, нуждающихся в красочном материале для оживления уроков по истории Сибири. Но так как включенные в сборник мемуары написаны в большинстве литературно ярко, живо, красочно, то этот сборник прочтет с пользой и широкий советский читатель, интересующийся прошлым своего родного края.

Б. Жеребцов.

Глава I.

СИБИРСКИЙ БЫТ В КОНЦЕ XVIII—НАЧАЛЕ XIX вв.

Иркутск в конце XVIII—начале XIX в.в.—Костюмы иркутских жителей.—Торговля в Иркутске.—Устройство городских домов.—День в купеческом доме.—Именины.—Свадьбы.—Крестины.—Пасха.—Летние гуляния за городом.

Екатерина Алексеевна Авдеева, рожденная Полевая, старшая сестра известных литераторов Николая и Ксенофонта Алексеевичей Полевых, была одной из самых выдающихся женщин старой Сибири. Писатель-сибиряк 30-х годов XIX в. И. Т. Калашников рассказывает («Записки иркутского жителя», «Русская старина», 1905 г., кн. 7, стр. 201), что, встретившись однажды с Полевой в иркутском обществе, он был поражен ее незаурядными познаниями и развитием: «она прекрасно говорила и вела политический разговор о тогдашнем положении Европы—о чем иркутские дамы, за немногими исключениями, и помышлять боялись». Николай Полевой сообщает в своей автобиографии, что сестра впервые обучила его грамоте и внимательно следила за его интеллектуальным развитием, подготовляя с малых лет в нем будущего литератора. По словам Ксенофонта Полевого («Записки», СПБ, 1888 г., стр. 15—16), Екатерина Полевая своим пылким умом и любовью к чтению напоминала их отца, Алексея Евсеевича Полевого, представлявшего собой незаурядную фигуру в среде российского купечества XVIII в.

Е. А. Полевая родилась в 1789 г. в Курске и приехала в Сибирь маленькой девочкой, когда А. Е. Полевой поступил на службу Российско-Американской торговой компании. Е. А. прожила в Иркутске много лет и превосходно знала быт старинного иркутского купечества и зажиточного городского мещанства. Природа одарила ее наблюдательностью и несомненными литературными способностями. Однако, за перо она решилась взяться лишь в пожилых летах, когда братья, ставшие к тому моменту известными журналистами, уговорили ее написать воспоминания о жизни в Иркутске. «Записки и замечания о Сибири» Е. А. Авдеевой-Полевой изданы были Ксенофонтом Полевым в 1837 г. в Москве

и до сих пор остаются ценнейшим источником для изучения быта русского городского населения старой Сибири. А. Н. Пыпин в своей известной «Истории русской этнографии» (т. IV, стр. 443—445) отозвался с похвалой об этой книге. Авдеева задолго до Островского приподняла завесу над своеобразным «сибирским Замоскворечьем». Со страниц ее книги, написанной очень живым и легким языком, с безыскусственною простотой, перед современным читателем встает патриархальный и своеобразный, впрочем, в значительной степени идеализированный, быт старого русского купечества, почти не тронутый еще влиянием новейшей цивилизации. Во всей сибирской мемуарной литературе можно назвать лишь одну книгу, равную в этом отношении воспоминаниям Авдеевой—это «Записки иркутского жителя» И. Т. Калашникова.

Но нужно помнить, что далеко не все в быту сибирского купечества было так идиллично, как изображает Авдеева: под покровом патриархальности скрывались грубость нравов, дикость и невежество. Воспоминания Авдеевой интересны своей красочностью и живостью; они очень ярко, выпукло рисуют повседневный быт старинного сибирского купечества и городского мещанства, старинные обычаи, поверья, развлечения и т. д. и в этнографическом отношении очень ценны. Но эти мемуары страдают крайней субъективностью: Авдеева усиленно подчеркивает «чистоту» и строгость нравов старого иркутского купечества, от мемуаров ее веет розовой идиллией. Из многочисленных других источников мы знаем, что «чистота» сибирских нравов была весьма сомнительной, что грубость, дикость и невежество были характернейшими чертами старой сибирской жизни. Тон в этом отношении задавали купцы, составлявшие, наряду с чиновниками, преобладающий элемент местного сибирского «общества». Старая Сибирь не знала дворянско-усадебной культуры, лишь некоторые достижения этой культуры (например, театр) «импортировались» в Сибирь из-за Урала, наравне с модными шляпками, шампанским и стеариновыми свечами. Старая сибирская «культура» была преимущественно буржуазной, купеческо-мещанской: в ней было очень много пережитков первого периода завоевания Сибири.

Об этой старой сибирской «культуре», выражавшейся главным образом в неимоверных кутежах и безобразиях, сохранилось много достоверных исторических свидетельств, опровергающих оптимистические утверждения Е. А. Авдеевой. Вот, например, как описывал нравы иркутских купцов и чиновников 40-х годов XIX в. известный сибирский историк В. И. Вагин:

«Раз члены совета (или по тогдашнему советники) главного управления (генерал-губернатора Восточной Сибири—Б. Ж.) Тюменцев, Осипов и их знакомые с семействами гуляли за Ангарой, на нынешнем острове Любви, который тогда еще был по-

крыт кустарником. Там же гуляли какие-то мещане. Они о чем-то повздорили с господами. Эти, недолго думая, кликнули кучеров и при их помощи собственноручно совершили избиение злосчастных мещан. На другом таком же гуляньи какой-то купец (забыл фамилию) пустил пулю в столоначальника главного управления Парнякова и прострелил ему руку; делу не было дано огласки, но купец порядочно поплатился. Все это, разумеется, делалось в пьяном виде...»

Е. А. Авдеева прославилась впоследствии своими многочисленными сочинениями по вопросам домашнего хозяйства («Ручная книга русской опытной хозяйки», СПБ, 1842 г.; «Карманная поваренная книга», СПБ, 1846 г., и др.). Все эти книги были в свое время широко распространенными; некоторые из них выдержали более десяти изданий. В 1842 г. Авдеева издала «Записки о старом и новом русском быте». Эту книгу сочувственно отметил В. Г. Белинский (собр. соч. под редакцией С. А. Венгерова, т. VII, стр. 292—293), «как довольно добродушные рассказы умной и начитанной женщины».

Библиографию сочинений Е. А. Авдеевой-Полевой см. в «Библиографическом словаре русских писательниц» Н. Н. Голицына, СПБ, 1889 г., стр. 5—7.

Умерла Е. А. Авдеева 21/VII-1865 г. в Дерпте.

ИЗ КНИГИ Е. А. АВДЕЕВОЙ «ЗАПИСКИ И ЗАМЕЧАНИЯ О СИБИРИ».

Местоположение города Иркутска прелестно, особливо, когда подъезжаешь к нему из России. Летом надо переезжать Ангару на карбазе (так называют там плоскодонное судно вроде барки). Ангара вытекает из озера Байкал, верст за шестьдесят от Иркутска. Она соединяется близ города с Иркутом и обтекает Иркутск. За рекой виден обширный луг, а вдали Вознесенский монастырь...

В Иркутске полагают около шестнадцати тысяч жителей. Чиновники, купцы, мещане и цеховые составляют его народонаселение.

Жители Иркутска почти все бреют бороду и стригут волосы, не носят русских кафтанов, и даже черный народ носит летом халаты, а зимою тулупы, крытые китайкою или нанкою; летом круглые шляпы и картузы, а зимою шапки и меховые картузы. Отличительный наряд женщин низших сословий—покрывало, которое они называют накидкою... [1] Прежде все купчихи носили юбки и кофты, а на головах платки. Ныне все молодые женщины, купчихи, одеваются точно так же, как и в столице. В богатых купеческих домах женщины с давних времен подражали столичным модам, и нигде более, я думаю, не сохранились наряды прабабушек...

...Иркутск можно почесть средоточием и складочным местом

сибирской торговли. Все товары, идущие из России, проходят через Иркутск в Кяхту, Якутск, Охотск, Камчатку. Из России идут для Кяхты сукна, мерлушки, кошка, немецкие бобры, корсак, юфть, сафьян, козел; также изделия наших фабрик: затрапез, плис, зеркала, красные кораллы, которые китайцы и русские купцы называют маржан. Из пушных товаров, которые доставляет Сибирь, промениваются китайцам белка, лисица, низкие (по сорту—Б. Ж.) соболи, хорьки; бобры и выдры идут через Американскую компанию[2]. От китайцев получаются: чай разных сортов, как-то: байховый, черный, сквозник, цветочный разных сортов, зеленый и кирпичный, сахар-леденец, часть китайки, дабы, канчи, фанзы, чанчи[3], флер, трубки, небольшое количество фарфору и деревянной, крытой лаком посуды, разные сухие фрукты, виноград, плоды, табак курительный. Есть еще много товаров, промениваемых от русских купцов и выменниваемых от китайцев, но я не упоминаю обо всем подробно, ибо не смею взять на себя описывать такой важный предмет...

Из всех товаров, проходящих через Иркутск, оставляют нужное количество для города, а прочие отправляют в уездные города. Если чего нельзя иметь в Иркутске, то это свежих плодов; все другое можно достать. Есть много предметов промышленности, которые совсем другим образом производятся, нежели в России. Народ привык к этому порядку вещей; например, в Иркутске нет мучных лавок; всякий покупает в торговые дни, на рынке, муку пшеничную, крупу, овес; многие заготовляют все это на года, кто не в состоянии—те покупают понемногу...

Лет тридцать назад[4] в Иркутске вели жизнь патриархальную. Хозяйки сами занимались хозяйством; в семействах, где были женатые братья, невестки ходили поочередно в кухню смотреть за приготовлением кушанья, а девицы разливали чай... Девиц с малых лет приучали к хозяйству. В достаточных домах все заготовлялось впрок, годовое...

Лет сорок назад все домы строились самым старинным манером. Обыкновенно двор обносили высоким забором, что в Иркутске называют заплот; большие ворота были заперты засовом и отпирались только для проезда экипажей; для пешеходов была сделана калитка, у калитки задвижка, к которой привязывался ремешок... Передний двор вымощен бывал досками. Домы были высокие и строились в два жилья: вверху горницы, а нижнюю половину занимала кухня, которую называют там подклет, и кладовая, по-тамошнему подвал... В иных домах были мезонины, которые называют в Иркутске чердак; они были по большей части холодные. Горницы разделялись сенями на две половины; их обыкновенно называли задняя и передняя; передняя на улицу, а задняя во двор. Из сеней входили прямо в горницу... там на правой стороне изразчатая печь с вычурами. В переднем углу ставили образа; перед образами висели лампады с восковыми свечами... Комната обыкновенно

разделялась надвое; за перегородкой была спальня и стоял шкаф с посудой. В задних комнатах помещались дети; иногда старики-хозяева уступали переднюю горницу женатым сыновьям, а сами жили в задней. Трудно поверить, сколько помещалось людей в двух-трех комнатах. Можно сказать, что где нынче тесно четырем человекам, там в старину жили десять человек...

Жизнь была так же патриархальна, как и убранство комнат. В простые дни, вставши до света, разумеется зимой, все пили чай; мужчины зимой с рассветом, если семейство было большое. После этого, в купеческих семействах, одни оставались дома, а другие шли в гостиный двор; но прежде завтракали, потому что редко приходили зимою обедать, а если и приходили, то поздно. Обед в простые дни, когда случалось много дела, был в два часа; после обеда опять занимались всякий своим делом; часа в четыре пили чай, а часов в восемь или девять ужинали. После ужина женщины и особливо девицы сидели и шили. Где в семействе было несколько девиц и женщин, там все шили сами белье, платье и разные домашние мелочи. Девицы особенно занимались разными рукоделиями: вышивали шелками, золотом, фольгой, в тамбур и гладью, вышивали разными узорами полотенцы; но главное занятие было хозяйство. В больших семействах, как я уже сказала, ходили поочередно в кухню; но в праздники или именины там заботились все. Каждое воскресенье ходили к заутрене и к обедне. Обед в праздники был рано. После обеда старики отдыхали, а люди молодые ехали кататься или в гости. Даже в богатых домах вся прислуга состояла из двух или трех женщин: это были кухарка, горничная и при детях нянька. При такой чистоте и порядке, какой наблюдался во всех домах, немудрено, что хозяйкам было много дела.

...Именины праздновали в Иркутске обыкновенно вот каким образом: утром пекли множество пирогов, сдобных, из простого теста, с вареньем, изюмом, черносливом, винными ягодами, с пшеном сарачинским [5], капустой, морковью и другими начинками. Пироги рассылались к родственникам по три и по четыре пирога; где были маленькие дети, то клали маленькие пироги по числу детей. Разносили и развозили их женщины... Вечером, когда приезжали гости, подавали вина, потом кофе (хотя и не во время) и чай; к чаю подавали женщинам каждой тарелку с разным пирожным. В комнате, где сидели гости, стоял стол, уставленный вареньями и фруктами; мужчинам подавали после чаю вина и пунш. Они говорили о торговле, о вновь полученных известиях, о том, что пишут в газетах, которые многими получаются. Иногда вечер оканчивался танцами и ужином, но никогда не видно было карт.

Лет за тридцать свадьбы отправляли в Иркутске со многими обрядами. Как у бедных, так и у богатых отец и мать сначала советовались между собою; потом призывали жениха, объявляли, какую невесту назначают ему, и если она ему нравилась, то со-

бирали ближних родственников и советовались с ними; но это был уже только обряд, где объявляли, что намерены женить сына. Тогда из среды родных назначали одного, кого почитали способным к переговорам. Если назначаемая невеста не нравилась, то жених мог сам избирать, только с согласия родителей... Со стороны родителей и самого жениха почитали главным, чтобы невеста была хороша собою и кроткого характера и чтобы семейство ее было известно с хорошей стороны. Обыкновенно говорили: «Лучше взять без приданого, но доброго роду». Дочери сварливой женщины могли спокойно сидеть в девках, потому что о них говаривали: «яблоко недалеко падает от яблоньки». Хорошей рекомендацией почиталось и то, когда старшая сестра, вышедши замуж, была хорошая хозяйка и почтительна к старшим в семействе. Я упомянула уже, что о приданом никогда не рядились; всякий давал по своему состоянию. Много есть пословиц к этому случаю, которых я не слыхала нигде в другом месте. Например: «Платье на грядке, урод на руке. Не с высокими жить хоромами, не с частыми переходами, а жить с человеком. Не жени сына на теще, не отдавай дочери за свекра. Жена не скрипка, на спичку не повесишь». Последняя клонилась к тому, чтобы муж мог содержать жену. Девиц можно было видеть у обедни, на сговорах или у знакомых; но никогда не делали смотров, как ведется во многих местах России. Почли бы за обиду, если б кто предложил такую невежливость. Иногда делалось это, но инкогнито; т. е. приглашали невесту куда-нибудь к знакомым в гости, где был жених; однако, родители и невеста не знали этого.

Когда предварительно было все улажено, то сват отправлялся в дом невесты и делал предложение. Обыкновенно с одного разу не решались, а просили дать время подумать и посоветоваться с родными; это делалось даже и в таком случае, когда не намерены были выдавать: считали невежливостью отказать с первого раза. Если же почитали союз приличным, то приглашали ближних родственников и, посоветовавшись с ними, назначали день рукобитья. Прежде никогда не спрашивали согласия невесты: она должна была повиноваться слепо воле родителей; теперь это уже вывелось.

В назначенный день приезжал сват. Обряд рукобитья состоял в том, что зажигали свечи у образов, молились богу, и отец и мать, или тот, кто заступал их место, давали руку свату и пили за здоровье помолвленных. Жених и невеста не бывали при этом обряде. На другой день приезжал сват и назначали день сговора; до тех пор помолвленные не могли видеться...

Дня за два до свадьбы невесте с песнями расплетали косу и девиц дарили бантами из лент. В этот день водили ее в баню. Накануне свадьбы вечер назывался девичьим вечером или девичником. Приезжал жених с тысяцким, свахою и бо-

я р а м и. Тысяцкий был обыкновенно человек женатый и почетный, ближний родственник или человек, уважаемый в семействе. Б о я р было трое или четверо; двое из них назывались м а л ы е б о я р е или м е н ь ш и е, это то же, что нынче шаферы. Сваха была близкая родственница или короткая знакомая. В девичник опять садились за стол и пели песни... По отъезде жениха невесту усаживали за стол вместе с подругами; девицы пели песни. В это время приезжали двое меньших бояр и привозили ларец и туалет... Ларец или коробка то же, что в Париже свадебная корзинка. Там, по состоянию жениха, были более или менее дорогие вещи; но обыкновенно находились серьги, перстень, перчатки, ленты, белила, румяна, мыло, гребень, булавки, шпильки, помада, духи, веер, гребенка, цветы, платки ручные и одна или две пары чулков и башмаков, из которых в каждый клали по соболю. Приданое невесты обыкновенно отправляли поутру в день свадьбы. Когда все было готово, то обыкновенно присаживались и потом молились богу, благословляли невесту образом, который отсылали с приданым...

По отправлении приданого начинали одевать невесту; надевая каждую вещь, невеста крестилась. Когда все было готово, то благословляли невесту образом и она прощалась с отцом, матерью и подругами; ее сажали за стол, вокруг которого садились девицы... Между тем у ворот обыкновенно караулили жениха, и когда только показывался поезд его, то давали знать; девицы вставали из-за стола, а подле невесты сажали маленького мальчика или девочку п р о д а в а т ь к о с у. Жених приезжал с тысяцким, боярами и свахой; впереди шел б о г о н о с с образом, обыкновенно небольшой мальчик, родственник. Поезд невесты составляли: сваха, три провожатые молодые женщины, трое мужчин и мальчик с образом. У невесты тысяцкий давал мальчику, сидевшему подле нее, деньги и ссаживал его; это называлось к у п и т ь к о с у. Потом все садились за стол; посидевши немного, когда были пропеты всем песни, вставали из-за стола, отец и мать брали руку невесты и отдавали жениху, прося в коротких словах любить и лелеять ее... Помолившись богу, выходили и ехали в следующем порядке: богоносы вместе и вперед всех, за ними тысяцкий с женихом, потом бояре и сваха... У богатых были кареты и коляски; у кого не было, те просили у знакомых. Кареты были в Иркутске только у главных чиновников и все они охотно ссужали ими. На венчании иногда в церкви пели певчие... Новобрачных встречали с хлебом и солью на крыльце отец и мать жениха. Если было лето, то тут же и благословляли образом, а зимою этот обряд происходил в комнате. Новобрачных и гостей сажали за стол и подавали чай, потому что жених и невеста постились до венца. Потом начинался стол, во время которого играла музыка; на двор выставляли кади с пивом и подавали вина... Так в доме новобрачных пировали три дня. По окончании веселий молодые ездили с визитами ко всем родным и

знакомым, которые были на свадьбе. Спустя несколько дней тесть давал для молодых и для новых родственников два дня сряду пир, и тем кончались все обряды свадьбы...

При рождении младенцев были обряды следующие: в то время, когда новорожденного мыли, клали в воду серебряные или золотые деньги, которые брала бабка. Между тем извещали родных и они приезжали навестить родильницу. Каждый посетитель или посетительница привозили серебряные деньги, иногда ассигнации, а у бедных медные деньги, которые и клали под подушку родильнице или ребенку. В крестины по окончании духовного обряда был обед, ужин или закуска; но во всяком случае подавали кашу из сарачинского пшена, вареную на молоке, а в пост на воде... Сначала подносили вина, а потом кашу; и от этого есть пословица: я у него на крестинах кашу ел. На кашу повивальной бабке клали деньги. Если дитя было перворожденное, то часто, подшучивая над отцом, старались приготовить ему ложку каши с солью и с перцем, и говорили, что он должен разделить страдания матери...

Описывая, как умею, разные обряды иркутских жителей, наконец я приступаю к тому неизбежному в конце жизни обряду, о котором человек не может сам заботиться, но оставляет это другим; я говорю о похоронах и опишу, как они отправляются в домах достаточных. Известно, что у бедных бывает то же самое, только в малом виде. По окончании религиозных обрядов умершего кладут на стол, который убирают полотном или кисеей и черными лентами, ставят подсвечники, пол устилают ельником, этим северным кипарисом. Дети и ближние родственники бывают попеременно при теле усопшего. Прежде жена и дочери непременно должны были сидеть при теле усопшего и причитать со слезами, высчитывая все добрые качества его. Если кто не соблюдал этого, то говорили, что рады и не жалеют о смерти его; надобно было, если нет слез, закрыть глаза платком, положить голову на стол, где лежит покойник, и приговаривать. У девиц при смерти отца или матери распускали волосы по плечам, завязывая голову черным платком... Даже при этом случае видно гостеприимство сибиряков: к покойнику ходили все знакомые, многие и чужие; знакомые из приличия, а посторонние посмотреть, как одет, какою парчою покрыт и плачут ли родные; но всякому приходящему подавали рюмку вина и чаю. Для того приставлены были особые люди и под их надзором самовары кипели с утра до вечера. Один из верных людей подавал милостыню; рассылали по возможности подаяния по монастырям, богадельням, в острог и в больницы; служили два раза в день панихиду. Между тем приготовлялись к похоронам, которые обыкновенно бывали в третий день. В Иркутске нет готовых гробов и нет людей, которые бы делали из этого промысел; траура не отпускают напрокат, и даже всех покойников носят на носилках, покрытых сукном или ковром. Гроб за-

колачивают на кладбище. В этот день бывает большой обед, который называют горячим. Кроме священников и причетников приглашаются на него родственники и знакомые; кому угодно из посторонних, всякий может придти и обедать: никому не отказывают... Траур носят ближние родные целый год [6].

...Между жителями Иркутска нет, или не было, по крайней мере, утонченного светского обращения; но легко разгадать причину этого. При всей охоте перенимать хорошее и учиться всему изящному, там нет учителей и учительниц танцованья, музыки и пенья; нет театров, концертов; даже нет ни одного пансиона или училища для девиц; учатся как кто может, некоторые дома, другие у священников. Были при мне дома два, где по нескольку девиц учились, более по знакомству, русской грамоте и разным рукоделиям... [7]

Посты и постные дни строго соблюдались в Сибири. Многие жители даже сами налагали на себя посты и постились Кирику и Иулитте, Иоакиму и Анне, Илье пророку и воздвиженью. Накануне рождества, то-есть в сочельник, не ели ничего до звезды и уже вечером пили чай и ужинали. Девушки сберегали от этого дня лучинку, которою засвечали огонь для ворожбы; а в Сибири большие охотницы ворожить и множество рассказывают чудес, кому что виделось. Так как я хочу описать все мне известные обычаи и поверья, то опишу и гаданья... Все игры и гаданья относятся более к девицам, но и молодые мужчины в них участвовали. Назначивши вечер, подруги собирались в один дом поиграть и погадать. Всегда начинали подблюдными песнями... После песен хоронили золото. Эта игра всем известна и, кажется, одна из самых старинных. Потом играли именами, в короли, в курилку и в жмурки, которые в Иркутске называют имальцы...

Наигравшись, некоторые разъезжались по домам, а многие девицы оставались ночевать у подруг. Тогда-то, под предводительством опытных, приступали к тайнам—угадывать будущее. Гадали о суженом, о том, весело ли проживут следующий год; лили олово, воск и по вылитым фигурам разгадывали свою участь. Около полуночи выходили во двор полоть снег. Взявши немного снегу в фартук, качали его, приговаривая: полю, полю белый снег; где собака залает, там мой суженый, и прислушивались. Где залаяла собака, там быть отданной замуж. Толстый и хриплый лай означал старика, звонкий и тонкий молодого... Главные, важные гаданья были: смотреть в зеркало в полночь, когда все лягут спать, или набирать два прибора на васильев вечер или на крещение и в сочельник ходить слушать к верее, к амбару, к проруби, на перекресток, и все это в полночь. Я сама нарочно испытывала многое, но мне никогда и ничего не чудилось; напротив, от других я слыхала чудеса, и они божились, что это точно было. Гляденье ночью в зеркало делалось так: девица, которая хотела гадать и надеялась на свою

бодрость, садилась одна, а если немножко трусила, то, неизменная своей природе Евина внучка, которой хочется знать, хорош ли, молод ли будет суженый, сажала няню или какую-нибудь Сивиллу [8] в смежной комнате и ставила два зеркала одно против другого. Перед одним она садилась сама и ставила на стол две свечи, а другое зеркало ставила сзади, очертив лучинкой (которою был зажжен огонь в сочельник), и глядела в него пристально. Сначала зеркало подергивалось туманом; потом мало-помалу прояснялось, и суженый глядел через плечо девицы. Тогда надобно было зачураться: «ч у р м е н я, п о л н о!» и отнюдь не оглядываться, а то могло быть худо. Конечно, все это одно воображение, но многим стоило жизни или тяжкой болезни...

С окончанием святок конец всем ворожбам; старые люди постятся да богу молятся, а молодые свое смекают... Вечером в крещенский сочельник везде окропляют святой водой, ставят кресты мелом на окнах и дверях и тем все оканчивается.

После святок игры утихают, начинаются свадьбы; после этого дожидаются масленицы; тогда свои северные забавы: катанья по улицам, катальные горы. Бег устраивается в Иркутске с начала зимы на устье Ушаковки, а после на Ангаре. Он блестит, как зеркало, и бывает обставлен елками. Тут по воскресеньям и в праздники, а особливо на масленице, выезжают охотники в маленьких санках, на рысаках и иноходцах. Горы бывают часто в двух местах: на Ангаре и на Ушаковке. С четверга начинаются гулянья. К масленице варят пиво и делают х в о р о с т ы; столы накрыты скатертями и уставлены конфетами, вареньями. Хворосты (род пирожного), как принадлежность масленицы, видны везде; самовар всегда готов. Родные ездят друг к другу и между тем не забывают кататься. Во многих домах делают ледяные катальные горы, с которых катаются на кожах, на лубках, на санках и даже на льдинах. Вот что еще иногда бывало на масленице для забавы народа: начальники города приказывали сплотить вместе несколько огромных саней и устраивали на них корабль со снастями, парусами. Тут садились и люди, и медведь, и г о с п о ж а М а с л е н и ц а и разные паяцы; все это вообще называли М а с л е н и ц е ю. В нее впрягали лошадей двадцать и возили ее по улицам; позади обыкновенно следовали толпы мальчишек и гуляк; они провожали ее песнями и разными прибаутками.

К чести иркутских жителей надобно сказать, что они очень набожны; не только пожилые люди, но и молодые всю масленицу ходят в церковь. В п р о щ а л ь н ы й д е н ь ездят на кладбище, служат панихиды и поклоняются праху родных; потом весь этот день посвящают прощальным визитам к родителям и старшим родственникам. Вечером тот же обряд повторяется дома; служители прощаются с хозяевами, дети с родителями [9]. На другой день начинается пост [10].

...Хотя пасха случается и в марте, но почти всегда в это время сходит снег и бывает сухо.

К празднику воскресения христова приготовляются, богатый, как хочет, а бедный как сможет; но во всяком доме пекут куличи, красят яйца, делают сыры. Из достаточных домов посылают разной провизии в острог, в богадельни. Святую неделю, так же как и другие торжественные дни, проводят в кругу родных и знакомых. Из всех увеселений, известных в столицах, на святой неделе только качели ставят на площади. Тут бывают качели круглые, большие, с сиделками и коньки; народ качается, ездит, другие смотрят; но тем и кончится праздник...

Когда пасха была поздняя, то в этот день уже есть цветы, и весело смотреть, как около вечера беспрестанно переезжают чрез Ангару карбазы, наполненные народом, и у всякого в руках трофеи весны—букеты цветов. В день троицы и духов день тоже многие ездят и ходят гулять за город... Все жители Иркутска, от богатого до бедного, любят гулять за городом. Любимое гулянье простого народа около Ушаковки, потому что это место всех ближе к городу. Если у кого нет лошади, то все семейство, иногда и не одно, собираются в воскресенье или какой праздник гулять на Ушаковку, пить чай и купаться. Всю ношу разделяют по частям: один несет самовар, другой чашки, третий булки, калачи, пироги, ведут и несут детей, потому что почти все выбираются из дома, который запирают, попросивши соседей посмотреть, или оставляют какую-нибудь старуху, говоря по-сибирски, домовничать...

Окрестности Иркутска прелестны, как сельская красавица; одна природа все украшает, но какова эта природа! Местами дремучие леса, где вековые деревья свалились от бури и грома и, лежавши, истлели так, что прикоснись и они рассыпаются прахом. В глубоких оврагах ключ нередко образует ручей, опушенный зеленым мохом. Вот узкая тропинка: она ведет вас в густой лес, где коренья дерев высунулись из земли и, кажется, свидетельствуют о своей древности. При малейшем ветерке в лесу отдается какой-то гул; кажется, что это древние священные леса, жилища друидов [11]...

Глава II.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ СИБИРИ В НАЧАЛЕ XIX в.

Внешний вид Иркутска в начале XIX в.—«Заботы» губернатора Трескина о благоустройстве города. Нравы иркутских жителей. Общественные развлечения. Театр в Иркутске. Балы и маскарады. Музыка. Литературные занятия. Культурный уровень местного общества. Основание гимназии в Иркутске.

В конце XVIII—начале XIX вв. быстро растущий Иркутск оттеснил на задний план прежний сибирский административно-торговый центр Тобольск. К этому времени в Иркутске сложился мощный слой богатого купечества. Иркутские купцы этого вре-

мени уже восприняли некоторый «лоск цивилизации»: брили бороды, не носили долгополых кафтанов, а облекали свои тучные тела во фраки; иные из них даже почитывали газеты. Между иркутскими купцами и местною администрацией в эту эпоху шла открытая, упорная борьба за первенствующее положение в местной общественно-экономической жизни (см. ниже, гл. «Зарождение сибирского областнического движения», и примечания к настоящей главе).

О нравах и общественной жизни «столицы Сибири» Иркутска в начале прошлого столетия интересно рассказал современник-сибиряк И. Т. Калашников в своих «Записках иркутского жителя». Воспоминания Калашникова охватывают более широкий социальный круг, чем «Записки и замечания о Сибири» Е. А. Авдеевой-Полевой, а потому более ценны для истории культурного развития Сибири.

Но и эти воспоминания не свободны от некоторых дефектов.

По своему общественному положению Калашников принадлежал к группе служак-чиновников (он умер в чине тайного советника). Поэтому в его воспоминаниях нельзя найти резкой, углубленной критики действий местного начальства, в частности знаменитого самодура губернатора Н. И. Трескина. Наоборот, Трескин часто представлен энергичным и умным администратором, заботящимся о благе вверенного его попечению населения, о благоустройстве Иркутска и т. д. На самом деле «заботы» эти проявлялись в самых диких, помпадурских формах (см. ниже) и за анекдотическим тоном записок Калашникова скрывается неприкрашенная действительность старой царской чиновничьей Сибири—страны всяческих беззаконий и начальственного произвола.

Популярный в 30-х годах прошлого столетия писатель-сибиряк Иван Тимофеевич Калашников, прозванный современной критикой «сибирским Купером», родился 22 октября 1797 г. в Иркутске в семье местного чиновника; учился в иркутской гимназии, окончив курс, поступил на службу в иркутскую казенную экспедицию и служил здесь много лет, близко наблюдая нравы старого сибирского чиновничества.

В это время, между прочим, молодой Калашников сблизился с известным сибирским ученым П. А. Словцовым, который служил тогда визитатором (смотрителем) сибирских народных училищ и покровительственно относился к способному юноше. По протекции Словцова, Калашников был в 1822 г. переведен по службе в Тобольск, а через год—в Петербург. В Петербурге Калашников женился на сестре небезызвестного в 30-х гг. беллетриста К. П. Масальского и через него вступил в круг столичных литераторов. Калашников писал стихи еще в детстве, теперь он попробовал свои силы в художественной прозе. Первый роман Калашникова, «извлеченный из иркутских преданий»,—«Дочь купца Жолобова»—появился в 1832 г. Роман этот имел очень

большой успех у современных читателей и критики. Так же сочувственно был встречен второй роман Калашникова «Камчадалка», вышедший в 1833 г., и повесть «Изгнанники» (1834 г.).

В 40-х годах, под влиянием резкой критики В. Г. Белинского и победы «натуральной школы», слава Калашникова начала падать, и он, не совсем справедливо, попал в разряд «забытых писателей». Однако, в свое время, в 30-х годах прошлого столетия, «сибирские» романы Калашникова, наполненные интересным «краеведческим» материалом, географическими, этнографическими, историческими и т. п. картинами и описаниями, играли безусловно положительную роль, знакомя современного широкого читателя с очень малоизвестным в ту эпоху краем—Сибирью. Это отметил и Белинский, вообще относившийся к литературной деятельности Калашникова резко отрицательно.

Литературный талант Калашникова сказался и в «Записках иркутского жителя». Они написаны очень живо и красочно и содержат много интересных и достоверных фактов, подтверждаемых другими источниками. Писаны «Записки» в начале 60-х гг.

Приведенные ниже отрывки из «Записок иркутского жителя» печатаются по тексту «Русской старины», 1905 г., кн. 7, стр. 191—218; кн. 8, стр. 384—396.

И. Т. Калашников умер в 1863 г. в Петербурге.

ИЗ «ЗАПИСОК ИРКУТСКОГО ЖИТЕЛЯ» И. Т. КАЛАШНИКОВА

В начале настоящего (XIX—Б. Ж.) столетия Иркутск имел более вид грязного уездного городка или даже большого села, нежели столицы Сибири, как называли его тамошние жители по пребыванию там сибирских генерал-губернаторов [1].

После проливных дождей многие из иркутских улиц были непроходимы: на площадях образовывались беспредельные лужи. Проезда по ним почти не было.

Невысыхаемая грязь не была однакож единственным достоинством иркутских улиц; они были сверх того косы и кривы, тянулись как им было удобнее, не удостоивая городской план ни малейшего внимания. Дома то высовывались вперед, как бы желая взглянуть, что делалось на улицах, то пятились назад, как бы стараясь уединиться от городского шума; многие, особенно в так называемых солдатских улицах, склонившись долу после долговременной службы, преспокойно доживали на боку свои последние дни. К довершению картины город был украшен тысячами колодезных столбов, торчавших из каждого огорода, с превеликими очепами или, как называли в Иркутске, журавцами,—словом город имел, как сказал я выше, вид большого села, где на грязных улицах гуляли коровы, стадами бегали собаки и по временам плавали утки.

Наконец для этой сельской картины настал черный день.

День этот был приезд в Иркутск гражданского губернатора Николая Ивановича Трескина, в 1808 году [2].

Трескин неутомимо принялся за благоустройство города. Площади были подняты и осушены; на улицах, не только главных, но и второстепенных, положены гати. Все это производилось колодниками или, как называют (их—Б. Ж.) в Сибири, «несчастными». Инженеров путей сообщения в то время в Иркутске еще не было; поэтому работы производились под руководством также ссыльного, некоего Гущи, который ходил в каком-то импровизированном им самим мундире, в виде начальника. Имя Гущи было известно всем в городе с мала до велика. Рабочих, бывших под его начальством, иначе не называли, как гущинскою командою.

Появление гущинской команды особенно было неприятно для владельцев тех домов, которые, по вольности дворянства, не уважали городского плана. Трескин хлопотал не только об осушении улиц и площадей, но и о том, чтобы выпрямить кривизны и косины и дать городу, елико возможно, наружность благоприличную. Спору нет, что благоприличие вещь хорошая, но только уж слишком нецеремонно поступали с домами, стоявшими не по плану. Согласие домовладельцев тут было дело излишнее. Бывало, явится гущинская команда—и дом поминай как звали. Если же не весь дом стоял не по плану, а только какая-нибудь особенно смелая часть его вылезала вперед, то без церемонии отпилят от него сколько-нужно по линии улицы, а там и поправляй его, как умеешь. Если хозяину поправить дома было нечем, то он ежился с семейством в остальной части, а полураспиленные комнаты так себе и стояли напоказ иногда целые годы.

Один купец, по прозванию, помнится, Скоробогатой, долго упрямился и не хотел сломать своего дома. Домик в самом деле был красивенький и хорошо прибранный, по изысканному вкусу хозяина, который и сам был человек щеголеватый и даже несколько щепетильный. В одну прекрасную ночь, когда Скоробогатой спал спокойным сном, как человек вполне довольный своим положением, может быть, предавался сладкому мечтанию, как он женится и заживет весело с супругою в своем уютном и красивеньком домике; может быть, мечтал и о тех переменах, какие предполагал в нем сделать,—как вдруг раздается на кровле роковой визг пилы... Труба архангела, возвещающая кончину мира, едва ли была бы для него более ужасною! Сколько ни упрашивал, сколько ни умолял бедный купец об отсрочке разрушения своего маленького рая, неумолимый Гуща продолжал свое дело—и половины дома как не бывало...

Каменных домов (в Иркутске—Б. Ж.) было очень мало: едва ли насчитывалось десятка три. Из казенных каменных зданий самое красивое, по странной игре случая, было—тюрьма или, как называли в Иркутске, острог...

Лучшие деревянные дома, исключая одного, в котором вла-

дычествовал откуп, принадлежали казне, как-то: генерал-губернаторский, губернаторские зимний и летний и вице-губернаторский.

Частные деревянные дома в городе принадлежали большей частью купцам и мещанам; имели дома и чиновники, но небольшие и бедные. Судя по домам, можно думать, что тогдашние чиновники или жили одним своим жалованьем, или, если и пользовались от трудов своих, то весьма скудными даяниями[3]...

Постройка домов мало улучшилась и в управлении Трескина. Бывший при нем архитектор имел необыкновенное пристрастие к высоким крышам. Крыши, поставленные им на выстроенных им деревянных домах, иногда в полтора раза были выше самых домов и напоминали прежних солдат в безмерно высоких треугольных шляпах.

Всех домов, каменных и деревянных, при выезде моем из Иркутска в 1822 г. насчитывалось до 2.000, а жителей до 15.000 человек.

...Судя по выговору и самостоятельности характера иркутских старожилов, можно полагать, что они происходят от зашедших в Сибирь новгородцев, рассеявшихся после погрома при Грозном[4].

Самостоятельность, в первом десятке настоящего столетия, до приезда губернатора Трескина, особенно проявлялась в сословии купцов, составлявших аристократию Иркутска. Замечательно, что среди них не было ни одного раскольника; все они брили бороды и носили фраки.

Гордость их нередко доходила до дерзости; главнейшие из них не ломали, как говорится, шапки и пред главными начальниками.

Не извиняя дерзости, нельзя однакож не сказать, что самостоятельность купечества имела свою хорошую сторону. В городе, где не было дворянства, кроме бедных и безгласных чиновников, купеческое общество одно составляло некоторый оплот самоуправству и беззаконию, столь обыкновенному в прежнее время в отдаленных провинциях. Если притеснения переходили меру терпения, купцы приносили жалобу высшему правительству. Жалобы их нередко были признаваемы уважительными[5]. К сожалению, не всегда они умели пользоваться вниманием правительства: успех их жалоб еще более надувал купеческую спесь. Даже и в начале управления Трескина она не хотела уняться. Я помню случай, что купец высокого роста и гордейшего характера, вошедши в собрание, где был и Трескин, поклонился и, наклонив голову, не разгибался, ожидая, пока все станут на ноги и ему, в свой черед, поклонятся...

Чиновники иркутские были большей частью люди бедные и безответные, загнанные, невольные орудия самовластия. Каждый жил кое-как своим домишком, своим хозяйством и искал удовольствия только в своем семействе. Бывали и исключения, но

весьма немногие. Это продолжалось до приезда Трескина, когда явился в чиновничьем мире новый элемент: земские. Под этим словом разумелись исправники и заседатели земских судов. Они начали вести жизнь роскошную, ввели сильную картежную игру и шампанское, до того мало известное Иркутску. Надобно заметить, что земские были почти все приезжие, учившиеся в университетах, люди цивилизованные[6]. Они смотрели свысока на уроженцев Иркутска, и те сами чувствовали, что им равняться нельзя с этими великими людьми.

...Городские удовольствия иркутских жителей были весьма незатейливы и немногосложны. Некоторыми равно пользовались как богачи, так и бедные. Таковы были, например, вертепы. Это были передвижные кукольные театры, украшенные разноцветными бумагами, обыкновенно в два яруса. Между ярусами находилось пустое пространство настолько, сколько было нужно, чтобы просунуть туда руку для вывода кукол, утвержденных на палочке. Содержание представляемых пьес было духовное. В верхнем ярусе представляли поклонение пастырей и волхвов при рождестве Иисуса Христа, бегство в Египет, крещение; в нижнем выводили Ирода, представляли избиение младенцев, смерть Ирода, похищение души его злым духом в ад, представленный в виде змеиной головы, наконец, погребение тела Ирода, потом пляска Иродиады, его дочери. Тут были придуманы некоторые сцены, то трогательные, как например, плач матерей о своих детях, то забавные, как казалось по крайней мере для детей. Представление сопровождалось пением хора...

После вертепа представляли иногда нечто вроде водевилей. В особенной моде было представление польского шляхты (шляхтича, дворянина—Б. Ж.) и его слуги. Смысл этой великой драмы в том состоял, что плут и наглец слуга издевался над глупым и тщеславным шляхтою. Это насмешливое направление показывает, что и сочинение шляхта и его слуга также вывезено из Киева[7].

Вертепы обыкновенно носили на святках вечером. В первый день Рождества Христова ходили утром по домам христославщики из малолетков нашего круга. Некоторые из них, воспитанники младших классов семинарии, славили Христа по латыни...

Тяжелая година, давившая много лет судьбу Иркутска, имела сильное влияние как на детские, так и на общие удовольствия[8]. Все, что выходило из ряда официальных занятий, как-то постепенно чахло и наконец замерло. В том числе зачах и публичный театр.

Публичный театр был устроен в первых годах настоящего столетия[9]. Здание, в котором он помещался, не было, признаться сказать, из числа великолепных: это был одноэтажный деревянный дом, вросший в землю. В нем была выкопана глубокая яма, в которой были устроены сцена, партер и ложи, помнится в три яруса. Все было улажено как следует: оркестр находился перед сценой, сцена была возвышена и довольно обширна, кулисы

и передняя занавеса были весьма удовлетворительны, декорации переменялись скоро, машины были довольно исправны. Актеры были выбраны из гарнизонных солдат; некоторые из них играли очень недурно; особенно отличался какой-то Рожкин. Актрисы были из ссыльных женщин, вероятно, игравших прежде на театрах: по крайней мере игра их очень нравилась.

На иркутском театре играли комедии, драмы—большей частью Коцебу [10],—водевили, а иногда и волшебные оперы. Я помню, как однажды в какой-то волшебной опере подлежало спуститься с неба гению. Он начал спускаться на облаках; вдруг веревка оборвалась, и бедный гений едва не сломил себе шеи...

Каков бы ни был гарнизонный театр, но он составлял развлечение в единообразной иркутской жизни. Наконец и его не стало, и только полуразрушенный дом напоминал долго,—говоря классическим языком,—о торжествах Талии и Мельпомены [11], пока не явилась гущинская команда и не наложила на него свою роковую руку...

Публичный театр не возобновлялся во все время управления Трескина; были только три частные спектакля в 1816 г...

Спектакли составляли удовольствие высших сословий города; собственно же парадных увеселений и пиршеств в бытность мою в Иркутске не было, исключая одного, по случаю получения известия о взятии Парижа, летом 1814 года. Это известие, полученное в Петербурге 8 апреля, пришло в Иркутск не ранее июня [12]...

Праздник начался церковным парадом. Шествие открыли пять или шесть десятков (человек—Б. Ж.) инвалидной команды, увенчанных, за неимением лавров, березовыми ветвями, потом шли казаки, предшествуемые трубачами, которые, быв незадолго перед тем сформированы, производили на трубах невыносимый визг и вой. Затем шел гарнизонный полк и в заключение четыре пушки гарнизонной артиллерии. Словом, была двинута вся военная сила Иркутска. По окончании молебствия производилась пальба из ружей и пушек. Несмотря на свою оригинальность, парад все-таки произвел большой эффект, потому что сердца зрителей были наэлектризованы радостью совершившегося события.

После парада высшее общество было приглашено на обед и бал, а для народа было выставлено вино. В продолжение попойки много совершилось смешных сцен и немногие из пирующих пришли домой без синяков и разбитых носов...

Балы при Трескине имели в себе много оригинального. В доме губернатора они давались раз в год, в именины губернаторши, 21-го января. К этому дню съезжались в Иркутск земские почти со всей губернии; также собирались бурятские тайши, или начальники бурятских родов.

Бал открывался польским, где вместе с музыкою пели казацкие певчие, обыкновенно: «Гром победы раздавайся», или «Польскими летит странами»; после польских начинались экосезы, мат-

радуры, вальсы; в позднейшие годы взошли на сцену и кадрили[13]. Танцовали молодые чиновники, преимущественно земские, молодые чиновницы, дочери чиновников и купцов... Главнейшая суть, ядро бала, были не немецкие вывертки, а чистейшая Русь во образе некоего Ивана, ссыльного, кажется, из цыган, и служанки губернатора Софьи. Ванька и Сонька, как их тогда без церемонии называли, танцовали казачка и русскую. Ванька—мужчина среднего роста, хорошо сложенный и довольно красивый, действительно очень ловко выметывал ногами и во всех движениях показывал цыганскую удаль. Сонька также была весьма недурна собою и танцовала с большой энергией. Вообще в пляске их было много дикого, вакхического, но это и нравилось тогдашней иркутской публике.

Случалось, что среди бала вдруг раздавалось удалое пение полицейских песельников, составленных из полицейских солдат и ссыльных под управлением городничего Карташева, мастера и охотника петь. Полицейский хор пел весьма складно и живо.

Бал оканчивался не котильоном, не мазуркою, а некоей в о с ь м е р к о ю, природным иркутским танцем, вроде деревенских хороводов.

В торжественные дни и в именины генерал-губернатора давались балы городским головою или целым купеческим обществом. Гости приглашались печатными билетами, отличавшимися необыкновенным красноречием. Для образца я приведу один билет, которым городской голова Медведников приглашал на бал по случаю тезоименитства государя императора Александра Павловича, 30 августа 1816 г.: «Иркутский градской глава Прокофий Федорович Медведников,—сказано в билете,—движим будучи верноподданическим благоговением ко всерадостнейшему тезоименитству всемилостивейшего государя и желая ознаменовать торжественный для всех сынов России день сей приличным празднеством, дабы, соединя верноподданические чувствования, усугубить общую радость, покорнейше просит пожаловать сего августа 30-го числа 1816 года, пополудни в 6 часов, на бал в новую биржевую залу».

Кроме биржевой залы общественные балы давались иногда в Портновском саду, а до устройства его в Комендантской роще. Роща эта стояла далеко от реки, воды в ней вовсе не было, а между тем, нельзя же быть саду без фонтанов. Чтобы пособить горю, чей-то гениальный ум придумал поставить за решеткою сада две пожарные трубы, от них рукава провести в сад, а наконечники скрыть в группе дерев, где держали их полицейские солдаты. Когда стали собираться посетители, импровизированные фонтаны были пущены и привели неожиданностью своею в восторг зрителей... Но каково было полицейским, целую почти ночь стоявшим под проливным дождем.

По приезде в Иркутск генерал-губернатора М. М. Сперанского, иркутские балы совершенно изменили свой полуазиатский ха-

рактер [14]. Для большего соединения общества было положено в 1819 г. основание Иркутскому благородному собранию. Приехавшие с генерал-губернатором молодые люди внесли в состав танцев совершенно новые элементы и совсем стерли с лица земли несчастную восьмерку, которая после того кое-как приютилась на окраинах города, в солдатских улицах и являлась только украдкою на «капустках»...

«Капусткою» назывался сбор девиц и женщин для рубки капусты общими силами или помощью, как говорят в деревнях. Это было в обыкновении в домах и богатых, и бедных, и чиновнических, и купеческих,—словом у всех жителей Иркутска [15]. Старушки обрубали вилки, мальчишки подхватывали и ели кочни, а девушки и молоденькие женщины рубили капусту, напевая разные песни... Бывало, звонкие голоса певиц далеко разливаются по улицам и невольно влекут прохожих в знакомые им дома. По окончании рубки всех гостей угощали обедом, чаем и потом начиналась пляска...

В самом угощении прежнего времени были в Иркутске замечательные особенности. В какой час дня ни зашли бы вы в гости, утром ли, в полдень ли, вечером ли, ночью ли,—вы не избегнете, чтобы вас не угостили чаем. Кофе употреблялось только в богатых домах.

Пить чай досыта почиталось невежеством. Старые люди говорили, что гости должны пить одну чашку, три чашки пьют родственники или близкие знакомые, а две—лакеи.

Подаваемые сласти брали, но есть их также считалось неучтивостью. Гостья брала их и клала куда-нибудь подле себя. Между тем мужчин угощали домашними наливками; виноградные вина были дороги и употреблялись мало. Доставка их в Иркутск была крайне затруднительна. После чаю подавали пунш, наиболее с кизлярской водкой, и только в самых богатых домах подавался пунш с ромом.

На богатых свадьбах, само собою разумеется, играла полковая музыка, а на бедных (как и на вечеринках) играл большей частью известный тогда всему городу слепой скрипач или, как называли его в Иркутске, Митька-слепой. Митька был весьма замечательное явление. Слепой от рождения, он не только играл на скрипке разные песни, танцы и духовные концерты, которые сопровождал пением, но и делал сам скрипки. Память и слух его так были изощрены, что он изучил по слуху целые кафизмы наизусть и читал их в церкви вместо дьячка. Бывший в Иркутске комендант генерал Сухотин даже сделал Митьку-слепого регентом военного певческого хора...

Фортепианная игра в Иркутске почти была неизвестна. Едва ли в трех или четырех домах были фортепианы; зато в большом употреблении были гусли и двое из ссыльных отлично играли на них. Фортепианного учителя не было, кроме одного, также ссыльного, Антона, игравшего довольно плохо разные танцы...

Оркестр, бывший в Иркутске в мое время, был оркестр гарнизонного полка, игравший только марши и танцы, в старину весьма незатейливые и немногосложные; поляк Савицкий некоторое время дирижировал этим оркестром и подвинул его вперед... Но главное достоинство этого оркестра состояло в том, что он был в Иркутске единственным и гремел,—худо ли, хорошо ли,—на всех торжественных балах и обедах.

Вокальная музыка имела больше представителей. В одно время Иркутск имел три хора: архиерейский, солдатский и казацкий... Хор казацкий, обучаемый весьма опытным учителем, обыкновенно из ссыльных, пел весьма искусно и прекрасно исполнял концерты Бортнянского, особенно известную ораторию «Воспойте, людие, благолепу песнь в Сионе» [16].

...Начало образования в Иркутске относится к 1781 году, когда была учреждена там первая народная школа [17], но образование долго только мерцало, как сумерки, и даже в первых годах настоящего столетия не было заметно еще влияния науки в общей массе народонаселения, может быть, потому, что образование массы зависит наиболее от женщин, а для женщин в Иркутске не было никакого училища. Они учились грамоте кое-как, самоучкою, на медные деньги, и притом не все, а только избраннейшие чада фортуны; прочие были большею частью безграмотные или весьма малограмотные, читали и, особенно, писали пополам с грехом. Но нет правила без исключения. Я говорил уже в первой части моих записок о дочери купца Полевого, удивившей меня своими познаниями [18]. Сверх того, я знал еще одну даму, также из купеческого сословия, весьма умную, начитанную, которая гордилась тем, что дважды прочитала несколько томов, in quarto, древней и римской истории Роллена в переводе знаменитого Василия Кирилловича Тредьяковского: подвиг, которым, по справедливости, можно было хвалиться [19]. Таким образом, несмотря на этот, однакоже, общий недостаток образования, и тогда были уже между женщинами, тем более между мужчинами, замечательные личности, ярко выдававшиеся своими достоинствами из общей массы населения. Особенно это следует сказать о втором десятилетии (XIX в.—Б. Ж.). Жажда познаний особенно пробуждалась с большей энергией между молодыми чиновниками... Стремление молодых чиновников к просвещению преимущественно проявлялось в казенной экспедиции. Чиновники, стремившиеся к проявлению своих духовных сил, разделялись на два рода: одни устремились к музыке, другие—к наукам и в особенности к русской литературе.

Любители музыки составили певческий хор, наняли учителя, квартиру и собирались туда для пения два или три раза в неделю, наконец, разучили несколько концертов и пели в церквах, иногда одни, иногда в соединении с певчими казацкими. Многие из них имели хорошие голоса.

Чиновники-литераторы изучали грамматику, риторику и поэ-

зию; писали сочинения прозой и стихами, не для печати, не для славы, а так, con amore *, единственно для упражнения, для домашнего обихода...

Один из этих чистых любителей искусства, восторгавшийся победами нашими в Отечественную войну, сочинил большую торжественную оду на изгнание французов под названием: «Торжество России». В этом стихотворении не только направление было державинское, но как-то проскочили даже целиком две, три строчки с небольшими изменениями, ради благопристойности... Для ознакомления читателя с иркутскою музою тогдашнего времени, я приведу из этой пресловутой оды несколько строф:

«Летит чудовище, (т. е. Наполеон)—и
скипетром железным
Повсюду сеет страх и смерть.
Крылами рассекает бездны,
На вечной оси движет твердь;
Народы рабству покоряя
И в пепел грады обращая,
Колеблет троны, силы власть.
Разверзла челюсти геена,
Объята пламенем вселенна
И всюду бедствие, напасть!..»[20].

И в Иркутске кто не знал, кто не имел стихов Державина? Всякий грамотей, часто не знавший правописания, поставлял непременным долгом списать несколько од великого поэта, в особенности: «Бог», «На счастье», «Вельможа», «На взятие Измаила», «На покорение Варшавы». Многие помнили их наизусть и любили цитировать. Чем стих был высокопарнее и громче, тем более нравился...

И вдруг посреди грома и шума державинских стихов раздался мелодический, нежный, чудный и неслыханный дотоле голос Певца в стане русских воинов [21]. Сначала были этим невольно поражены; не могли еще долго расстаться с громом Державина, сильно сроднившимся с душою, наконец мало-помалу стали прислушиваться к музыке Жуковского и чуять более и более сладость его стихов... Несмотря однакоже на угасание Державина, данное им направление поэзии долго еще преобладало над умами иркутского большинства, даже и после ознакомления с Жуковским. Поэтому приведенная мною выше торжественная ода произвела в мало пишущем тогда Иркутске большой фурор.

В Иркутске не было тогда никакой библиотеки, кроме гимназической, подаренной иркутскому народному училищу Екатериною II. В ней заключались лучшие творения древних и новейших, разумеется тогдашних, писателей; даже была пресловутая Энциклопедия—плод философов восемнадцатого века [22]. Гимназия увеличивала ежегодно состав библиотеки, выписывая новые

* Ради любви (итальян.).

книги, но никто из жителей Иркутска не имел права пользоваться ее сокровищами, как будто прямое назначение ее книг было гнить без пользы.

Книжных лавок также не было, а выписывать книги из Петербурга или из Москвы стоило дорого, было хлопотливо и не всегда верно: о дальних подписчиках в тогдашнее время книгопродавцы столичные не слишком много беспокоились. Самые газеты и журналы были довольно редки и выписывались преимущественно присутственными местами и притом всего более одни «Московские ведомости». Для внутренних и сибирских губерний Москва была как-то знакомее Петербурга...

Жизнь в Иркутске была исключительно семейная. Никаких мест, где бы можно было убивать время за картами или прогуливать иногда последние крохи бедного жалования, не было вовсе. По приезде Сперанского было учреждено благородное собрание, но туда собирались только раз в неделю. Во всем городе был один трактир, да и в тот заходить считалось бесчестием: туда заглядывали только отчаянные гуляки, которые составляли весьма малочисленное и резкое исключение [23].

...В 1805 году была открыта в Иркутске гимназия с уездным и приходским училищами.

Директором иркутских училищ был определен некто Кранц. Сначала поступили в гимназию учителя из упраздненного главного народного училища, а потом для занятия учительских должностей приехали молодые люди из петербургского педагогического института. Тогда преподавание в гимназии обнимало все факультеты наук, вмещавшиеся в университетах, только в элементарном размере... Сверх наук преподавались языки—европейские: латинский, французский и немецкий, и азиатские: китайский и японский...

При открытии гимназии поступило в нее 30 учеников. В первые годы состояние ее было весьма удовлетворительно, но потом, не будучи покровительствуема местным начальством, смотревшим на нее, как на заведение не нашего прихода, гимназия при плохом ближайшем управлении клонилась к упадку и, наконец, при директоре Миллере, родом немце, пришла в окончательное расстройство... Ни прежде, ни после гимназия не страдала так ни в учебном, ни в хозяйственном отношении, как при этом многоученом муже. Самый дом гимназический пришел в разрушение; зимних рам не вставляли, да и в летних были многие стекла разбиты и заклеены бумагой, многие из дверей выбиты, стулья и столы переломаны. В самые лютые морозы, случалось, не топили печей, потому что, вероятно, дровяные деньги употреблялись почтенным директором на другое назначение; учителя и ученики в классах сидели в шубах...

Жители потеряли всякую доверенность к гимназии и перестали отдавать туда своих детей. Число учеников, постепенно уменьшаясь, дошло до жалкого количества—десяти человек, так

что на каждого учителя приходилось не более двух. По причине частого отсутствия учителей преподавание в гимназии почти прекратилось, и ученики большую часть классного времени проводили в разных шалостях. Начитавшись какого-то старинного романа, где героем был разбойник Ринальдо-Ринальдини, они сами вздумали представлять разбойников: где-то около города устроили притоны и шуточным нападением пугали ездивших по дороге женщин...

Между тем нельзя не удивляться, что, несмотря на многоразличные шалости, на праздное большей частью препровождение времени, на плохое учение, в молодых умах все-таки тлелся огонь науки, и потом, при обстоятельствах более благоприятных, многие из этих подражателей Ринальдо-Ринальдини усовершенствовали свои познания и сделались замечательными или, по крайней мере, полезными членами общества [24]. Таким образом, гимназия даже и в период самого крайнего своего упадка все-таки приносила пользу самым существованием своим, даже одним своим именем, поддерживая в молодых умах любовь к науке и вливая в души своих питомцев жажду образования [25].

Глава III.

ЗАРОЖДЕНИЕ СИБИРСКОГО ОБЛАСТНИЧЕСТВА.

Иркутск в 20-х годах XIX века.—Книжная торговля в Иркутске.—Иркутские миллионеры.—Кружок местных иркутских интеллигентов и их споры о судьбах Сибири.—Образованный купец С. С. Дудоровский и его программа экономического возрождения Сибири.—Молодые представители нового поколения иркутского купечества.

Молодой чиновник М. Александров прибыл в Иркутск летом 1827 года проездом на Камчатку. Прожив в Иркутске около двух месяцев, он близко ознакомился с иркутским бытом и с выдающимися представителями различных слоев местного иркутского «общества». В доме «адмирала ангарского флота» он встретил представителей зарождавшейся уже в то время местной интеллигенции, которые высказывали мысли, близкие к тем, какие впоследствии, в 60-х годах, составили основные положения программы молодых сибирских областников (Потанина, Ядринцева и др.).

Из уст образованного местного купца С. С. Дудоровского Александров услышал программу крепнущей местной буржуазии, мечтавшей об укреплении своего экономического могущества и «эмансипации» от московского торгово-промышленного центра. Очерк М. Александрова «Иркутск летом 1827 года» (опубликован в «Сборнике историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах», СПБ, 1875 г., т. I) представляет собой чрезвычайно ценный источник для изучения истории зарождения так называемого сибирского областнического дви-

жения. Движение это было одним из самых характерных явлений общественно-культурной жизни старой буржуазно-купеческой Сибири.

«Термин «областничество»,—писал в 1907 г. «отец» позднейших сибирских областников Г. Н. Потанин («Областническая тенденция в Сибири», Томск, 1907 г., стр. 1),—появился около 15 лет тому назад, но тенденция, которая понимается под этим именем, задолго до этого уже жила в Сибири, только обозначалась она другим именем: она называлась сибирским местным патриотизмом». Зарождение «сибирского патриотизма» Потанин относил к 20—30-м годам XIX века.

В эту эпоху сибирская торговая буржуазия переживала период быстрого и мощного подъема. Беспощадная эксплоатация трудящихся Сибири, монополизация в руках закабалителей-купцов продукции таежного пушного промысла, крупная оптовая торговля пушниной и мануфактурой с Китаем через Кяхту (знаменитый «кяхтинский торг») и чаем с европейской частью России повели к тому, что уже к началу XIX века в руках восточно-сибирского, в особенности иркутского, купечества скопились громадные капиталы, ищущие своего дальнейшего применения *.

В 1798 г. образовалась мощная Российско - Американская торговая компания, в которую, наряду с капиталистами центра, входило много богатых сибирских (главным образом иркутских) купцов. Царское правительство предоставило этой компании исключительную привилегию бить драгоценного морского зверя бобра и котика на островах северной части Тихого океана; через нее велась также торговля с тогдашними владениями царской России в Северной Америке (Аляска и др.). Российско-Американская торговая компания пользовалась правом самоуправления, по образцу английской Ост-Индской компании. Торгово-колониальная деятельность Российско-Американской компании представляет собой наивысший исторический этап в развитии сибирского торгового капитала.

Иркутское купечество того времени, обладавшее громадными для своей эпохи капиталами, вступило в борьбу с всесильной местной администрацией, в частности со знаменитым в истории Сибири самодуром иркутским губернатором Н. И. Трескиным. История этой борьбы, кроме других исторических источников, изложена в работе известного историка А. П. Щапова «Сибирское общество до Сперанского» (Собр. соч. А. П. Щапова, СПБ, 1908 г., т. III) **. Щапов убедительно доказывал, что в основе этой борьбы лежало не столько «либеральное» стремление иркутского

* В приведенном ниже очерке М. Александрова выведен любопытный тип иркутского миллионера того времени П. Ф. Медведникова, обладателя капитала в семь миллионов рублей.

** См. также В. И. Вагин. «Исторические сведения о деятельности гр. М. М. Сперанского в Сибири», СПБ, 1872 г., т. I и приложения.

купечества к законности и праву, сколько корыстное желание безраздельно эксплоатировать широкие массы сибирского трудового населения. Чиновные лихоимцы всеми неправдами, прямым насилием и вымогательством, вынуждали купцов делиться с ними львиной частью барыша, взимаемого с сибирских крестьян, рабочих и вконец закабаленных «туземцев». Купцам это, понятно, не нравилось; отсюда бесконечный ряд доносов на Трескина и покровительствовавшего ему генерал-губернатора И. Б. Пестеля (отец декабриста П. И. Пестеля), подаваемых сибирскими купцами высшей администрации в Петербурге.

Упорная и долгая, полная драматических перипетий, борьба закончилась в конце концов отставкой Пестеля и Трескина и назначением в 1819 г. в Сибирь ревизии М. М. Сперанского. Это была открытая и крупная победа иркутского купечества над очень сильным противником.

Все эти факты подтверждали общественную мощь сибирского купечества того времени и не могли не возбуждать в нем сознания своей экономической и, в известном смысле, даже политической классовой силы.

На деле общественный подъем сибирского купечества вызвал к жизни—правда, пока еще в зародышевом состоянии—«автономистское» «областническое» движение.

Движение это получило в ту эпоху даже некоторое литературное оформление. Известный сибирский ученый и публицист П. А. Словцов, которого Потанин считал первым по времени «сибирским патриотом», высказал в своих «Письмах из Сибири» (печатались первоначально в «Московском телеграфе» Н. А. Полевого, в 1828 г. изданы отдельной книгой) ряд мыслей, близких к программе позднейших областников. «Письма» свои П. А. Словцов посвятил «сынам знаменитого сибирского купечества, как надежде сибирской промышленности». Уже это посвящение показывает, на кого возлагал свои надежды Словцов и от чьего имени он пытался выступать в печати. В письме «О сибирской торговле» («Московский телеграф», 1828 г., ч. 21, кн. 10) Словцов открыто выдвигал требование укрепления экономического могущества сибирской торговой буржуазии. Письмо написано в форме диалога между вымышленными собеседниками—моряком, военным и «сибиряком»; под последним псевдонимом скрывается сибирский купец. Моряк развивает ярко-колонизаторскую программу торговой деятельности русского купечества на Тихом океане: «Купеческое мореходство,—говорит он,—ознакомясь с Индиями и вообще с новым светом, будет привозить нам колониальные товары из первых рук; цены их, естественно понизясь, понизят и цену внутренних вещей. Россия, почувствовав изобилие в вещах всемирных, скорее торговыми предприятиями достигнет высоты политического благоденствия». Более осторожный и расчетливый «сибиряк» возражает моряку:

«К чему ехать за океаны для учреждения колонии или фак-

тории, когда мы и дома не можем сменить контор иностранных... К чему хотеть отлучать упражняемые дома капиталы за океаны, когда нас недостает для ближайших промыслов при собственных морских берегах или в лиманах Енисея, Оби и Тазовской губы?.. Ужли не было б справедливости, если бы одному сибирскому купечеству, как маломощному и удаленному от участия в торговле прочих краев, присвоить исключительную мену на Кяхте?* Это спасло бы русских и сибиряков от пагубных подрывов, а в страну отдаленную и необработанную (т. е. в Сибирь—Б. Ж.) стеклись бы капиталы, так нужные для орошения всех ветвей общежития».

В этом требовании монополизировать кяхтинский торг с китайцами в руках «маломощного» и «обиженного» московскими мануфактуристами сибирского купечества ясно сквозит стремление к безграничной монополии, которое издавна составляло характернейшую черту сибирского торгового капитала**.

В другом письме («Московский телеграф», 1827 г., ч. 15, кн. 12) Словцов, задавая вопрос: «Какая судьба ожидает впереди Сибирь... достигнет ли она той степени, к какой назначена запасами физических своих богатств», указывал на слабость сибирской обрабатывающей промышленности, торговли и земледелия. «Нет сомнения,—писал он,—что многое можно бы завести в Сибири, но где предприимчивые капиталисты, где мастера, где мастеровые, где, говоря короче, капитал и искусство? Когда же водворится искусство и (промышленная—Б. Ж.) деятельность, не будут ли опять спрашивать, где место для продажи»—т. е. достаточный внутренний или внешний рынок.

Словцов так же, как Дудоровский, не дал законченной программы экономического и культурного развития Сибири, но идеи их, «носившиеся в воздухе» и даже проникавшие на страницы печати, вполне можно считать зародышами того своеобразного общественного движения, какое впоследствии получило название сибирского областничества.

В начале своего зарождения это движение еще не было таким реакционным, антидемократическим, контрреволюционным, каким оно стало к эпохе первой русской революции 1905 года и, особенно, в эпоху Великой Октябрьской социалистической революции. С. Дудоровский и его единомышленники мечтали о сближении Сибири с Соединенными Штатами Америки, о развитии торговых связей между этими двумя молодыми странами, о том, что в силу этого «класс сибирских торговцев или так называемое купечество начнет помышлять об открытии но-

* Разрядка моя—Б. Ж.

** См. Щапов «Сибирское общество до Сперанского»; Ядринцев «Сибирь, как колония». «До Сперанского могущество купцов в Сибири было страшное, купцы хотели монополизировать все»,—говорит Ядринцев («Сибирь, как колония», СПБ, 1882 г., стр. 289).

вых источников промышленности, обратит внимание на прочие виды натуральных богатств Сибири»—горное дело, обрабатывающую промышленность и т. д. В условиях отсталой, экономически неразвитой колонии, какой была Сибирь в 20-х годах прошлого столетия, эти мечты были в известной мере даже прогрессивными.

Однако, резко-классовый, буржуазный характер сибирского областничества с первых его истоков не подлежит никакому сомнению. Абсолютно ясно, что С. Дудоровский, которого можно назвать одним из первых зачинателей областнического движения, заботился об усилении лишь «класса сибирских торговцев» и совершенно игнорировал интересы жестоко эксплоатируемых широких масс населения старой Сибири. Он даже не упоминает ни разу об этих массах; рисуемая им программа экономического возрождения Сибири рассчитана исключительно на «возникающее новое поколение иркутских граждан», т. е. на молодых, более или менее образованных купцов, которые «без сомнения захотят присвоить себе новую честь и новую славу за новые предприятия и успехи на поприще общежитейской (читай—буржуазно-предпринимательской, а, может быть, даже и политической—Б. Ж.) деятельности» и перейдут от прежних дедовских способов эксплоатации природных богатств Сибири к более совершенным и более утонченным. Отсюда, при благоприятных социально-политических условиях, могли следовать и политические выводы.

Это не значит, конечно, что сибирская буржуазия начала прошлого столетия мечтала о буржуазной республике по типу Соединенных Штатов Америки; «либерализм» ее был весьма относительным, но все-таки наличие в передовой части местной сибирской буржуазии известного рода «автономистских» настроений уже в это время должно быть отмечено. Именно этими настроениями и питались позднейшие сибирские областники.

В очерке Александрова (см. ниже) зарисованы любопытные типы «нового поколения» сибирских капиталистов—молодые иркутские купцы В. Н. Баснин и А. В. Шелихов, которые «воспитаны по новой методе», т. е. по-светски, и занимаются торговлей «не как ремеслом, а как наукою». Один из них (Баснин) даже готовится «на поприще представителя своих сограждан».

История не оправдала ожиданий Дудоровского. Хищная и невежественная в массе (за отдельными исключениями) сибирская буржуазия не вняла его увещаниям и предпочла попрежнему наживать без труда и риска миллионы на расхищении естественных запасов и безудержном грабеже трудящихся Сибири.

С конца 30-х годов в экономической жизни Сибири выдающуюся роль начинает играть новый фактор—«золотая горячка»,

вызванная открытием богатейших золотоносных площадей, в связи с разрешением частной золотопромышленности.

Эта же «горячка» повернула в иную сторону и умонастроения местной промышленной буржуазии. Бурное развитие частной сибирской золотопромышленности задушило на время слабые еще пока ростки местного областнического движения. В эту эпоху сибирское золото стало притчей во языцех далеко за пределами Сибири: в Петербурге, как грибы, росли компании по эксплоатации вновь открываемых сибирских золотых приисков. В эти компании, наряду с сибирскими купцами, входили весьма высокопоставленные лица; охотников обогащаться за счет неистощенной еще колонии нашлось очень много. Между правящей бюрократической верхушкой и сибирской буржуазией образовался блок по расхищению естественных богатств Сибири *.

Идеи Дудоровского возродились лишь много лет спустя, уже в иных исторических условиях, в выступлениях молодых сибирских областников Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева.

ИЗ ОЧЕРКА М. АЛЕКСАНДРОВА «ИРКУТСК ЛЕТОМ 1827 ГОДА».

Двадцатого мая 1827 года сухопутный корабль мой переезал Ангару у триумфальных ворот Иркутска и, по указанию местной полиции, положил якорь на торговой площади...

На другой день я проснулся с восходом солнца. На улице кипела уже пестрая толпа народа, так резко выражавшая характер местной торговой деятельности. Прелестная синева утреннего неба, облитого пурпуровым блеском взошедшего солнца, невольно привлекала и восхищала взоры. К юго-западу за Ангарою лежала белая как снег дымчатая пелена тумана... Желая воспользоваться свободным временем, я решился завязать серьезный разговор с хозяином, в надежде получить от него предварительные сведения об Иркутске.

— Скажите, Алексей Степаныч, какие предметы у вас в Иркутске особенно замечательны?

— А чего вам нужно, ваше благородие? В Иркутске всякой всячины вдоволь; российские и китайские товары, якутская пышнина, чай в особенности; всякой мелкой домашней потребности в избытке на малом базаре,—вот здесь под рукою от бурят можно достать китайские редкости...

— Нет, А. С., не то. Например, какие есть у вас замечательные здания, памятники первобытного состояния Иркутска, древ-

* В конце 1836 г. генерал-губернатор Восточной Сибири, сообщая министру финансов сведения о положении в этом крае частных золотых промыслов и указывая на то, что почти вся работа на них производится ссыльными, собирающимися в количестве многих тысяч человек, признал необходимым «иметь войско в центре этого сборища для предупреждения беспорядков и страха рабочим». С этой целью весной 1837 г. из Западной Сибири был отправлен в Енисейскую тайгу отряд казаков (Е. Кубалов. Сибирь и самозванцы. «Сибирские огни», 1924 г., кн. 3, стр. 157—158).

ние храмы, торговые и фабричные заведения, одним словом все достойное любопытства для человека, никогда не бывалого в Иркутске.

А. С. задумался, потом простодушно и бойко воскликнул:

— Как же, сударь, все есть. Каменных домов множество: сибиряковские, трапезниковские, баснинские, мыльниковские, чупаловские, медведниковские[1], самые старые, самые богатые гостиные дворы; церкви все каменные—да вы увидите все это своими глазами, я вас поведу по всему городу. Есть на почтовом тракте тельминская фабрика, делают стекла и простые солдатские сукна[2], знатное заведение; директор получает 25 тысяч рублей жалованья и казенную фатеру с прислугою. Есть винные погребки, а уж кабакам и счету нет; такое в них пьянство, что боже упаси. Касательно памятников, у нас их множество и в монастырях и на городском кладбище. Есть очень великатные; здешний народ шибко набожный. Наипаче прочих богатые купцы щеголяют памятниками.

— А есть ли у вас публичная библиотека и книжные лавки?

— Как же, сударь, есть одна казенная аптека, да шибко больно дорого берут за лекарство—видите, провоз дорог; всякие травы и снадобья выписывают из России.

— Я не о том спросил тебя, А. С.

— Как, сударь? Извините-с, вы касательно аптек задали вопрос?

— Где у вас продают книги?

— Книги, сударь, каких вам книг надобно?

— Разные книги, как в Москве, Петербурге и в других больших городах России.

— Нет, сударь, здесь таким товаром не занимаются. Неподходящая статья. Кто будет покупать здесь книги, кому и на что они? В гимназии и семинарии для школьников есть свои книги; в канцеляриях казенные законы; генерал-губернатор, губернатор и некоторые купцы выписывают газеты московские, петербургские, да и то почти без надобности; сегодня получат, дня через два барские лакеи тащат их на базар и меняют кто на орехи, кто на табак. Вот только и есть у нас один человек, который и газеты и книги, получаемые прямо из Питера, бережет словно ассигнации; задушевному другу листочка не даст, а иному скажет: куды тебе читать, что ты поймешь из печатного, знай свой аршин да бирку. А сколько у него книг, ужасть! Есть даже на иностранных диалектах. Сам говорит по-монгольски, по-бурятски, по-якутски, по-китайски и немецкие диалекты, кажись, понимает.

— Кто же это такой? Из чиновников или из купцов?

— Это-то и важно, что из купцов, ваше благородие. Старичок невидной, а шибко сведущий в науках, архиерею не уступит.

— Любопытно узнать этого человека.

— Да, сударь, с ним все проезжие путешественники знакомятся. Не стыдно сказать—шибко умный и крайне добродетельный старик.

— Кто же это такой? Может быть, и я решусь познакомиться с этим почтенным человеком.

— Это, сударь, купец Д(удоровск)ий[3]. Я вам укажу дом его—старенькой и неказистый снаружи, зато уж в комнатах чудеса—какое великатное убранство, какие редкостные картины, зеркала, каменные человеческие фигуры—все из пекинской миссии, из подарков, которые назначались от нашего царя китайскому богдыхану[4]...

— Есть ли у вас дом благородного собрания?

— Как же, сударь,—отвечал бойко Алексей Степанович.— К генерал-губернатору, к губернатору и коменданту каждый праздник собираются благородные чиновники на поклон. Бывают и купцы, только самые почетные. Градской голова и все служащие гласники тоже ездят по праздникам к большим господам; служба того требует. Нынче у нас начали придерживаться политики на столичный манер. Нельзя без того; народ просвещается не на шутку, а что касается чиновничества, так даже жены приказных начали носить шляпки. Видите, чиновный народ—все пришлый из столиц, благовоспитанные; от этого со времен Сперанского и дела в канцеляриях пошли совсем иначе; чудо, какая грамотность...

Я отблагодарил Алексея Степановича за приятную беседу и начал хлопотать о туалете, потому что на моих дорожных часах было уже три четверти десятого...

...В продолжение недели я успел свести в Иркутске уличное знакомство. Алексей Степанович был моим путеводителем. Мы осмотрели даже самые темные, самые узкие переулки города, строившегося во время своего возникновения как бы наскоро, без всякого плана. Многие старинные, ветхие дома выходили на улицы (впоследствии прорезанные по плану), иные углами, иные задними надворными стенами, иные полуразвалившимися сараями. Тротуары, и то до крайности жалкие, существовали только на двух улицах... Берег Ангары, великолепный по местности, начиная от триумфальных ворот до сибиряковского дворца, завален был мусором, который очищался каждогодно весенними разливами величественной, чудной, единственной реки по своему значению. На площади большого гостиного двора каждодневно происходила перегрузка российских и китайских товаров, и этою только извозной деятельностью оживлялась прекрасная площадь, украшавшаяся в то время домом генерал-губернатора. На так называемом малом базаре более было движения и житейской суеты с утренней зари и до позднего вечера. Тут продавалось все, кроме птичьего молока, как говорит русская пословица. Иркутск в то время имел физиономию чисто сибирского города. В продолжение дня по улицам двигался простой народ,

женщины под накидками, мужчины промышленного разряда в синих кафтанах и буряты в своих национальных костюмах с озабоченными, угрюмыми лицами. Окна домов, выходившие на улицу, задернуты были постоянно занавесками или закрыты китайскими сторами. Женщины среднего и высшего класса, казалось, вели еще затворническую жизнь и, по замечанию моему, не показывались на прогулки по вечерам, которые так восхитительны в Иркутске весною и летом. Бродя по улицам на закате солнца, когда скатывалась с них волна дневной суматохи, я не слыхал нигде ни одного музыкального звука, ни одной рулады вокального пения. Все было тихо, как в пустой храмине, только изредка в торговых домах звучали цепи сторожевых собак и раздавался тревожный набат поколотки. Если случалось встречать запоздалые дрожки, то они мчались по пустой улице опрометью и моментально исчезали во дворе под воротами. Потом снова воцарялась могильная тишина—и какая-то безответная тоска закрадывалась в мою душу...

Трудно было в то время определить общий характер жителей Иркутска; казалось, он не имел тогда никакого местного колорита. Торговля и нажива—вот два термина, которые ярко блистали на горизонте иркутском в то время и в центре которых, как в фокусе зажигательного стекла, сосредоточивалась жизнь и жизненная деятельность...

Однажды, проходя по улице к триумфальным воротам, Алексей Степанович остановил меня против каменного двухэтажного здания и сказал: «вот дом Пр. Ф. Мед(ведніко)ва» [5].

Я изумился. В нижнем этаже не было ни одного окна, а образованы были так называемые просветы. Из пяти узких окон верхнего этажа по фасаду на восток в двух находились железные решетки; три остальные окна не выказывали никаких признаков внутренней жизни.

— Да это просто пакгауз или кладовая какого-то фабричного заведения.

— Точно кладовая,—отвечал А. С.,—за этими решетками хранится ломбардных билетов на 7 миллионов рублей и старинная серебряная кружка, из которой хозяин дома угощает в день именин своих почетных гостей соболевскою мадерой и поседелой облепихой.

— Скажи ж мне, Алексей Степаныч, какою торговлею и давно ли он приобрел такой громадный капитал? И можно ли где-нибудь увидеть этого миллионера?..

— Он приобрел капитал, как я слышал от стариков, после войны 1812 года, разменом пушнины на китайские товары, китайских товаров на русские, потом обратно русских товаров на пушнину. Этот оборот в большом размере в продолжение 10 или 15 лет доставлял ему постоянно по 500 процентов на сто, а в тор-

говом быту нужно только взять силу и обеспечить кредит исправностью расчетов. Он несколько лет почти один обладал торговлею в Якутском крае, а тамошняя торговля при счастливом ходе дел может в два года обогатить ловкого расчетливого коммерсанта и навсегда обеспечить его коммерческую будущность.

Я выпучил на А. С. глаза и смотрел на него с недоумением. Он понял меня и лукаво улыбнулся.

— Что же касается до самого обладателя этих миллионов, так он нисколько и ничем не похож на высших российских первогильдейцев нынешнего времени. Если вы встретите его где-нибудь в том сюртуке, в котором он принимает свою братию— иркутских богачей, то право вы сочтете его за мелочного торговца мылом и сальными свечами.

— Полно, Алексей Степаныч, ты шутишь!

В эту минуту растворилась калитка ворот, из которой вышел старик с давно уже бритою бородою, в засаленном сюртуке неопределенного цвета. Старая пуховая, остроконечная, до бесконечности измятая шляпенка торчала на голове, осенённой длинными поседелыми волосами, шейный черный платок и жилет, бывший когда-то полосатым, рекомендовались неподдельною древностью. На ногах козловые сапоги с длинными голенищами прикрыты были от солнечного жара слоем пыли, смешанной с сальною глазурью. Этот человек имел физиономию серьезно-угрюмую. Вышедши на улицу, он осмотрелся кругом, взглянул на каменный забор своего за́мка, вынул из кармана клетчатый бумажный платок, вычистил им нос, снял с головы шляпу, перекрестился и отправился медленным шагом к толкучему рынку, ковыряя простою палкою рыхлую почву улицы.

— Вот он, кого вы желали видеть,—произнес А. С. таинственно.

Я с невольным безотчетным изумлением посмотрел на спину этого знаменитого в Сибири человека и в раздумьи отправился со своим спутником далее—к триумфальным воротам...

Осмотрев триумфальные ворота, которые в то время замечательны были по отвалившейся с них штукатурке, по выбитым в караулках стеклам, по накопившейся кругом них неопрятности, мы извилистыми узкими переулками добрались до малого базара...

(Здесь—Б. Ж.) в одном углу я наткнулся на книжную лавку с минералогическими редкостями и с цельными скалами кремнистого и плавленого мела. Книги, находившиеся на полках, под полками и в ящиках на земляном полу, судя по их наружности, все были допотопных изданий; большая часть из них не имела ни корешков, ни даже заглавных листов, по которым можно было бы узнать наименование и фирму книги. Тут были и газеты и периодические издания прошлого столетия, избитые псалтыри и часословы, поучения святых отцов, новейшие песенники времен Сумарокова и Нелединского...

Через несколько дней я опять завернул мимоходом на малый базар с намерением еще порыться в книжной лавке, но к немалому удивлению нашел этот балаганчик пустым и уже полуразрушенным. На вопрос мой, что бы это значило, хозяин соседнего балагана, набитого старым платьем и меховыми лоскутьями, отвечал мне, что ономнясь частный пристав, пересматривая книги, нашел в них одну запрещенную, на каком-то иностранном наречии. По этой оказии все книги с каменьями, плавленым мелом и с хозяином забраны в полицию.

Тут я припомнил, что действительно при пересмотре мною книг, находившихся на верхней полке, мне попались под руку напечатанные в прошлом столетии на французском языке пятая или шестая часть Руссовой Элоизы и Вольтерова сатирическая брошюрка без начала и конца «Человек в 30 сребреников» [6]. Бедный книгопродавец,—подумал я,—лучше б ты торговал одним мелом или благовонною серкою, шибко полезною для зубов и десен нежного иркутского пола: обширная и выгодная торговля этим невинным продуктом ни в каком случае не может подвергнуться конфискации...

...(Однажды—Б. Ж.) является мой спутник с целою вязанкою незабудок, диких тюльпанов, царских кудрей и лютиков.

— Камрад!—воскликнул он, сгружая свой гербариум на диване,—одевайся, идем в гости.

— Куда, если смею спросить?

— К адмиралу. Он не приказал мне являться к нему без тебя... Ты останешься доволен прогулкою и беседою с этим благороднейшим человеком: он тоже, как и ты, немножко из числа мечтателей и даже имеет глупость, как ты же, заучивать наизусть стихи Жуковского и Пушкина. Кроме того, может быть, мы найдем у него интересных собеседников.

Уступив такому обольстительному убеждению, я нарядился (для важности) в новый форменный сюртук с красным воротником и с золотыми гербовыми пуговицами. Ровно в семь часов вечера мы были в адмиралтействе [7]. Адмирал ангарского флота, т. е. начальник Иркутского адмиралтейства, принял нас, и особенно меня, как нового знакомца, с пленительным радушием... Мы были уже не первые, а скорее почти последние по приходу гости. Небольшая зала, выходившая окошками на сторону к Ангаре, наполнена была посетителями только мужского пола; по этому случаю на двух столах, смиренно прижавшихся к голым стенам храмины, стояли стаканы с грогом...

Забрав сведения по секрету через посредство моего дорожного товарища об именах, чинах и званиях бывших гостей, я узнал, что тут компанию, в которой мы были тоже для других интересными персонами, составляли следующие лица:

а) профессор монгольского языка иркутской семинарии и он же лектор русской словесности,

б) капельмейстер полковой музыки иркутского воинства,

в) вольнопрактикующий живописец, бывший воспитанник С.-Петербургской Академии художеств,

г) советник экспедиции ссыльных и непременный член иркутского приказа общественного призрения,

д) отставной чиновник—якутский уроженец, высланный с места родины за возмутительные мысли о современных действиях местной власти,

е) какой-то алеут или креол, недавно возвратившийся из колоний Российско-Американской компании [8].

Вечер длился и беседа постепенно оживлялась...

— Господин профессор! не занимаетесь ли вы собиранием сибирских песен,—скромно спросил капельмейстер иркутской полковой музыки.

— Сибирских песен? А откуда их взять?—отвечал серьезно профессор.—Сибирь не имеет и, кажется, не будет иметь своей родной песни.

— Как так, г. профессор! Вы не шутя это говорите?—промолвил я с своей стороны.

— Нисколько не шучу, помилуйте, да откуда Сибирь возьмет родную народную песню? Вы прежде рассмотрите, из каких элементов сплотилось народонаселение Сибири, а особенно Сибири Восточной... Русские пришельцы, казаки и промышленники, проникшие до берегов Америки, сражались с дикарями и природою, бедствовали, гибли, укреплялись в острогах, обогащались сами рухлядью [9], а правительство обогащали открытиями: им было не до песен. Потом началось образование цивилизации, наступил период забот правительственных, период борьбы невежественной анархии с гражданским устройством, период смут, злоупотреблений, законной кары, нравственных и физических недугов: кто бы в это время вздумал создавать в Сибири так называемую народную песню? Наконец последовало наводнение сибирских равнин и ущелий поселенцами, людьми, потерявшими чистоту совести, чувства, верования, людьми, зараженными неизлечимою болезнью разврата, озлобления и безотчетной отваги. Это наводнение затопило последние аорты чистой нравственности свободных пришельцев и набросило на них гробовую пелену уныния... Прислушайтесь к мурлыканью сельских девушек, когда они в праздничные дни разводят свои хороводы: их напев отзывается тюремными вздохами, их слова выражают тоску изгнания, самое движение ног их какое-то невольное, тяжелое. Как будто они недавно освобождены от вериг, тяготевших на ступнях... А надобно вам сказать, что народная песня создается свободой, разгульной волей, неподдельным восторгом, рыцарским молодечеством, любовью... В Сибири ничего подобного не проявлялось с той поры, когда она

выходила из тьмы дикого своего состояния, и ничего подобного нет до сего времени... До родимых сибирских романсов нам не дожить: для этого Сибирь сначала должна обзавестись самобытными поэтами и артистами, чего у нас тоже в наличии не имелось и не имеется[10].

— Профессор говорит правду,—произнес хозяин с одушевлением.—Я сам, уже живя здесь шестой год, прислушивался к народному пению и уверяю вас торжественно, что в этом простонародном мурлыканьи ничего нет похожего на так называемую песню. По моему мнению здесь в Сибири даже и птички не поют, а только чирикают.

Но кстати о поэтах: в здешней гимназии оканчивает курс наук один своекоштный воспитанник, мальчик лет пятнадцати, сын бедного мещанина. Этот мальчик, как я думаю, одарен неподдельным поэтическим талантом. Позвольте, я сию минуту прочту вам коротенький отрывок из написанного им недавно стихотворения «Сибирь». Учитель словесности передавал мне всю пьеску, из которой я выписал несколько стихов; пьеса отличается оригинальным взглядом на предмет и звучною гармонией так называемой рифмы.

Тогда же, вынувши из комода скорописную тетрадь, хозяин отыскал желаемый отрывок и мастерски продекламировал следующую тираду:

«У нас пока в Сибири два предмета:
Мозольный труд и деловой расчет.
Всем нужен хлеб да звонкая монета,
Так любознание кому на ум придет?
Купец сидит, как филин, на прилавке,
Его жена чаек с кумою пьет,
Чиновный класс хлопочет о прибавке
И прочного гнезда себе не вьет.
Сегодня здесь, а завтра за Уралом.
Кто нажился, тот едет генералом,
Кто не сумел, тот с посохом идет.
Коробочник несет ярмо торговли,
Его девиз: труды, а не обман.
Он тоже спит в тени наемной кровли
Ему (лафит) походный балаган.
Он тож глядит на Запад, как астроном,
Он бредит иль Десной, или Волгою, иль Доном;
Там у него отчизна, там родня
(И это все понятно для меня).
Приказные с утра до поздней ночи
С пером в руках хлопочут лишь о том,
Как свесть итог круглей и покороче
В своем житье, донельзя уж простом.
А тот, кого судьба облобызала,
И гнездышко птенцам его свила,
Гласит: не нам учить себя с начала,
На то нам очередь прошла.
Сумел нажить с немудреньким умишком
И пенсию, и пряжку, и почет,
И кое-что в наследье ребятишкам—
Концы-концов! Закончен наш расчет!..»[11]

— Как вам покажется этот образчик поэзии сибирского уроженца?—спросил хозяин, самодовольно улыбаясь.

— Прекрасно!—воскликнули собеседники.

— Схвачено с натуры художественною кистью,—смиренно произнес живописец.

— Я готов расцеловать в пух этого юного питомца Аполлона,—воскликнул профессор,—и желал бы даже поэкзаменовать его.

— Но что же, друзья!—отозвался хозяин с каким-то грустным чувством.—Этот, повидимому, даровитый мальчик через год окончивши курс низших наук в гимназии, как сын бедного мещанина, должен сделаться лавочным сидельцем или обозным прикащиком и тогда все его поэтические фантазии сосредоточатся на весовых чашках и на конце щупа, которым пробуют доброту чая в закупоренных ящиках!

— Жаль будет молодого человека,—промолвил капельмейстер,—он действительно имеет призвание. Кстати и я вам смею доложить, что жители Иркутска, как почетные граждане, так и среднего класса, вовсе не любят музыки и даже как будто пренебрегают ею. Живя здесь уже более десяти лет, я не имел счастья быть музыкальным учителем ни в одном порядочном купеческом доме, а я играю на пяти инструментах; знаю генерал-бас, мог бы давать уроки на фортепиано, даже на арфе... Так нет желающих ни из того, ни из другого пола.

— Это вот почему, достопочтеннейший маэстро,—сказал хозяин,—иркутские граждане, за исключением, разумеется, чиновников и духовенства, рождают и воспитывают своих детенышей не для музыки, а для существенной житейской потребы, для торговли, для семейственного счастья. Мальчики, например, научившись читать и писать и познакомившись с первою частью арифметики, принимаются за аршин и счеты; потом, съездивши раза по два, по три в Якутск и в Москву, так сказать, оперившись торговыми опытами, замышляют о женитьбе, выбирают себе выгодные партии, женятся и, как птички весною, начинают вить себе гнездышки, потом сами обзаводятся детенышами и, вслед за своими отцами, идут по указанной им дороге жизни...

— Ну-с, а девушки?—произнес мой дорожный товарищ, набивая трубку.

— Девушки? Девушки тоже вырастают, как цыплятки, под крылышками своих матушек. К шестнадцатилетнему возрасту они делаются полненькими, румяненькими, быстроглазенькими. Наигравшись досыта в куклы, они начинают вязать кружева, шить тамбуром; между тем учатся у матушек стряпать шанички, тарочки, обварные калачики, т. е. знакомятся с кухней, с обязанностями хозяйки дома. В то время готовят себе в приданое, по распоряжению матушки, полотенца, простыни, душегреечки, телогреечки и прочее. Потом является Мартын Задека с пшеничными зернами, с хлебными шариками, с кругами и разводами и с

предсказаниями счастливой будущности [12]. Потом, по предсказаниям Задеки, жалует форменная дама, вследствие чего наводят справки о суженом, и если окажется, что этот молодец действительно суженый, бьют по рукам... В это время невеста плачет, частью от страха, а частью от радости; но, несмотря на слезы невесты, ее снаряжают замуж и ведут к венцу. В заключение этого интересного спектакля на другой день свадьбы новобрачные, как наливные яблочки, целуют ручки у своих родителей и сами красные целуются при свидетелях [13].

Беседа на эту тему, продолжавшаяся за полночь, с различными эпизодами о прошлом и настоящем положении Сибири, чрезвычайно интересовала меня как новичка, нисколько еще не знакомого ни с историей края, ни с нравами обитателей, ни с настоящим его положением... Ровно в два часа ночи сели за ужин, который хотя не был роскошен, зато одушевлен был самыми откровенными разговорами и милыми, грациозными шутками...

...Раскрылась дверь залы, явился старичок в длинном сюртуке темнокоричневого цвета, с головою, украшенною седыми, рассыпанными по плечам кудрями, и, подходя ко мне, скромно спросил: здесь ли квартирует прибывший из Петербурга секретарь начальника Камчатки Голенищева?

— К вашим услугам, милостивый государь, я—тот чиновник, которого вы спрашиваете.

Старичок подал мне руку и объявил, что он купец Д(удоровский), давнишний знакомец Голенищева, желает получить о нем нужные сведения, чтоб не пропустить случая видеться с ним, если он будет проезжать через Сибирь сухим путем в Камчатку.

Скрыв свое удовольствие, которое чувствовал я, видя перед собою Дудоровского, этого грамотея, начитанного, всеведущего, прямодушного иркутянина (как говорил о нем Алексей Степанович), мне невозможно было скрыть от этого почтенного старца всего того, что касалось собственно до Голенищева, касательно задержки его в Петербурге, его женитьбы и его предположений, относящихся до устройства Камчатского края. Беседа наша продолжалась недолго. Спутник мой возвратился домой сам третий с какими-то почетными бурятскими князьями. Дудоровский дружески простился со мной, взяв с меня честное, неизменное слово прийти к нему сегодня же в шесть часов на чашку вечернего чая.

Несколько ранее этого срока у ворот моей квартиры явился скромный экипаж Дудоровского, а через четверть часа я уже был в его доме. Старик с длинными седыми волосами, опускавшимися до плеч, в домашнем сюртуке из черной канфы, встретил меня на крыльце своей обители, осыпал чисто русскою неподдельною приветливостью, ввел в залу и усадил на широкий

старомодный пуховый диван, накрытый цветным штофом. В комнате никого не было, кроме меня и хозяина. Окна залы были заставлены разными живыми оранжерейными растениями, отчего в зале царствовал приятный полусвет, так обворожительно действовавший на мое зрение и чувство. Мебель старинной формы с бронзовою отделкою, мраморные угловые столики, яшмовые тумбы, великолепные гравюры на стенах в роскошных рамах за стеклами, киот с святынею в ярко золоченых серебряных ризах, пол устланный коврами, а в смежной комнате или в кабинете великолепный шкаф с книгами, бумажными трубками и разными кабинетными атрибутами, все это возрождало во мне живейшее любопытство и желание коротко узнать самого хозяина этой мирной, обворожительной обители.

Около получаса любопытный хозяин расспрашивал меня о Петербурге, о месте моей родины, как я рос, где воспитывался, где служил до поездки в Сибирь, что заметил интересного в проезд по Сибири, и прочее, и прочее.

Но должно заметить, что расспросы эти сопровождались какою-то романтическою занимательностью, одушевляясь чувством искреннего участия, гармонировали моему тогдашнему скитальческому положению. Я не мог не заметить, что почтенный старец глубоко изучил науку светского обращения и даже в самых обыкновенных движениях и приемах его выказывалась грациозная деликатность без грубого чванства и той угрюмости, которые иногда заметны в обращении богатых стариков купеческого сословия.

Взглянув на часы, хозяин пригласил меня «освежиться вечерним воздухом» в его садике и за стаканом чая обязать его приятною беседою...

...— Так (сказал Дудоровский—Б. Ж.) Голенищев хлопочет об открытии порто-франко в Камчатке: великолепное предприятие [14].

— Точно так, и Голенищев надеется успеть, надеется, что большая часть его предположений, относящихся до улучшения положения Камчатки, будут удостоены монаршего соизволения.

— Дай бог! дай бог!—произнес почтенный старец с радостным одушевлением,—открытие порто-франко в Камчатке повлечет за собою резкие перевороты в том крае, а может быть и на материке Восточной Сибири. Оно будет иметь столь же важные последствия, как и путешествие знаменитого нашего Г. И. Шелихова к берегам Северной Америки...

— Какие же важные последствия вы предусматриваете из этого, по моему мнению, весьма обыкновенного события, кроме пользы собственно для Камчатки и даже для одних только обитателей Петропавловского порта?—спросил я своего гостеприимного хозяина.

— Чтоб объяснить это вам, надобно коснуться прежнего и настоящего состояния колоний Российско-Американской ком-

пании, хозяйственных ее распоряжений; самой цели ее существования; потом хотя кратко обозреть положение торговли в отдаленных пунктах северо-восточного края, то-есть в Камчатке, Гижиге, Охотском порте, Островной крепости и даже в самом Якутске. Все эти пункты, как и самые колонии Российско-Американской компании, обеспечиваются всем нужным, что составляет предмет пищи, одежды и хозяйственных потребностей,—с сибирского материка и большей частью даже из-за Урала. Все это в громадном количестве каждогодно провозимое в те края, променивается на шкуры красного зверя, составляющие драгоценный товар внутри России и на Кяхте. Таким образом, этот размен русских произведений на пушной товар и обратно оживляет торговлю, образовывает капиталы, доставляет чрезвычайные выгоды извозной промышленности от самого Урала до берегов Охотского моря. Но с открытием порто-франко на Камчатке и с появлением американцев в колониях нашей Российско-Американской компании торговые обороты в тех краях должны будут потерпеть изменение. Привоз русских продуктов и прочих потребностей собственно в те края уменьшится, быть может, на половину, следовательно и вывоз звериных шкур должен будет уменьшиться в той же пропорции. Вместе с этим сократятся выгоды извозной промышленности, по крайней мере в Якутском крае. Конечно, это только одни предположения, но предположения очевидно сбыточные...

Появление американских торговых судов в водах Восточного океана и Охотского моря, сближение американцев с русскими, возникновение их коммерческих связей в Камчатке и в колониях Российско-Американской компании, кроме изобилия, какое может быть развито американцами в тех местах, послужит без сомнения поводом к усилению народонаселения в Камчатке и на Алеутских островах, с целью собственно правительственной, преобразует хозяйственные распоряжения по управлению колониями Российско-Американской компании. Вместе с тем Якутская область должна будет приняться за изыскание прочнейших способов к продолжению бытия своего при упадке выгод, получаемых ею доселе от изменчивой зверопромышленности и от перевозки тяжестей в Колымский край и к Охотскому приморью... Наконец, класс сибирских торговцев или так называемое купечество начнет помышлять об открытии новых источников свойственной ему промышленности, обратит внимание на прочие виды натуральных богатств Сибири: горнозаводство, фабрикация, даже самое земледелие ожидают предприимчивых, сильных рук с надежными капитальными способами. Пройдет, быть может, 10—15 лет и переворот этот совершится. Возникающее новое поколение наших иркутских граждан без сомнения захочет присвоить себе новую честь и новую славу за новые предприятия и успехи на поприще общежитейской деятельности, о чем нам, старикам, в настоящее время и во сне не грезится[15].

В этой беседе, которой помещается здесь только самый краткий очерк, протекло более двух часов времени... С этой поры дом старика Дудоровского сделался для меня родственным, благодатным убежищем...

Однажды, часу в шестом вечера, вышедши из квартиры побродить по городу, я как будто невзначай очутился у ворот дома Дудоровского. Как не зайти! Захожу, и застаю старика в беседе с двумя молодыми людьми, которых физиономии меня чрезвычайно заинтересовали. Один, высокий, стройный, темнорусый, гладко остриженный, лет под 30, не роскошно, но опрятно одетый, имел величавую, даже строгую наружность. Глаза его, не совсем открытые, выражали ум и прямодушие, солидность не по летам обрисовывала его характер. Другой, несколько пониже ростом, в полном смысле брюнет, одет был с изысканностью, роскошно. Карие большие глаза, оттененные черными как смоль пушистыми бровями, малиновые губы, на которых мелькала улыбка самодовольствия, черные волосы, игриво расположенные над широким лбом, овал лица правильный и приятный, одним словом, вся наружность этого молодого человека располагала в его пользу.

Хозяин и гости при моем появлении вышли из кабинета в залу и продолжали разговор свой о делах кяхтинской торговли, нисколько не стесняясь моим присутствием. По прошествии четверти часа посетители ушли, а я остался. На вопрос мой, заданный хозяину, с кем он беседовал, старик отвечал:

— Это, батюшка, будущие представители возникающего нового поколения иркутских граждан. Тот, который повыше и посерьезнее—В. Н. Б(асни)н, а другой—А. В. Ш(елихо)в. Замечательные молодые люди; оба воспитаны по новой методе, т. е. по-светски, но оба с прекрасной нравственностью, с высокими религиозными понятиями о добре и чести, с пламенною патриотическою любовью к общим пользам. Как веские капиталисты по наследию, они занимаются торговлею не как ремеслом, но как н а у к о ю *, изучают ее по фактам и на практике. Б(асни)н устремил все свои соображения на общий круг дел и оборотов в кяхтинской торговле и уже обратил на себя внимание как русских, так и китайских коммерсантов, а Ш(елихо)в занялся соображениями и опытами меновой торговли во всех пунктах северо-восточной окраины Сибири.

Оба уже женатые, по собственному выбору и соответственно их состоянию. Б(асни)н человек в высшей степени любознательный; он с примерным рвением занимается собиранием книг и картин и учится всему, что необходимо знать человеку высшего круга, готовящемуся на поприще представителя своих граждан [16]. Ш(елихо)в тоже много читает и еще более размышляет...

Старик был на этот раз особенно словоохотлив, он был, как

* Курсив оригинала—Б. Ж.

говорится, в духе; коснувшись современного, по его словам, модного воспитания, он изъявил свое сожаление о том, что в Иркутске воспитание детей слишком ограничено, что дети мужского пола, и то некоторых почетных и зажиточных граждан, поучившись несколько в гимназии, поступают к делам коммерции, делаются как бы надзирателями за приказчиками, командируются в Россию и там на свободе, завлекаемые теми же приказчиками в неизведанные еще ими и обольстительные удовольствия, нередко преждевременно безобразят свою нравственность, делаются какими-то аферистами и зубоскалами (если можно так выразиться); на редкого из них Москва и Нижний-Новгород не налагают особого штемпеля, который не приличен ни простому торговцу, ни светскому юноше. Они болтают как попугаи о всем ими виденном в театральных райках и балаганах, без всякого смысла и здравого понятия фанфаронят в кругу своих сверстников и даже в обществе, как ученые обезьяны; тщеславятся каким-то мнимым преимуществом перед другими и, к стыду своих родителей, иногда спускают порядочные куши денег на знакомство с житейскими наслаждениями, к которым они по своему возрасту и состоянию не должны были прикасаться преждевременно. Что же касается до воспитания девиц, то я не могу и придумать, как бы вам объяснить это. Одним словом, у нас, т. е. в Иркутске, до сего времени девицы не получают никакого воспитания. Они просто вырастают под надзором матерей по-старинке. Круг понятий их о всем существующем в природе ограничивается тем только, что они, достигши совершеннолетнего возраста, должны будут выйти замуж, должны быть хозяйками и матерями... Да, милостивый государь,—присовокупил старик,—трудно и даже невозможно подвинуть время вперед; оно идет, конечно, быстро, но не бросит нам своих даров ранее определенного промыслом срока. Не убо прииде час, в который суждено Сибири совлещи с себя ветхие ризы бытия и восприять из рук времени новую одежду жизни. Этот час или этот срок, по моему замечанию, еще не близок...

Глава IV.

СИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВО И ДЕКАБРИСТЫ.

Декабрист А. П. Юшневский как педагог.—Отношение крестьян к Юшневскому.—Декабристы бр. Борисовы, А. З. Муравьев, А. В. Поджио.—Жизнь декабристов в Иркутске.—Дома Трубецких и Волконских.—Влияние декабристов на иркутское общество.

Культурное влияние декабристов на местное сибирское «общество» изучено довольно широко. В известных книгах А. И. Дмитриева-Мамонова «Декабристы в Западной Сибири», Б. Г. Кубалова «Декабристы в Восточной Сибири»,

Всесоюзная БИБЛИОТЕКА

сборнике «Сибирь и декабристы» (Иркутск, 1925 г.) и многих других работах приведены многочисленные факты культурно-просветительной деятельности декабристов в Сибири, их благотворного влияния на культурную, нравственную, хозяйственную жизнь местного населения и т. д.

В старой Сибири часто встречались люди, считавшие себя обязанными всем своим культурным и нравственным развитием влиянию декабристов. Известный писатель-народник С. Я. Елпатьевский, отбывавший в 80-х годах политическую ссылку в Енисейске, рассказывает в своих «Воспоминаниях за 50 лет» (Л. 1929 г., стр. 189) об енисейском золотопромышленнике Кытманове, который в 16-летнем возрасте познакомился с декабристами М. А. Фонвизиным и Якубовичем и подружился с ними: «Тут рассказал он мне свою жизнь, и чем больше рассказывал, тем больше оживлялся, и вдруг старик заплакал:—Не могу, как вспомню... Люди были... Люди были».

Приведенный рассказ чрезвычайно характерен для обрисовки отношения местной сибирской буржуазии к декабристам. Сибирское «общество» 40—50-х годов прошлого столетия не было классово однородным, и, говоря о благотворном влиянии декабристов на Сибирь, необходимо различать две стороны этого влияния—влияние на трудовое население, крестьян и рабочих, которым декабристы помогали главным образом материально, трудовым примером, оказывали бесплатно медицинскую или юридическую помощь,—и влияние на местную сибирскую буржуазию. Последнее влияние было сложнее и запутаннее.

Сибирская буржуазия создала немало легенд о своем «романе» с декабристами. В этих легендах она неизменно выступает в очень выгодном для нее свете: политического сочувствия декабристам, интеллектуальной и моральной близости с ними и всяческого облегчения тяжелой их сибирской неволи. Все это в отдельных случаях и в известной мере, конечно, имело место, но далеко не в столь большой степени. Роль мецената декабристов сибирской буржуазии не так уж к лицу.

Сибирская буржуазия 40—50-х годов—эпохи бурного подъема частной сибирской золотопромышленности и роста, вследствие этого, общественной мощи сибирского купечества—была уже достаточно опытна для того, чтобы понимать, какую выгодную для нее культурно-общественную силу представляют собой декабристы. Уважение сибирских купцов к декабристам вызывалось не только и не столько бескорыстным преклонением пред их нравственными качествами и образованностью, сколько практическим стремлением использовать эти качества декабристов в своих целях. Сибирские купцы (хотя далеко не все), как свидетельствует приведенный ниже отрывок из воспоминаний Н. А. Белоголового, охотно отдавали своих детей в обучение декабристам, сознавая практическую ценность образования; ени-

сейский золотопромышленник Кытманов рыдал при воспоминании о декабристах, вероятно, не из одного почтения к их светлой памяти. Декабристы во многих случаях выступали в роли воспитателей молодой сибирской буржуазии, еще очень чумазой, но уже начинавшей мечтать (см. выше, гл. «Зарождение сибирского областничества») об усилении своего общественного могущества.

Сношения декабристов с местным сибирским буржуазным «обществом» не ограничивались воспитанием купеческих детей. Некоторые небогатые декабристы из мелкого и среднего дворянства (В. Ф. Раевский, А. И. Якубович) вынуждены были ради заработка прямо наниматься на службу к местным золотопромышленникам и купцам, а последние очень нуждались в образованных и честных служащих. Иные декабристы (Н. Ф. Лисовский, И. Б. Аврамов, Ф. Ф. Вадковский и др.) сами занялись торговой деятельностью и таким путем срастались с местной буржуазией. Декабристы из аристократии, жившие на средства, присылавшиеся им родными и не нуждавшиеся в сибирской буржуазии, могли позволить себе роскошь жить замкнуто в своем кругу или водиться только с представителями высшей местной губернской администрации; но большинство декабристов (из поселенных в городах) вынуждено было вступать в более или менее тесные сношения с местным купечеством, представлявшим им единственную в условиях Сибири того времени возможность трудового заработка в форме учительства, медицинской практики и т. д.

Таким образом, между местною сибирскою буржуазией и многими декабристами часто устанавливались отношения работодателя к работнику. Это необходимо иметь в виду при чтении печатаемых ниже отрывков из воспоминаний д-ра Н. А. Белоголового, известного сибирского общественного деятеля 60—80-х годов. Николай Аполлонович Белоголовый (1834—1895 гг.), сын иркутского купца средней руки, впоследствии известный врач, друг знаменитого терапевта С. П. Боткина, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина и многих других выдающихся людей своей эпохи, оставил интересные воспоминания о жизни декабристов (в частности А. П. Юшневского, А. В. Поджио, С. Г. Волконского с семьей) на поселении в Иркутске и в селах вблизи Иркутска. Но воспоминания Белоголового отзывают идиллией: по его словам выходит, что между декабристами и местным иркутским чиновничье-купеческим «обществом» царила самая идиллическая, ничем не нарушаемая дружба. А из других исторических источников мы знаем, что декабристы, как поселенные в Иркутске, так и в других местностях Сибири, испытывали немало неприятностей со стороны придирчивого местного «начальства» и невежественных обывателей. Из недр местного «общества», даже передовых его слоев,

выходило немало доносов по начальству, направленных против декабристов *.

Отношение местного сибирского «общества» к декабристам было на деле не столь бескорыстным, как это рисует Н. А. Белоголовый. Трудно поверить, чтобы отец Белоголового, умный и дальновидный купец, отдал своих сыновей на воспитание А. П. Юшневскому, а после посылал их в дом Волконских из одной лишь бескорыстной любви к образованию и хорошим манерам. Напомним, что из старшего брата Н. А. Белоголового Андрея впоследствии вышел один из самых видных иркутских купцов второй половины XIX в. Сам Аполлон Васильевич Белоголовый (отец Н. А. и А. А. Белоголовых) в компании с декабристом В. А. Бечасным построил в с. Смоленщине, вблизи Иркутска, первую в Восточной Сибири механическую маслобойку. Здесь связи с декабристами были использованы А. В. Белоголовым в самых практических, материальных целях.

Отрывки из «Воспоминаний сибиряка о декабристах» печатаются по 4-му изданию «Воспоминаний и других статей» Н. А. Белоголового, СПБ, 1901 г., стр. 1—5, 7—21 и 27—43.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ СИБИРЯКА О ДЕКАБРИСТАХ»

В один светлый майский день 1842 года за обедом отец обратился к старшему моему брату Андрею и ко мне со словами: «Сегодня после обеда не уходите играть во двор; мать вас оденет и вы поедете со мной». Отец не объяснил, куда он хочет везти нас; мы же, в силу домашней субординации, расспрашивать не смели, а потому наше детское любопытство было очень возбуждено. Старшему брату было в это время 10 лет, а мне—8; жили мы в Иркутске в своей семье, состоявшей, кроме отца, матери и нас, еще из двух меньших братьев; учились мы дома и для занятий с нами являлся ежедневно какой-то скромный и угреватый канцелярист, а так как мы оба были мальчики прилежные и способные, то программа элементарного обучения, какую мог дать наш учитель, была исчерпана, и старший брат начал уже ходить в гимназию, а отец поговаривал, что пора и меня отдать туда же. Отец мой был купец, далеко не богатый, очень деятельный, замечательно умный и не останавливавшийся ни перед какими жертвами, чтобы доставить нам наивозможно лучшее образование, что было тогда в Иркутске крайне трудной, почти неисполнимой задачей.

Когда мы, вымытые, приглаженные и одетые в наше лучшее

* Ср. ниже, гл. «Культурнопросветительная деятельность декабристов в Сибири». См. также Б. Кубалов. Декабристы в Восточной Сибири, Иркутск, 1925 г., стр. 40—41, 47 и др.

платье, уселись на долгушу (длинные безрессорные дрожки, которые, кажется, и до сих пор в большом употреблении в Сибири), запряженную парой сытых лошадей, и быстро покатили по городу, то отец стал объяснять нам, что везет нас в деревню Малая Разводная к декабристам Юшневским [1], у которых мы начнем учиться и для этого скоро совсем переберемся на житье к ним... Мы были еще так юны и неопытны, что название «декабристы» не имело для нас решительно никакого смысла, а потому мы с самым невинным любопытством ждали предстоящего свидания.

Деревушка Малая Разводная лежит всего в 5 верстах от Иркутска, причем дорога вначале версты три идет по Забайкальскому тракту, а потом сворачивает вправо по узкому проселку, поросшему по бокам молодым, корявым березняком, и приводит к названной деревушке, заключавшей в себе тогда домов 25 или 30. Мы миновали несколько вытянутых в улицу крестьянских домов и подъехали к тесовым воротам, а через них попали в довольно обширный двор, среди которого стоял небольшой одноэтажный домик Юшневских, обращенный главным фасадом на Ангару, протекавшую под крутым обрывом, на котором раскинута деревушка.

К сожалению, память мне изменяет, и я смутно вызываю в себе только немногие подробности этого первого приезда нашего в Малую Разводную. Отца моего везде встречали с большим уважением: кроме природного ума, он обладал редкою начитанностью, был превосходный рассказчик, много видал на своем веку, так как по торговым делам должен был каждое лето совершать поездку в Нижний, Москву и часто вплоть до Петербурга; эти постоянные поездки особенно способствовали его сближению с декабристами, потому что он доставлял контрабандные письма от них к родным и наоборот, и нередко выступал в многоразличных делах устным посредником между ссыльными и их знатными столичными родственниками [2]. Поэтому прием нам сделан был самый радушный; Юшневские, особенно муж, расспрашивали брата и меня о наших занятиях, но формальному экзамену, кажется, нас не подвергали. Помню одно, как общее впечатление этого визита, что Юшневский как-то сразу покорил наши детские сердца и что на обратном пути мы с братом находились в восторженном настроении от мысли, что поступаем на руки к такому прекрасному учителю.

У Юшневских мы пробыли недолго, ибо отцу, к немалому нашему удивлению, надо было сделать в этой крохотной деревушке целый ряд визитов. Сначала Юшневский повел нас в соседний дом, двор которого прилегал к двору Юшневского и был отделен частоколом, в котором прорезана калитка. Здесь в небольшом доме с мезонином, стоявшем также среди двора, проживал другой декабрист—Артамон Захарович Муравьев [3]. Это

был чрезвычайно тучный и необыкновенно веселый и добродушный человек; смеющиеся глаза его так и прыгали, а раскатистый, заразительный хохот постоянно наполнял его небольшой домик. Кроме ласковости и веселых шуток, он нас расположил к себе, помню, еще и оригинальным угощеньем; сидя по-турецки, с сложенными ногами, на широком диване, он нам скомандовал: «ну, теперь, дети, марш вот к этому письменному столу, станьте рядом против правого ящика; теперь закройте глаза, откройте ящик, запускайте в него руки и тащите, что вам попадется». Мы исполняли команду в точности по мере того, как она производилась, и объемистый ящик оказался доверху наполненным конфетами. Как видно, он сам был охотник до сладкого и вообще, как я узнал впоследствии, любил поесть и пользовался репутацией тонкого гастронома.

На этом же дворе у ворот стояла еще небольшая крестьянская изба с окнами, выходившими на деревенскую улицу, и в ней помещались декабристы—два брата Борисовы[4], отец прошел с нами и к ним. Младший брат, Петр Иванович, был необыкновенно кроткое и скромное существо; он был невысокого роста, очень худощав; я до сих пор не могу позабыть его больших вдумчивых глаз, искрившихся безграничной добротой и прямодушием, его нежной, привлекательной улыбки и тихой его речи. Он представлялся совершенной противоположностью только что оставленному нами А. З. Муравьеву; насколько последний был шумен, неудержимо весел и экспансивен, настолько первый казался тих, даже застенчив в разговоре и во всех своих движениях, и какая-то сосредоточенная, глубоко засевшая на душе грусть лежала на всем его существе... Жил он вместе со своим братом Андреем Ивановичем, у которого развилась в ссылке психическая болезнь, что-то вроде меланхолии; он чуждался всякого постороннего человека, тотчас же убегал в другую комнату, если кто-нибудь заходил в их избушку, и Петр Иванович был единственным живым существом, которое он допускал до себя и с которым свободно мог разговаривать, и взаимная привязанность этих братьев между собой была самая трогательная. Из России они ни от кого помощи не получали и жили скудно на пособие от товарищей-декабристов. Кроме того П. И. зарабатывал ничтожные крохи рисованием животных, птиц и насекомых и был в этом искусстве, не находившем в то время почти никакого спроса в России, тонким мастером. А. И. тоже не оставался без дела: он научился переплетному ремеслу и имел небольшой заработок.

Но этим визиты наши еще не кончились и от Борисовых мы перешли через улицу еще в одну крестьянскую избу, где жил декабрист Якубович[5]. Странное дело! Когда недели через две мы сделались совсем обитателями Малой Разводной, мы Якубовича там, кажется, уже не застали; то ли я забыл, то ли за этот ко-

роткий промежуток он переселился в другое место *, только мне помнится, что я его видел всего один раз, и тем не менее его внешность сильно врезалась в мою детскую память: это был высокий, худощавый и очень смуглый человек, с живыми черными глазами и большими усами; все движения его были полны живости и энергии; детей, видно, он очень любил, потому что тотчас же занялся с нами с великой охотой и, будучи большим любителем живописи, скоро и бойко нарисовал карандашом два рисунка и подарил нам каждому на память. Наконец, от Якубовича мы поехали домой—и тут дорогой отец старался нам объяснить, какого рода людей мы посетили, и хотя главное в его словах оставалось для нас темным, но мы теперь уже с большим смыслом отнеслись к названию «декабристы» и связали его с определенным типом наших новых знакомцев; так картинки в книге часто объясняют ребенку многое, что в прочитанном тексте оказалось выше детского понимания. Все вместе и наши личные приятные впечатления, полученные от недавних знакомцев, и теплый симпатичный тон, с которым отзывался о них отец, сразу вызвали в наших восприимчивых сердцах благоговейное уважение к этим таинственным людям, которое потом росло с нашим ростом и крепло по мере того, как мы более и более входили в их круг [6].

...Как ни резок был для нас переход из теплого родного гнезда, от шума большой семьи и городской жизни в тихий деревенский домик пожилой четы, однако мы с ним как-то скоро освоились и не очень скучали. Вероятно, этому способствовал прежде всего сам Юшневский, который так умело и тепло взялся за нашу дрессировку, что мы не только сразу ему подчинились, но и привязались к нему со всею горячностью нашего возраста. К сожалению, я был слишком ребенок тогда, чтобы теперь с возможными подробностями обрисовать выдающуюся личность Юшневского, склад его жизни и отношение его к окружающей обстановке, а потому невольно должен ограничиваться только смутными воспоминаниями, которые у меня сохранились, причем все крупное и рельефное проходило для меня незамеченным, а врезывались в памяти все такие впечатления, которые более были доступны моему детскому пониманию...

Алексею Петровичу—так звали Юшневского—было тогда за 50 лет; это был человек среднего роста, довольно коренастый, с большими серыми навыкате глазами; бороды и усов он не но-

* Впоследствии из печатных источников я узнал, что Якубович жил на поселении в Усольи, верстах в 60 от Иркутска, и, вероятно, временно находился в Малой Разводной, приехав навестить своих товарищей.—Примечание Н. А. Белоголового. А. И. Якубович проживал на поселении в д. Большой Разводной и, с 1841 г., в с. Назимове, Анцыферовской вол., Енисейской губ., Белоголовый ошибается, указывая местом его поселения Усолье. В Усольском солеваренном заводе Якубович пробыл лишь очень короткое время по прибытии в Сибирь—Б. Ж.

сил и причесывался очень оригинально, зачесывая виски взад и вверх, что еще более увеличивало его и без того большой лоб. Ровность его характера была изумительная; всегда серьезный, он даже шутил, не улыбаясь, и тем не менее в обращении его с нами мы постоянно чувствовали, хотя он нас никогда не ласкал, его любовное отношение к нам и добродушие. На уроках он был всегда терпелив, никогда не поднимал своего голоса... Только однажды за все время он вспыхнул и крикнул на нас, а потому, вероятно, этот единственный случай так и врезался в моей памяти. Как-то раз после обеда мы втроем пошли играть в огород, спускавшийся перед домом по откосу к Ангаре; от нее огород отделялся забором с небольшою калиткою, через которую нам запрещено было выходить на берег, чтобы как-нибудь по неосторожности не свалиться в стремительно несущуюся реку. На этот раз что-то соблазнило нас нарушить запрещение, но только что мы стали возиться около калитки, чтобы отодвинуть тугую задвижку, как А. П., увидав из окна, чем мы занимаемся, крикнул нам: «зачем вы это делаете, дети? оставьте калитку в покое!», и мы тотчас же отошли, но когда через несколько минут заметили, что А. П. не видно более в окне, снова принялись за ту же работу и, открыв наконец калитку, готовились выскочить на берег; вдруг из окна раздался тот же голос, на этот раз гневный и повелительный: «Как же вы это не слушаетесь? Марш сейчас же в комнаты!» Мы повиновались, и А. П. встретил нас сердитый в передней, горячо распек за непослушание и в наказание приказал нам тотчас же итти в свою комнату. Нас очень смутил этот необычный с его стороны окрик и мы, робко прокравшись к себе, стали только что рассуждать о постигшей нас беде, как через минуту или две дверь отворилась и А. П., спокойный и ласковый, как всегда, вошел к нам и весело спросил: «Ну, дети, кто из вас скажет, как пишется «несколько», через ять или через е?» Мне теперь далеко за 50 лет, но мне кажется, я до сих пор помню, как забилось мое сердце от радости, что А. П. более на нас не сердится, и как мне хотелось броситься к нему с обещанием, что я постараюсь вперед не вызывать его справедливого гнева.

К наказаниям Юшневский вообще никогда не прибегал; правда, брат и я были мальчики способные и оба из кожи лезли, чтобы заслужить одобрение своего наставника, так что едва ли ему часто давали поводы быть нами недовольным, но и Анкундинов, которому туго давались и русская грамматика, и французский язык, подвергался только усовещениям и вразумлениям и по временам жалобам на него его старому дяде [7]...

Юшневский кроме того был хороший музыкант и слыл чуть ли не лучшим учителем для фортепиано в Иркутске, но искусство это в нашей глухой провинции в те времена не пользовалось большим распространением и не могло прокормить учителя. На свои городские уроки А. П. уезжал раза три в неделю утром и возвращался часу в первом к обеду; в отсутствие его для заня-

тий с нами математикою являлся Петр Иванович Борисов, с которым у нас также установились наилучшие отношения. Если Юшневский нам импонировал своим обширным умом и сдержанностью и мы питали к нему благоговейное уважение, не лишенное некоторого трепета, то с Борисовым у нас завязалась прямая и самая бесхитростная дружба, так как при своей непомерной безобидности и кротости он нам был больше по плечу. Не знаю, был ли он хорошим математиком, знаю только, что во мне он ни способностей к этой науке, ни любви к ней не развил, но зато он нас увлекал большою своей страстью к природе и к естественным наукам, которые изучил недурно, особенно растительное и пернатое царство Сибири; рисовал же он птиц и животных, как я упоминал выше, с замечательным мастерством. По окончании уроков он, если день был хороший, тотчас же брал нас с собой на прогулку в лес и для нас это составляло великое удовольствие; в лесу мы не столько резвились на просторе, сколько ловили бабочек и насекомых и несли их к Борисову, и он тут же определял зоологический вид добычи и старался поделиться с нами своими сведениями. Иногда приводил он нас к себе в свой крохотный домик, и тогда, лишь только мы переступали порог комнаты, несчастный брат его, никогда не снимавший с себя халата и не выходивший на воздух, порывисто вскакивал из-за переплетного станка и убегал в соседнюю комнату, так что мы никогда не видали его лица. В жилище Борисова нас всегда манила собранная им небольшая коллекция сибирских птиц и мелких животных, а также великое множество его собственных рисунков, за работой которых он просиживал все часы своих досугов. В этой страсти он находил для себя источник труда и наслаждения в своей однообразной и беспросветной жизни, а товарищи старались сделать из нее ресурс для материального улучшения обстановки братьев, но довольно безуспешно, потому что тогда интерес к естественно-историческому изучению Сибири еще не проснулся в России...

Рассказывал нам иногда во время отдыха Борисов и о своем прошлом, о житье в Чите, в Петровском Заводе и т. п.[8], и делал это, конечно, в форме, применительной к нашему возрасту; рассказы эти, к сожалению, давно мною перезабыты и у меня осталось от них разве то общее впечатление, что когда он своим тихим голосом передавал тяжелые испытания свои и своих товарищей, то нам становилось чрезвычайно жаль этих добрых и симпатичных людей, так много выстрадавших на своем веку; едва ли нужно прибавлять, что он при этом никогда не обвинял правительство и не развивал в нас никаких злобных чувств[9]. Из его рассказов в моей памяти почему-то сохранился следующий. Когда Артамон Захарович Муравьев был доставлен фельд'егерем из Петербурга в Читу, то прежде помещения его в каземат у него по установленному обычаю сделан был приставом осмотр вещей; Муравьев был большой щеголь и между прочим любил

прыскаться духами, а потому в его чемодане было несколько стклянок с одеколоном; пристав не имел понятия о таких потребностях, а потому, не удовлетворившись объяснением, что это одеколон, откупорил одну бутылку и взял глоток жидкости в рот; понятно, он поперхнулся, закашлялся и, насилу отплевавшись, произнес наконец с раздражением: «Помилуйте, это бог знает, что такое! Как же можно употреблять такой горлодер? Да я думаю, сам его императорское величество великий князь Михаил Павлович не разрешает себе таких крепких напитков!» И я помню, как Борисов, рассказывая этот эпизод, благодушно смеялся над наивностью захолустного чиновника, полагавшего, что великий князь по своему высокому положению должен употреблять не иначе, как самые крепкие напитки...

...(В доме Юшневских—Б. Ж.) гости бывали вообще нередко, заезжали большей частью товарищи-декабристы из ближайших деревень, чаще же всех приходил, отдуваясь и запыхиваясь, сосед А. З. Муравьев; он был всегда весел, всегда хохотал и его приход составлял для нас праздник: он, бывало, развеселит даже сдержанного Юшневского, перебудоражит всех в нашем тихом домике, а нам, детям, расскажет с три короба разных смешных анекдотов из разряда «не любо—не слушай». Его все любили за беззаветную и деятельную доброту: он не только платонически сочувствовал всякой чужой беде, а делал все возможное, чтобы помочь ей; в нашей деревушке он скоро сделался общим благодетелем, потому что, претендуя на знание медицины, он разыскивал сам больных мужиков и лечил их, помогая им не только лекарствами, но и пищею, деньгами—всем, чем только мог. Между прочим он изучил и зубоврачебное искусство и мастерски рвал зубы, что я имел случай лично испытать впоследствии на себе, когда мне было лет около 11. И замечательно, его необычайная тучность не делала его ни апатичным, ни малоподвижным, хотя, при его хлопотливости, причиняла ему немало бед; так на моей памяти он при падении из экипажа раз сломал себе ногу, а в другой раз—руку. Чуть ли он и умер не вследствие одного из этих падений, а умер он или в самом конце 40-х годов или в начале 50-х [10]...

Кроме товарищей, нередко посещали Юшневских в качестве гостей и кое-кто из образованных городских обывателей; Юшневский был большой хлебосол и очень любил угощать малорусскими и польскими блюдами, а потому гости эти нередко оставались к обеду. Во время нашей жизни у него он отвел на дворе небольшое место перед окнами, огородил его частоколом и посеял кукурузу; нянчился он с ней с удивительным старанием, сам поливал, укрывал от утренников и добился таки своего; я помню, с каким торжеством он потом угощал за обедом своих гостей разваренной кукурузой. Гости ели этот неизвестный до того в Сибири продукт, а хозяин был очень доволен своей победой над суровым климатом. Вообще за довольно обширным

своим огородом он следил сам, хотя поддерживал его исключительно для своей домашней потребности; сельским же хозяйством вовсе не занимался.

Несмотря на это, деревенское население относилось к нему с большим уважением и часто обращалось за советом. Смутно припоминаю, что за преобладание влияния на мирские дела боролись тогда в Малой Разводной два мужика, оба Петры по имени, и которых в различие, по росту, одного называли Петруха большой, а другого—Петруха малый; вся деревня поделилась между этими предводителями на две партии, отношения между которыми до того обострились в описываемое время, что дело часто доходило до ссор и потасовок, после чего мир обращался к Юшневскому с просьбой рассудить их дело. Нередко А. П. с свойственным ему юмором рассказывал за обедом, как к нему поутру в десятый раз приходил то тот, то другой из крестьян, как к посреднику, для разбора их пререканий то из-за бабы, то из-за какой-нибудь оглобли и т. п.

...С началом осени мы стали поджидать возвращения отца и матери из Нижнего и у меня живо сохранился в памяти тот момент, когда мы, в ожидании их оставаясь в Иркутске, дождались, как в конце сентября в светлое солнечное утро, часу в десятом, отворились ворота нашего дома и вкатил пузатый тарантас, покрытый грязью и пылью, и мы бросились с крыльца в объятия прибывших.

Мы продолжали ездить к Юшневскому и оставались у него с понедельника до субботы, и не могу наверное припомнить, но кажется в январе 1844 г. нашим занятиям суждено было внезапно прерваться. Случилось, что в это время умер в деревне Оёк (верстах в 30 от Иркутска) поселенный там декабрист Вадковский [11]. Юшневский отправился на похороны товарища и сам там скончался совершенно неожиданно для своих друзей; во время заупокойной обедни, при выходе (священника—Б. Ж.) с евангелием, он поклонился в землю, и когда стоявшие подле него товарищи, удивленные тем, что он долго не поднимается на ноги, решились тронуть его, то он уже был мертв. Известие это тотчас же дошло до нас и мы много горевали о смерти учителя, к которому успели сильно привязаться.

...Через несколько дней отец снова сам повез нас в Малую Разводную, предупредив, что мы увидим там своего нового будущего учителя. С сжатым сердцем вошел я в знакомый домик и почти не узнал самой большой комнаты—залы: все стены ее были обтянуты черным, в переднем углу между двумя окнами помещался католический алтарь, убранный также черным коленкором и уставленный длинными восковыми свечами; в комнатах пахло ладаном [12]. Марья Казимировна вышла к нам заплаканная, тоже вся в черном, и при виде нас разразилась рыданиями; понятно, и наши нервы не могли выдержать такого испытания, и мы тоже горько разрыдались. Но тут вскоре подошел к нам бу-

дущий наш учитель, увел нас за руки в ту комнату, которая во время пребывания нашего в Разводной служила нам классной, и подверг легкому экзамену наши сведения во французском языке. Благоговение и привязанность, какие внушил нам к себе покойный Юшневский, были так глубоки, что я помню, с каким недоброжелательством и даже враждебным чувством смотрели мы на человека, который должен был заменить его для нас, и как неохотно ему отвечали. Учитель этот был Александр Викторович Поджио, также декабрист, но которого мы до сих пор ни разу не видали у Юшневских. С этим наставником связали меня впоследствии самые теплые и дружеские отношения, продолжавшиеся до самой его смерти, постигшей его в 1878 году, а потому я имею возможность привести о нем более подробные сведения [13].

Длинные черные волосы, падавшие густыми прядями на плечи, красивый лоб, черные выразительные глаза, орлиный нос, при среднем росте и изящной пропорциональности членов, давали нашему новому наставнику привлекательную внешность и вместе с врожденною подвижностью в движениях и живостью характера ясно указывали на его южное происхождение. Под этой красивой наружностью скрывался человек редких достоинств и редкой души. Тяжелая ссылка и испорченная жизнь только закалили в нем рыцарское благородство, искренность и прямодушие в отношениях, горячность в дружбе и тому подобные прекрасные свойства итальянской расы, но при этом придали ему редкую мягкость, незлобие и терпимость к людям, которые до конца его жизни действовали обаятельно на всех, с кем ему приходилось сталкиваться. Я много странствовал по свету, много знавал хороших людей, однако другого такого идеального типа альтруиста мне не приходилось встречать... С безукоризненной чистотой своих нравственных правил, с непоколебимой верностью им и последовательностью во всех своих поступках и во всех мелочах жизни, с неподкупной строгостью к самому себе он соединял необыкновенную гуманность к другим людям и снисходительность к их недостаткам, и в самом несимпатичном человеке он умел отыскать хорошую человечную сторону, искру добра и старался раздуть эту искру; делал он это както просто, безыскусственно, в силу инстинктивной потребности своей прекрасной натуры, не задаваясь никаким доктринерством, никакою преднамеренною тенденциозностью. Оттого-то, будучи человеком среднего, невыдающегося ума, он производил сильное впечатление на окружающих, главное—своею нравственною чистотою и духовной ясностью, и всякий в беседе с ним ощущал, как с него постепенно сходила черствая кора условных привычек и ходячей морали, и в его присутствии всякий чувствовал себя чище и становился примиреннее с людьми. Зато все знавшие его не только к нему сильно привязывались, но у многих любовь эта доходила до боготворения. Таким вспоминается мне

Поджио и в своей сибирской обстановке, в сношениях с темным миром сибирского населения, таким же я знал его впоследствии вольным человеком...

...В описываемое время, т. е. в 40-х годах, иркутские декабристы пользовались уже значительной свободой; большинство из них жило в окрестных деревнях с правом время от времени приезжать в город, а вскоре многие из них и совсем перебрались в Иркутск, по крайней мере на зимние месяцы, и первый пример тому подали, помнится, Волконские[14]... Двумя главными центрами, около которых группировались иркутские декабристы, были семьи Трубецких и Волконских, так как они и имели средства жить шире, и обе хозяйки—Трубецкая и Волконская своим умом и образованием, а Трубецкая—и своею необыкновенною сердечностью, были как бы созданы, чтобы сплотить всех товарищей в одну дружескую колонию; присутствие же детей в обеих семьях вносило еще больше оживления и теплоты в отношения [15]...

В 1845 году Трубецкие жили еще в Оекском селении в большом собственном доме. Семья их тогда состояла, кроме мужа и жены, из трех дочерей—старшей Александры, уже взрослой барышни, двух меньших прелестных девочек, Лизы—10 лет и Зины—8 лет, и только что родившегося сына Ивана... Сам князь Сергей Петрович [16] был высокий, худощавый человек с некрасивыми чертами лица, длинным носом, большим ртом, из которого торчали длинные и кривые зубы; держал он себя чрезвычайно скромно, был малоразговорчив и вследствие этого считался человеком ума рядового. О княгине же Катерине Ивановне, урожденной графине Лаваль, мне трудно что-нибудь сказать, потому что я видал ее очень мало, и мне пришлось бы повторять только банальности, и то с чужих слов; помню только, что она была небольшого роста, с приятными чертами лица и большими кроткими глазами, и иного отзыва о ней не слыхал, как тот, что это была олицетворенная доброта, окруженная обожанием не только своих товарищей по ссылке, но и всего оекского населения, находившего всегда у ней помощь словом и делом. Князь тоже был очень добрый человек, а потому мудреного ничего нет, что это свойство перешло по наследству и к детям, и все они отличались необыкновенною кротостью. В половине 1845 года произошло открытие девичьего института Восточной Сибири в Иркутске, куда Трубецкие в первый же год открытия поместили своих двух меньших дочерей, и тогда же переселились на житье в город, в Знаменское предместье, где купили себе дом.

Мое сближение с семьей Волконских было более короткое, а потому я могу рассказать о ней сравнительно больше; она состояла тогда из мужа, жены, сына-подростка и дочери. Старик Волконский—ему уже тогда было около 60 лет, слыл в Иркутске

большим оригиналом [17]. Попав в Сибирь, он как-то резко порвал связи с своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился, как это принято называть нынче. С товарищами своими он хотя и был дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал по целым дням на работах в поле, а зимой любимым его времяпрепровождением в городе было посещение базара, где он встречал много приятелей среди подгородних крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства. Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки. Когда семья переселилась в город и заняла большой двухэтажный дом, в котором впоследствии помещались всегда губернаторы, то старый князь, тяготея больше к деревне, проживал постоянно в Урике и только время от времени наезжал к семейству, но и тут—до того барская роскошь дома не гармонировала с его вкусами и наклонностями—он не останавливался в самом доме, а отвел для себя комнатку где-то на дворе—и это его собственное помещение смахивало скорее на кладовую, потому что в нем в большом беспорядке валялись разная рухлядь и всякие принадлежности сельского хозяйства; особенной чистотой оно тоже похвалиться не могло, потому что в гостях у князя опять-таки чаще всего бывали мужички, и полы постоянно носили следы грязных сапогов. В салоне жены Волконский нередко появлялся запачканный дегтем или с клочками сена на платье и в своей окладистой бороде, надушенный ароматами скотного двора или тому подобными несалонными запахами. Вообще в обществе он представлял оригинальное явление, хотя был очень образован, говорил по-французски, как француз, сильно грассируя, был очень добр и с нами, детьми, всегда мил и ласков...

Но если старик Волконский, поглощенный своими сельскохозяйственными занятиями и весь ушедший в народ, не тяготел к городу и гораздо больше интересовался деревней, то жена его, княгиня Марья Николаевна, была дама совсем светская, любила общество и развлечения и сумела сделать из своего дома главный центр иркутской общественной жизни. Говорят, она была хороша собой, но с моей точки зрения 11-летнего мальчика она мне не могла казаться иначе как старушкой, так как ей перешло тогда за сорок лет; помню ее женщиной высокой, стройной, худощавой, с небольшой относительно головой и красивыми, постоянно щурившимися глазами. Держала она себя с большим достоинством, говорила медленно и вообще на нас, детей, производила впечатление гордой, сухой, как бы ледяной особы, так что мы всегда несколько стеснялись в ее присутствии; но своих

детей, Мишеля и Нелли, она любила горячо и хотя и баловала их, но в то же время строго следила сама за их воспитанием. Мишель был на два года старше меня и в 1845 году ему минуло 13 лет, Нелли же была на два года моложе своего брата. Зимой в доме Волконских жилось шумно и открыто, и всякий, принадлежавший к иркутскому обществу, почитал за честь бывать в нем, и только генерал-губернатор Руперт и его семья и иркутский гражданский губернатор Пятницкий[18] избегали, вероятно, из страха, чтобы не получить выговора из Петербурга, появляться на многолюдных праздниках в доме политического ссыльного. В описываемое мною время оживлению Иркутска немало способствовало присутствие в нем ревизии сенатора Толстого, назначенной в 1884 г.[19] и в состав которой входило человек 15 молодежи из лучших знатных фамилий... и все они постоянно вращались у Волконских, потому что, кроме этого дома и дома Трубецких, тогдашняя иркутская жизнь мало могла дать для развлечения светской молодежи, а у Волконских же бывали и балы, и маскарады, и всевозможные зимние развлечения...

Однажды задумано было устроить домашний спектакль из мальчиков, собиравшихся в доме Волконских; не помню, кто был распорядителем и кого угораздило выбрать меня для этого фонвизинского «Недоросля», пьесу, меньше всего подходившую для домашнего театра и во всяком случае бывшую далеко не по силам юных артистов. Волнение и суета поднялись в нашем кружке великие; роли были розданы и переписаны. Мишель (Волконский—Б. Ж.) должен был изображать Митрофана, живший у них в доме и учившийся с ним мальчик Зверев—Простакову, мой брат—Правдина и т. д.; на мою долю досталась небольшая роль Простакова, которую я исправно отзубрил... Уже заказаны были декорации, и репетиции у Волконских шли довольно часто в полном составе нашей труппы, но то ли из игры нашей ничего путного не выходило, то ли по другим причинам затея эта вскоре рухнула и нам так и не удалось дебютировать на сценических подмостках. Надо полагать, что актеры мы были самые первобытные, потому что ни один из нас ни разу не видел до того никаких образцов, которым мог бы подражать, так как только около этого времени в Иркутске чуть ли не впервые появилась драматическая труппа, дававшая публичные спектакли, да и то такая горемычная, что ее лицедейством трудно было воспользоваться нам для руководства[20]...

Впрочем, тут же около этого времени, в конце 1846 г. или в начале 1847 г. сделана была попытка удовлетворить потребностям общества в театральных позорищах и устроен был любительский спектакль в гимназии; поставлены были две пьесы, и исполнение их заслужило общее одобрение, а интерес спектакля еще увеличился тем, что одна из пьес была местного произведения и принадлежала, кажется, перу местного старожила, штаблекаря А. И. Орлова. У меня из нее в памяти осталось несколько

куплетов, которые я привожу здесь, как любопытный и нигде не сохраненный образчик туземной поэзии того времени. Вот эти куплеты:

Наш Иркутск—прекрасный город,
Это сущий божий дар,
Хоть зимой в нем страшный холод
И ужасный летом жар;
Хоть в Иркутске не прельщают
Ни палаты, ни дворцы,
Не дивят, не восхищают
Нас гвардейцы-молодцы;
Хоть блестящего вокзала *
Долго мы не заведем,
Хоть газеты иль журнала
Мы еще не издаем;
Хоть не пишем сочинений
На заказ и напоказ
И демидовских хоть премий [21]
Не бирал никто из нас;
Хоть, быть может, очень многи
Нас во многом обвинят,
Если дельно, если строго
Разбирать нас захотят
Петербуржцы, москвитяне
С европейским их умом,—
Но зато мы, иркутяне,
Благоденственно живем.
Есть у нас всего довольно,
Если взять да перечесть,
Так что вырвется невольно:
Все в Иркутске нашем есть!
Много всякого запасу,
Рыбы, дичи сколько хошь,
И огромный туяс квасу
На базаре льют за грош.
Есть у нас два гастронома
И десяток поваров,
И для тона есть два дома
Превосходных докторов—и т. д.

Далее, все в этом же роде, следовало перечисление немудреных и первобытных достопримечательностей города, которое заканчивалось тем, что спросите у любого жителя и всякий вам скажет: «Славно нам в Иркутске жить!». Понятно, такие куплеты встречены были восторженно, и некоторое время распевались польщенными иркутскими горожанами, которых патриотические претензии почти и не шли далее здорового пищеварения и сытых желудков... Таковы были зачатки иркутского театра, когда меня в 1847 году отправили учиться в Москву, а в 1854 г., когда я приехал студентом домой на вакацию, то я уже нашел настоящий театр в весьма поместительном и специально выстроенном здании, с ложами, с постоянной труппой, с репертуаром из пьес Гоголя, Островского и т. д. [22]...

* Общественное помещение для танцев и концертов.

Так быстро развилась в Иркутске одна из отраслей изящного искусства—и этому быстрому ее росту немало содействовало, без сомнения, присутствие декабристов. Уж одна открытая жизнь в доме Волконских прямо вела к сближению общества и зарождению в нем более смягченных и культурных нравов и вкусов. Но и помимо того, как ни старались остальные декабристы не слишком выдаваться вперед и сохранять свое скромное положение ссыльнопоселенцев, но единовременное появление в небольшом и разнокалиберном обществе 20-тысячного городка 15 или 20 высокообразованных личностей не могло не оставить глубокого следа. Некоторые из них, как например Николай Бестужев, Никита Муравьев, Юшневский и Лунин[23], оказывали неотразимое влияние своими выдающимися умами, большинство же тем глубоким и разносторонним просвещением, пробелы в котором они тщательно восполнили во время своей замкнутой от мира, но дружно сплоченной жизни в Чите и Петровском Заводе[24]. Истинное просвещение сделало то, что люди эти не кичились ни своим происхождением, ни превосходством образования, а, напротив, старались искренне и тесно сблизиться с окружавшей их провинциальной средой и внести в нее свет своих познаний...

Глава V.

КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕКАБРИСТОВ В СИБИРИ.

Культурнопросветительная и краеведческая деятельность декабристов в Западной Сибири.—Ботанические и метеорологические изучения И. Д. Якушкина.—Столкновения с невежественными обывателями и начальством.—Борьба за устройство общедоступной ланкастерской народной школы.—Победа Якушкина.

Известный сибирский художник-карикатурист, сотрудник знаменитой «Искры»—Михаил Степанович Знаменский (1833—1892 гг.) также был воспитанником декабристов. Когда Знаменскому было 6 лет от роду, его отец, священник С. Я. Знаменский, переехал из Тобольска в Ялуторовск—небольшой городок Западной Сибири, куда он был назначен соборным протоиереем. В Ялуторовске в это время жила целая колония декабристов. Один из них, И. Д. Якушкин, вскоре (в 1842 г.) основал при поддержке прот. С. Я. Знаменского общедоступную народную школу для обучения грамоте и арифметике по модному тогда ланкастерскому методу «взаимного обучения». В этой школе учился и М. С. Знаменский. Об этой школе и об И. Д. Якушкине он оставил ценные воспоминания, опубликованные в «Сибирском сборнике» за 1886 г. (кн. 3, стр. 86—105).

В 1846 г. по инициативе И. Д. Якушкина в Ялуторовске была открыта подобная же школа для девочек, из всех сословий местного населения. Это была одна из первых в старой Сибири школ

для девочек. Она существовала и после отъезда в 1856 г. Якушкина из Сибири и считалась образцовой.

И. Д. Якушкину и его товарищам по поселению в Ялуторовске М. С. Знаменский, кроме указанных воспоминаний в «Сибирском сборнике», посвятил роман «Исчезнувшие люди», напечатанный в 1872 г. в одной книге с путевыми сибирскими очерками некоего С. Турбина «Страна изгнания». В этом романе, скрывшись за псевдонимом Старожила, Знаменский в беллетристической форме вывел ялуторовских декабристов.

Во времена Знаменского (40-е годы) в Ялуторовске жили следующие декабристы: Иван Дмитриевич Якушкин, поселенный здесь с 1836 г.; А. В. Ентальцев, умерший здесь же в 1845 г.; М. И. Муравьев-Апостол и В. К. Тизенгаузен. С 1843 г. к этой колонии присоединились И. И. Пущин и Е. П. Оболенский, переведенные в Ялуторовск из Туринска[1]. Все эти лица, за исключением рано умершего Ентальцева, выведены в романе Знаменского под очень прозрачными псевдонимами: Иван Дмитриевич Якушкин назван Дмитрием Ивановичем Лягушкиным, Матвей Иванович Муравьев-Апостол—Иваном Матвеевичем Мурашевым, Василий Карлович Тизенгаузен—Вильгельмом Карловичем Шпильгаузеном. Под именами Ивана Степановича Гущина и князя Петра Евгеньевича Уральского скрыты Иван Иванович Пущин и кн. Евгений Петрович Оболенский. Таким образом, действующие лица романа представляют собой фотографии с реальных исторических лиц.

Роман Знаменского очень интересен, как художественная иллюстрация отношения различных слоев местного ялуторовского населения к культурнопросветительной и научной деятельности декабристов. Из многих исторических источников известно, что поселенным в Ялуторовске декабристам, в частности И. Д. Якушкину, в связи с организацией его школ, пришлось испытывать немало мелочных и необоснованных придирок со стороны невежественного местного «начальства», подстрекавшего ялуторовских обывателей против «чернокнижников»-декабристов. Роман этот представляет в небогатой художественной литературе, посвященной декабристам, выдающееся явление. Это едва ли не единственный роман XIX в., посвященный жизни декабристов на поселении в Сибири.

Роман Знаменского появился в 1872 г., в момент обостренного внимания демократической русской общественности к движению декабристов, но остался совершенно незамеченным современной критикой и читателями. Быть может, это объясняется тем, что роман «Исчезнувшие люди» (неудачное заглавие!) был напечатан в качестве приложения к малоизвестной книге плохих очерков третьестепенного литератора С. Турбина. Роман Знаменского для современного советского читателя несомненно представляет известный интерес.

ИЗ РОМАНА «ИСЧЕЗНУВШИЕ ЛЮДИ».

...Наскучив пустынной, длинной главной улицей города Полуторовска[2], глаз с удовольствием останавливается на двух березовых рощах, раздвинувшихся по обеим сторонам дороги, чтобы выпустить очумевшего полуторовца на поля нашей, всем известной, незатейливой русской природы. Особенно хороша была левая роща. Перед ней, словно очерченное циркулем, лежало озерко, в которое, как в зеркало, смотрели деревья с вершинами, усеянными гнездами галок. На берегу этого озерка, приютившись между деревьями, чернело старинное развалившееся здание с балконами и террасами, от которых точеные балясины поступили во владение молодого поколения соседней деревеньки Карнаушки и употреблялись им для сбивания городков.

Неизвестно было, кому принадлежал этот дом, да никто этим и не интересовался: граждане Полуторовска, переспав томительный дневной жар и освежившись кваском, медком или чайком, предпочитали зеленой рамке светлого озерка зеленые столы. Карнаушинские же старцы собирались сюда иной раз покалякать о более интересных для них предметах и на археологические изыскания времени не тратили. Молодое же поколение этой миниатюрной местности и без расспросов знало очень хорошо, что тут живет нечистая сила, и лишь только наступали сумерки, как все эти здоровые мальчуганы, из которых каждый не задумался бы с топором встретить волка, отступали от развалины и усаживались поближе к озерку.

Был славный теплый вечер. Это был канун праздника и карнаушинские мальчуганы, вышедши из бань и рассчитав, что на работу их завтра не погонят, составили группу около озерка. Наскучив разными олимпийскими играми, пересыпаемыми русскими потасовками и крепкими словцами, они сидели миротворно и вели тихую беседу...

— А что правда, али нет, что ты, Ванька, чорта видал?— обратился Молотилов к будущему батраку.

— Видал.

— Ну? Неужели?—зашумела компания и подползла поближе к оконфузившемуся от общего внимания Ваньке. Все знали, что серьезный Иван обманывать не станет, и вот представился случай от такого верного человека получить сведения о таком популярном барине, который может впоследствии заставить лизать разные каленые вещи.

— Расскажи... ну, расскажи... Молчит, разе заказал молчать?

— Нет... нас ведь много видело... Мы убегли,—начал, заикаясь от непривычки говорить перед избранным обществом, Ваня.—Я зимой у дяди жил в Томиловой... ну, там на речке видел с Миколкой, с Михалкой, да еще парни были. Погнали на прорубь лошадей поить, об вечер дело было. Лошади-то пьют, а Миколка и говорит: ребята, смотри! Он из-за кустов по льду-то

и летит. Мы перекрестились, а он ничего—летит прямо на нас; мы на коней, да как пошли, да как пошли. Миколка шапку потерял.

— Не догнал?

— Да где догнать?

— Ишь ты, креста не спужался!

— Може это не он, а собака, али ворона,—возразил скептик.

Иван засмеялся.

— С руками-то, да с ногами собака али ворона?

— А роги-то были? Да ты толком расскажи, какой он?

— Черный весь, голова вострая, сзади крылья, с Петрушку ростом.

Петрушка с чего-то обиделся, но публика требовала продолжения.

— Ногами не шевелит, а так и несется по льду-то, только руками машет.

— А хвост?

— Ну, хвоста не видал.

— Да ведь он на них летел, а хвост-то сзади,—резонно пояснил Молотилов.—Да ну вас, к ночи-то, и с хвостом-то вместе!

Молодое поколение, занятое беседой о такой подирающей по коже материи, не заметило, что герой важного рассказа, с маленьким чемоданчиком за плечами, с небольшим заступом, облитый с одной стороны ясным месяцем, усталыми шагами приближался по окраине озера к беседующим. Это был Лягушкин,—в один из зимних вечеров несшийся по льду и спугнувший молодцов, поивших коней. Но если бы Ивана под присягой спросить: не Лягушкина ли он тогда видел, то он мог бы по чистой совести сказать, что нет. Так эффектен и могуч был тогда на коньках Лягушкин и таким сгорбленным, в своей серой курточке, шел он теперь по берегу, опираясь на свой маленький заступ.

Неожиданное появление его между мальчуганами произвело большой эффект: струсили все. Золотушный Митрий, прошептав «колдун», поспешил к деревне; прочие замолкли и испуганно смотрели на подходящую фигуру. Здоровенные ребята, настроенные беседой на чертовщину, при виде Лягушкина, известного в окрестных деревнях под именем колдуна, почувствовали себя скверно[3]. Некоторым показалось холодновато, другие неожиданно припомнили, что пожалуй лаяться будут дома: засиделись, мол, до полночи,—и встали с своих мест. Остались только трое—Гастроном зубастый, Молотилов да Ванька. Им, очевидно, хотелось быть героями и назавтра хохотать над трусами, хотя и самим было жутко.

— А вам что же, не хочется спать?—смеясь, спросил Лягушкин, подсаживаясь к трио.

— Чего спать-то? Выспимся еще—не баре,—заметил Молотилов.

— Разве только барам и спать?

— А чего им больше делать?—есть да спать.

Лягушкин внимательно взглянул на мальчика, добродушная физиономия которого ясно показывала, что в его словах сказывалось убеждение без всякой иронии.

— Ты грамотный?

— Нет.

— Отчего же не учишься, разве не хочется?

— На што нам... нас и дома дерут ладно.

— Разве непременно драть надо, чтоб грамотным сделать?

— Не поймешь, так за то... Не надо, на што нам грамота-то!

— Ты парень умный, а с грамотой-то тебя каждый купец в прикащики возьмет... Ты посмотри на наших купцов-то, все почти из деревень ребятами пошли...

Лягушкин сразу, хотя и нечаянно, попал в больное место мальчугана: ему не раз мечталась геройская жизнь; сидя верхом на лошади и таская по вспаханному полю борону, Костюшка задумывался о другой, менее тяжелой и более обеспеченной жизни, и вдруг колдун узнал его заветную думушку и пришел даже дорогу показать. Костя задумался. «Нет, трудно... не поймешь», закончил он свои размышления.

— Тебе который год?

— Четырнадцатый.

— Ну, погоди, через полгода, а может и раньше, мы выстроим у собора школу, и если твой отец тебя отпустит, так приходи... попробуй: драть там не будут.

— Отец-то отпустит.

— Ну, и кончено дело. А ты не хочешь учиться?—обратился Лягушкин ласковее обыкновенного, смотря на симпатичное лицо Вани.

— Нет.

— Он в батраки нанялся,—пояснил Гастроном.—Я, пожалуй, пойду, коли драть не будете; я аз... буки... до земли уж знаю.

Лягушкин повеселел. Расспросив двух прозелитов * о месте их жительства, он записал фамилии и пошел в город. Весело шел по длинной и пустой улице Дмитрий Иванович,—так звали Лягушкина. Молотилов значился в его списке уже двадцатым охотником, и все эти двадцать изъявили желание сами: кто хотел поскорее узнать, какие такие люди да города есть на свете; кто мечтал о будущей писарской карьере; кто хотел поскорее научиться, как мельницы да разные машины строить. Отличаясь способностью сходиться с простым народом, Лягушкин действовал на мальчуганов с разных сторон и умел показать грамоту, как двери к интересному практическому знанию. Сойдясь со вновь прибывшим протопопом, он двинул быстро свою давниш-

* Прозелит—новообращенный в какую-либо веру.

нюю мечту, и в соборной ограде был уже готов фундамент школы, не раз посещаемый будущими завербованными учениками.

...На террасе, примыкающей к серенькому домику Мурашева, были его обычные воскресные гости.

Сам Мурашев возился около самовара и вел речь о том, что никто не сумеет сварить кофе так, как сварит его он, хотя улыбка Матрены Кондратьевны, жены его[4], и налагала малую тень сомнения на его самохвальство. Низенький пожилой господин в рыжем сноповидном парике, во фраке покроя 12-го года, с коротенькой трубкой во рту, флегматически смотрел на шахматную доску, на которой партнер его Кабаньский только что двинул ферязь[5]. Дмитрий Иванович Лягушкин сидел на перилах террасы, доказывая возящимся около него детям, что куда пролезет голова, туда пройдет и все тело. Понудительной причиной афоризма был пузатый мальчуган, брат жены Мурашева, застрявший между балясинами перил. Двое других мальчиков ожидали благополучного исхода этого дела, чтобы самим сделать то же. В углу на деревянной зеленой скамье сидели хозяйка дома Василиса Александровна Кандальцева и Илья Яковлевич—молодой протопоп[6]. Кофе было готово и все нашли его, действительно, отличным.

Дети понеслись в сад, а Лягушкин с чашкою кофе присел к протопопу.

— Наша школа растет.

— Да, двигается. К зиме можно будет и начать.

— У меня еще вчера двое кандидатов прибыло.

— К открытию-то, пожалуй, нужно будет пристройку делать: вы сотню пожалуй навербуете,—со смехом сказал священник.

— Хорошо бы вашими устами да мед пить. Но дело в том, что нам с вами придется вести войну и наше новорожденное детище отстаивать энергически. Что со стороны родителей будет сочувствие, об этом нечего и толковать много... ребята тоже будут охотно заниматься,—я на это уж надеюсь. Но много придется нам перенести со стороны здешнего начальства... Как вы изумленно на меня смотрите. Уж это так... не удивляйтесь... На днях я виделся с здешним смотрителем и он употребил все свои дипломатические способности, чтобы разузнать в точности: что сие? к чему сие? и для чего сие? Я ему сказал, что все это ваши затеи, а я де ни больше, ни меньше, как архитектор.

— Но к чему же вся эта... все это?..

— Эта ложь, хотите вы сказать? Говорите прямо, будем называть вещи их прямым именем,—это самое лучшее. Видите ли, я даже сообщил ему свое сомнение, что вряд ли пойдет успешно ваше дело. А лгал я, вспомнив правило иезуитов, что цель оправдывает средства...

— Гм. Цель оправдывает средства...

— Да, это их учение. Как вам нравится это правило?—спросил Лягушкин, лукаво улыбаясь.

— Я думаю, что мы с этим иезуитским правилом наделаем больше зла, чем добра.

— Послушай, Иван,—обратился Лягушкин к Мурашеву, стоявшему перед ним с новой чашкой кофе:—ты хочешь после чашки отличного кофе, какой только ты умешь варить, угощать меня демьяновой ухой.

— Но ты любишь кофе.

— Я много вещей люблю на свете, но люблю разумно и желудка себе расстраивать не намерен. Я люблю и истину,—обратился он к священнику,—но из-за любви даже к ней не буду портить себе кровь; попробую на этот раз последовать правилу иезуитов и надеюсь, что сделаю доброе дело. Впрочем, ваша совесть пусть будет покойна—грех беру на себя. Нет, не шутя, Илья Яковлевич, мы не должны забывать, что в нас будут кидать скверными вещами, какими мы не способны и не можем ответить.

— Какими же?

— Да доносами.

— Доносами! Да что же мы делаем худого?

— Ах, какой же вы младенец! Да разве люди со злом борются? Поверьте моей опытности, что у зла больше партизанов в людях, чем у чертей. Вы не забывайте и нашего положения: нас не терпят! Решено уже и подписано, что мы люди погибшие. Как бы мы не вели себя хорошо, мы все-таки в их глазах бунтовщики... Пуганая ворона куста боится. Я же на ворону похож: да и пуганый настолько, что уж чутьем знаю, откуда на нас свалятся напасти, и даже приблизительно могу определить, в каком они будут роде...

Из сада доносились веселые детские голоса. На террасе наступило молчание, по временам прерываемое отрывистым обычным вздохом Мурашева: ох-хо-хо-хо!

В это время во двор быстро въехал дорожный тарантас. Пуганая ворона куста боится, и в лицах Лягушкина и Мурашева выразилось испуганное изумление, но через минуту они с радостным криком неслись, как легкие дети, к молодой, красивой женщине, выпрыгнувшей из тарантаса. Илья Яковлевич, не желая мешать радости, взял свою шляпу, сошел в сад и исчез домой незамеченным среди радостной суеты.

Лягушкин, говоря о разных напастях, неожиданно и ожиданно падающих на него, не обрисовал и сотой доли незавидного положения ни своего, ни своих друзей. Не говоря уже о том, что на их долю выпадали годы, когда несчастья и тяжелые испытания являлись к ним толпой. Известия, одно другого печальнее, приносила им почта, передаваемая через полицию. Они даже лишены были единственной отрады: высказаться в своем горе

своим друзьям и родным, так как их гордость не допускала, чтобы их слезы и раны видели другие, посторонние лица, вроде Квасова, могущего цензуровать их корреспонденцию. Приходилось таить все горе в себе самих, что невольно делало их нервно-раздражительными. За крупным горем следовал ряд булавочных уколов, сыпавшихся от людей, вымещавших свое невежество на них, стоявших так высоко в этом отношении. При независимом положении эти люди отнеслись бы к мелким и грязным оскорблениям с презрением,—но теперь это иных доводило до сумасшествия [7]. Представьте себе подобную жизнь и вам будет понятен радостный крик при виде нежданно явившегося друга и не покажутся странными слезы на смуглых и сухих щеках Лягушкина.

Приезжая оказалась Каролиной Карловной, дальней родственницей Мурашева и близкой, родной по душе ему и всем членам этого, заброшенного в Полуторовск, кружка [8]. Возвращаясь обратно на родину, она сделала крюк и награждена была радостной встречей.

После горячих объятий и поцелуев последовал бурный поток взаимных расспросов и ответов. Самый веселый смех, давно не раздававшийся в сереньком домике, носился по комнатам, вылетал в раскрытые окна и двери. Живость сообщалась и прислуге: горничная летала бабочкой, меланхолический кучер Сергей с несвойственной ему энергией вдвигал под навес сарая легкий тарантас. Солидный, с медным ошейником, Мирабо несколько раз бросался на шею своего господина. Самые стены глядели как-то веселее. Один только Вильгельм Карлович ходил по комнатам неизменным своим шагом—тем шагом, каким он некогда измерял квартирку свою в крепости, каким гулял и по станционным комнатам в то время, как его товарищи, молодежь, расправляли свои ноги, вальсируя под вокальную музыку и звук ножных цепей [9].

А между тем эта олицетворенная флегма не менее других рад общей радости и не теряет ни одного слова из беседы друзей. Он только не любил тревожить своего языка, зная, что и без него все будет и спрошено и рассказано. Не обнаруживал он никогда ни гнева, ни радости. Процедит фразу, а за ней молча сделает дело. В то прошлое время, когда его товарищам приходилось танцовать под звуки кандалов, один станционный смотритель в праздничном настроении вздумал прочесть Вильгельму Карловичу нотацию; облокотившись на спинку стула, на котором сидел Шпильгаузен, и смотря на его лоснящийся череп, обратил к нему свою речь:

— И ты, лысый, туда же? Что мне с тобой сделать? дунуть на плешь твою или плюнуть?

— Попробуй,—отвечал флегматически Шпильгаузен.

Его товарищи поспешили оттащить смотрителя.

— Ну, а если бы смотритель исполнил свое намерение, что

бы ты сделал?—спрашивали Вильгельма Карловича его товарищи после.

— Убил бы его.

И никто не сомневался, что он исполнил бы свое слово.

И никого другого не мог бы так забавлять флегма Вильгельм Карлович, как забавлял он Мурашева. Сангвинический Иван Матвеевич был чистейший француз старого доброго времени, увлекающийся и быстро переходящий от хандры к самому беззаветному веселью, в каком он и находился теперь, иронически подмигивая всем и каждому на невозмутимого друга.

Лягушкин же в эту минуту был весь—счастье. Словно ребенок, обратившийся весь во внимание, слушая сказку бабушки, не спускал он глаз и слушал умную болтовню гостьи, симпатично рассказывавшей про оригинальности и эксцентричности своих далеких друзей. Все это рассказывалось с такой душевной теплотой, как будто бы дело шло о забавах любимого ребенка.

Солнце золотит уже верхушку колокольни, виднеющуюся в раскрытое окно. Тихий вечер, и в компании тихий ангел пролетел. Мурашев перебирает клавиши. В соседней комнате слышится звук от чайных стаканов и чашек. Каролина Карловна в отведенной для нее комнате достает из чемодана наброски портретов... В это время в передней раздался чей-то посторонний голос и Зоя вошла сказать, что квартальный спрашивает приезжую.

При этом известии забывшийся на несколько часов кружок почувствовал себя снова на родимой почве, среди родных соотечественников, из которых один, с очень красной физиономией по случаю праздничного дня, отстраняя горничную, вступал в залу смелыми, но несовсем-то твердыми шагами...

— Что вам угодно?—сердито обратился к входящему Иван Матвеевич.

Квартальный, окинув комнату осоловелыми глазами, объявил, что надо-де ему приезжую, пусть-де забирает свой вид и отправляется с ним сию же минуту в полицию.

— Что-о!

— Али русского языка не понимаете? Городничий приказал привести ее в полицию... Куш ты!—последние слова обратил он к Мирабо, грозно поднимающемуся из-под дивана и начинающему яростно щелкать зубами. Лягушкин, схватив за ошейник Мирабо, быстро вдвинул его снова под диван и еще быстрее отстранил другой рукой Мурашева, не надеясь на его хладнокровие, и предстал лично перед красным, моргающим исполнителем правосудия. В это время вошла приезжая, с улыбкой разбирая рисунки и не замечая происходящего в комнате.

— А, голубушка!..—обратился к ней квартальный, но докончить фразы ему не удалось: сухая, железная рука Лягушкина ловко повернула его и вывела в переднюю.

— Не с вами говорят!.. не сметь!—начал было квартальный, но, взглянув в глаза Лягушкина, замолк.

В его голове, наполненной винными парами, промелькнула мысль, что в глазах Лягушкина светится не совсем-то добрый огонек и что попал он к людям, которые пожалуй не задумаются разлучить его навеки вечные с его сожительницей, с теплым углом и доходным местом, и он переменил тон.

— Да помилуйте, я чем же тут виноват? Кабы я от себя, а то городничий... Сами знаете... и по зубам готов, несмотря на чин.

— Что вам надо?

— Я докладывал... приказано привести приезжую.

— Это вздор!.. вы пьяны и не так поняли,—а вид мы сейчас пришлем... Идите.

— Очень благодарен.

И, не заставив просить себя вторично, он быстро шмыгнул в двери и только за воротами облегчил свою душу непечатным словом.

Выпроводив нежданного гостя и отправив с Сергеем бумаги приезжей в полицию, Лягушкин возвратился на прежнее место, но прежнего настроения уже не было. Полуторовский кружок, не желая огорчать далеких друзей, в своих письмах всегда обходил туземные дрязги, выпадающие на его долю, и тем самым поселил в своих друзьях убеждение, что Полуторовск—рай и что жизнь их так счастлива, как только возможно в их положении, и переселиться к ним было мечтою многих. Потому и Каролина Карловна в появлении пьяного квартального видела только смешной случай и объявила, что она не будет себя называть теперь иначе, как голубушкой, и вертела маленькую Женни, допрашивая ее: похожа ли она на голубку. Но смех друзей уже не был так задушевен. Мурашев, при всем своем усилии скрыть раздражение, не мог этого сделать. Лягушкин был уверен, что это только прелюдия к другим, более неприятным столкновениям, и был задумчив. Шпильгаузен сидел в углу. Матрена Кондратьевна хлопотала около самовара, причем стаканы в ее руках дребезжали более обыкновенного и своим звуком еще более раздражали Ивана Матвеевича.

Каролина Карловна не вдруг заметила перемену в общем настроении, но, заметив, и сама невольно начала спадать с веселого тона; под конец она молча принялась за чай. Над друзьями снова парил тихий ангел, но не навевал он уже своими крыльями прежней благодатной тишины и спокойствия.

Чуткое ухо Ивана Матвеевича расслышало шаги на лестнице и, перебросившись взглядом с Лягушкиным, он в два-три шага был уже в передней, бог весть для чего мимоходом захватив каминные щипцы. В переднюю вкатывался сам галантерейный блюститель тишины и спокойствия града Полуторовска Квасов.

— Из подорожной видно-с,—начал он, стараясь поразить Мурашева всем запасом своих великосветских галантерейных манер, смахивающих на развязность кантониста*:—путь проезжающей лежит совсем не через мой город; а потому, вы уж извините... предписания... мои инструкции... ну-с и моя обязанность задержать проезжающую, заарестовав ее при полиции, и произвести строжайший обыск в ее вещах.

Окончив эту тираду, Квасов прошел мимо хозяина, галантерейно раскланивался и расшаркивался публике. За ним шел письмоводитель и еще какая-то личность.

Опомнившийся Мурашев с быстротою резинового мячика очутился опять перед галантерейным (городничим—Б. Ж.).

— Вы с ума сошли!—произнес он сквозь стиснувшиеся зубы.

Лягушкин поспешил к озадаченному Квасову и к свирепевшему Мурашеву. «Пожалуй этого труднее будет уложить, чем давеча Мирабо»,—мелькнуло у него в голове и он улыбнулся.

— Перестань, Иван, говорить вздор!.. Тут я вижу недоразумение...

Но для Квасова казались более убедительными каминные щипцы, брошенные теперь посинелой рукой Мурашева, чем разумная речь Лягушкина, старающаяся указать ему предел его власти. Квасов видел, какой эффект производит его присутствие, видел показавшуюся пену на усах Мурашева, сверкающий взгляд Лягушкина, противоречащий его мирным словам, и торжествовал. Его немного бесило хладнокровие Шпильгаузена и он внутренне дал себе слово когда-нибудь потешиться и над этим идолопоклонником. Вильгельма Карловича почему-то в городе считали за идолопоклонника.

Избавляю и читателя и себя от дальнейших сцен. Дело кончилось перерытием чемоданов у приезжей, а арест при полиции заменен домашним арестом. Каролина Карловна была поражена и страдала за друзей. Перед ней разыгралась маленькая сцена, дающая понятие о полуторовской жизни ее друзей...

...Лето... Праздник... Стоит жара, такая жара, что вытянувшийся в линию серенький город, с двумя белыми церквами в середине и двумя темными рощами в конце, кажется подернутым флером и рябит в глазах идущих на торг крестьян. Звук соборного колокола, приглашающий полуторовцев в храм божий, кажется каким-то неполным звуком, словно язык, прикасаясь к медным краям его, обжигается и отскакивает прочь. Солнце, поднимаясь выше и выше, все сильнее припекает потрескавшую-

* Кантонистами назывались в дореформенное время сыновья солдат, с детства считавшиеся на военной службе и обучавшиеся грамоте и мастерствам в особых военно-кантонистских школах.

ся от жары землю. И давно уже стоят такие жары. Выгоревшая трава, покрытая белой пылью, грустно смотрит на едущие в город телеги с неменее грустными крестьянами. Оводы стадами носятся над изморенными лошадьми.

При подъеме на небольшой холмик при самом въезде в город крестьяне слезли с телег и пошли рядом.

— Эка жарынь-то! Ночью бы надо выехать-то.

— Ночью!—угрюмо возразил старший:—подикось надо и скотине поесть. Ночью-то только ей и вздохнуть.

— Страсти господни, божеское наказание!.. Хлебушко-то, хлебушко! Ничего, значит, не помогает, хоть ты тут сто молебнов пой.

— Чего бога-то гневить!

С трех сторон подъезжают к городу крестьяне, с трех сторон смотрят на них выжженные поля и с трех сторон если не слышатся подобные речи, то они глубоко таятся в сердцах.

Те же речи о выжженном хлебушке и у толпящихся на городской площади. Та же тема и у столпившихся под тенью деревянных лавок, поблизости черного, неуклюжего кабака, ждущего окончания обедни, чтобы открыть гостеприимные объятия для жаждущих. Особенно отличались этой жаждой несколько обдерганных граждан с прононсом, ясно указывающим на дальнюю родину, от которой оторвала и занесла их сюда уже никак не их добрая воля.

Недалеко от этой группы была другая, сидящая на полу и резко отличающаяся от жаждущих. Здоровые лица с окладистыми бородами, нависшими усами и стриженой маковкой на голове, толстые серые кафтаны со сборками и с медными дутыми пуговицами сразу рекомендовали их туземными раскольниками. Умные и решительные взгляды их давали понять, что это люди, которые не задумаются в одно прекрасное время собраться в избе и сжечь себя во славу божию. Их, очевидно, занимали общие толки о гибели хлеба, но они молчали, пока в толпе кто-то не упомянул слово «молебен». Лысый старик не выдержал и певучим голосом заявил, что от поповских молебнов хуже стало. Кружок близстоящих повернулся к нему.

— Весь хлеб погорит, трава погорит, реки пересохнут,— продолжал старик.—Божия кара на вас... Божия кара на вас, зане души-то ваши иссохли!.. Все покроется пылью, как вы души ваши посыпали бесовской пылью—табаком, да пожгли их винищем дьявольским!

— Божье наказанье!—как аминь, произнесли его товарищи.

— Ты, дедушко, винцо-то не вини. Божий дар тож, поди из хлеба,—возразила испитая личность в поддевке и с серьгой в ухе.

Старик, вместо всякого возражения, плюнул, не обращая

внимания на такое неуважение к словам своим. Необидчивый субъект с серьгой продолжал свою речь...

— А што, ребята,—обратился он к двум простоватым мужикам:—выставите водки, так добру вас научу—скажу, отчего вам нет дождя... Божье наказание, да божье наказание—заладили одно. А коли люди есть такие, что дождь отводят! Не хотят, значит, штобы у хрестьян хлеб был.

Как ни дико было заключение его речи, но многие навострили уши. Понятно, что утопающий за соломинку хватается.

— Што тут люди-то поделают, коли бог не дает?—возразил ему длинный мужик.

Оратор счел себя вправе окинуть мужика презрительным взглядом и сплюнуть на сторону, но, заметив, что более любопытствующих не предвидится, он переменил тон:

— А то, братец мой, и поделают, что не захотят вам дать дождя—и не дадут.

— Уж эвто не ты ли, друг любезный, такой к нам немилосливый.

Громкий смех немного сконфузил оратора, но он был не из таких, чтобы отступать.

— Ну, у нас пока еще нос не дорос, а вы вон куда рыло-то поверните,—и оратор трагически вытянул руку по направлению к востоку. Все глаза направились туда же.

В конце улицы за маленьким двухэтажным, в три окна, домиком возвышался высокий шест с поперечными палочками. Наверху его было что-то вроде скворечницы.

— Ну, где?.. Што?

— Шест-то видите?

— Ну?

— Ну, вот вам и сказ... Вот вам и нет дождя и не будет, пока вас умный человек не научит, а умный человек даром для вас, сиволапых, языка трепать не станет.

— Леший, пьяница! думали, и впрямь што путное скажет!—посыпались комплименты на оратора.

— Ему бы водка была, ну и ладно... А дождя ему не надо.

— Известно, ихнему брату што, как не водка...

— Кабашник—одно слово.

Между тем оратор, срезавшийся в своем предположении выпить на счет ближнего, принялся насвистывать, посматривая на колокольню—не покажется ли там фигура, долженствующая бить к «достойно».

— Вишь ты, от скворешницы дождя нет.

— Это, парень, не скворешница.

— А лешак его знает, што тако. .

— Я ономнясь возил туда картофь. Тамотка Лягушкин живет,—пояснил пригородный крестьянин.

— Это колдун-то?

— Какой колдун?

— А Лягушкин-то: он, бают, колдун...

— Лягушкин... это што по лесу-то ходит да траву-то сбирает?

— Во, во... он самый!

— Так он чаво?

— Траву, слышь, сбирает.

— Каку траву? Чего орешь-то! На столб, слышь, лазит.

— Это на энтот-то, што кабашник-то показывал?

— На энтот самый. Сам, слышь, видел, как картофь продавал...

— А почем продавал-то?

— Дядя Филипп, а дядя Филипп! Траву-то у кого забрал?

— Ходит по лесу да сбирает.—На што мол это тебе? Высушу, баит.

— Высушу!—значительно протянуло несколько голосов.

— Картофь-то почем продал?

— Ну те с картофью-то!.. Высушу... Гм...

В это время с соборной колокольни раздался благовест. Большинство сняли шапки и начали креститься. Кучка жаждущих придвинулась ближе к кабаку. Толпа соображала.

— А парня-то, значит, напрасно давеча облаяли,—произнес мужик с птичьей физиономией и большими умными глазами.

— Какого парня?—спрашивали пришедшие после.

— Эвося, что у кабака-то в холодке свистит. Сказывал, что дождя нам Лягушкин не дает.

— Эка, пес, чаво болтает! Чаво тут Лягушкин-то противу бога поделает?

— Чего поделат? Поди Филиппу-то сам говорил: траву сушу. Парнюга-то, поди, не даром водки-то просил... научу, мол...

— Где, поди, даром!.. Кака собака даром-то станет поштовать!

Толпа призадумалась. А между тем речь о столбе, Лягушкине и дожде ходила из уст в уста и волновала базарную площадь.

* * *

Лягушкин с раннего утра был занят делом: разостлав на полу своей каюты простыню, он клеил изящно приготовленный им самим глобус для будущей, быстро подвигающейся в соборной ограде, школы. Не один он трудился для нее: Мурашев клеил картон для таблиц; Илья Яковлевич, отличающийся хорошим почерком, калиграфировал грамматику, арифметику, географию и первоначальные правила механики; Кандальцева вязала шелковые шнурки для глобуса, указок и проч... Лягушкин с увлече-

нием ребенка трудится над бумажной землей и, склеив окончательно две большие чаши, он с любовью смотрит на свое произведение. Присев на колени и вытирая полотенцем свои руки, он хотел приняться за забытый им стакан чаю, но замечтался. Грезится ему, что пройдет немного годов, а в Полуторовске и его окрестностях не останется ни одного безграмотного; умная, честная книга заменит штоф отравленной водки, и имена их, невольных временных жильцов, будут произноситься с любовью. А они, один за другим спускаясь в свою трехаршинную квартиру, смело скажут, что делали честное дело и с связанными руками...

Отдохнув и помечтав, Лягушкин встал и начал одеваться... Он намеревался сделать продолжительную экскурсию и запасся бутербродами, которые уложил в походный чемоданчик. Собравшись совсем в путь, он подошел к столу, чтобы записать свои метеорологические наблюдения, но, взглянув на барометр, отложил свою прогулку: барометр обещал грозу.

— Степанида Марковна,—крикнул он, приподняв в передней крышку люка.

На призыв его до половины высунулась средних лет женщина, по своей конструкции более похожая на мужчину, чем на женщину. Не доверяя тонким ступенькам, поддерживающим ее, Степанида Марковна уперлась могучими руками в пол и с улыбкой смотрела на глобус.

— Вишь ты, какой мячище соорудил.

— Это земля...

— Делать-то вам больше нечего, как видно.

— А вот, что вы сегодня к обеду намерены сделать?

— Да ведь вы в лес?

— Дождя боюсь, Степанида Марковна, дождя.

— А разве будет?

— Будет.

— Слава тебе, истинный христос, замучилась я с этим огородом... а в котором часу будет-то?

Лягушкин засмеялся.

— Часа и минуты сообщить вам не могу.

— Ну да, чего смеяться-то... Мне, поди, нужно белье прибрать с улицы-то...

Оскорбленная Степанида Марковна скрылась, сообщив уже из-под полу, что будет борщ да яичница.

Барометр все определеннее предсказывал бурю, но измученное и изможденное тело Лягушкина бури не чувствовало. Покончив с глобусом, он принялся за устраиваемую им гальваническую батарею и увлекся этой работой так, что не слыхал, как стукнула калитка, впустившая на чистенький двор галантерейного Квасова. Не совсем изящное сопение заставило Лягушкина поднять голову от Даниелевых кастрюлек и с изумлением остановить глаза на красной, облитой потом физиономии градоправителя. Но

по его лицу узнать цель прихода было нельзя, а потому после первых приветствий Лягушкин приступил прямо к вопросу: чем он обязан и проч.

— Вы меня извините... такая собачья должность!.. Но и притом дело довольно серьезное...

Приступ не обещал ничего хорошего.

— Сейчас только около сотни крестьян являлись ко мне с жалобой на вас.

— На меня? Быть не может!

Как ни старался Квасов казаться вежливым и тихим со дня получения из губернии бумаги, но тут не выдержал.

— Да-с, на вас!.. Вы не имеете права... тово... я не дал вам, кажется, повода не верить мне... мне!..—закипятился Квасов.

— Да вы успокойтесь... я вам верю, только что же я мог сделать крестьянам?

— Они... чорт воз... они жалуются, что нет дождя!

Лягушкин захохотал.

— Конечно, это вам все может казаться смешным... вам конечно нет дела, что у них хлеб весь выгорел, что может быть бунт... и... и...

— Но разве я дождем распоряжаюсь? Вы или шутите, или...

— Я очень хорошо понимаю, хотя разным там наукам и не обучался, что все это с их стороны одно суеверие. Но для их успокоения... во избежание бунта, я дал им слово, что вы срубите свой столб.

— Какой столб?

— Вот этот!

Он через плечо показал вырезывающийся на отуманенном от жара небе темный столб.

— Его? С какой стати?

— Эти невежды полагают, что от этого столба нет дождя, и я...

— Ну-с, эти невежды могут так полагать, потому что они невежды, а вы, господин городничий, поторопились дать слово: столба я не срублю.

— Но послушайте... вы понимаете... все требуют... вы... я должен смотреть за порядком и спокойствием... и если вы этого не сделаете, тогда я сам...

— Это другое дело!.. Если вам приятно, чтобы за меня разъяснили вам дело губернские власти, то я, разумеется, препятствовать не буду.

Квасов, несмотря на скудный запас сообразительности, понял, на что намекает этот враг отечества, и припрыгнул на табурете, как ужаленный [10].

— Но вы поймите же хорошенько дело: если этого не сделаете вы, то они распорядятся сами... и еще убьют вас!..

— Дело я очень хорошо понимаю. К начальнику являются крестьяне и говорят, что нет дождя... Хлеб сгорел, а дождя нет

оттого, что у Лягушкина столб стоит. Начальник сначала расхохотался, а потом вразумительно объяснил им, что никакой столб помешать дождю не может. Затем начальник приезжает ко мне и рассказывает, как было дело. Видите, как я хорошо понимаю.

— Подите, подите, попробуйте им разъяснить. Потешаться-то нечего!

Квасов свирепо взглянул на распростертый у ног его шар земной, так свирепо, что Лягушкин счел благоразумным поднять свое детище с полу и положить его на миниатюрный диванчик.

— А между прочим, начальник, справившись с барометром, мог бы сообщить им, что дождя им бог даст скоро, может и сегодня же...

Квасов чувствовал, что над ним потешаются, но не мог сразу сообразить, в чем тут дело, и свирепел.

— Так как же?—спросил он, вставая.

— Столба я не намерен рубить.

— В таком случае на меня не пеняйте, если крестьяне сами-с... этак-с... возьмутся изложить вам свою мудрость.

— О, на этот счет я очень спокоен. Мы, как вам более всех известно, находимся под надзором полиции, и странно бы было, если бы проницательная полиция допустила что-нибудь подобное до лиц, вверенных ее надзору,—этому, разумеется, ни вы не верите, не поверят и в губернии.

«Чорт! дьявол! шельма этакая!»—мысленно повторял Квасов, едучи домой. «Хорошо, кабы мужичье всех их перемяло. Не будь я городничим, я бы их науськал». Но он вдруг с испугом начал припоминать свою беседу с мужиками: «Не поощрил ли он их чем-нибудь? Пожалуй прав, собака, полиции же и достанется: вверены-де вашему надзору. А, чорт побери! всех купцов высосу, да пошлю кое-что делопроизводителю, пусть сделают советником, ничего здесь не увидишь, кроме неприятностей». И он принялся высасывать поставленную за столом бутылку и к концу обеда был готов всхрапнуть сном праведника и действительно заснул на славу.

Страшный треск и оглушительные раскаты грома заставили его вспрыгнуть часу в седьмом с мягкого ложа.

На дворе лил дождь как из ведра. Зигзаги молнии бороздили дымно-зеленоватые тучи и удар за ударом потрясал воздух.

Не скоро Квасов мог привести в порядок свою головную машину, но когда достиг этого, то все-таки не мог уяснить себе многого. Его смущало, что Лягушкин сказал, что будет дождь, и есть дождь. «И, чорт... Господи, прости меня! в грозу-то, да его поминать... Свят, свят, господь саваоф!.. Ну, да по крайней мере, мужики будут довольны... свят, свят!.. а не догадаются, свиньи, поди, поблагодарить. Эх, кабы он столб-то еще срубил!.. Ну, да можно пустить, что припугнул-де... стрелки снял... Свят, свят, свят, господь саваоф!»—так думал городничий, суетливо расстанавливая на окнах своего кабинета стаканы с водой и расклады-

вая тут же ножи и вилки, как спасение от громовой стрелы, и постоянно крестясь и славословя [11]...

...Коснувшись детства, не скоро расстанешься с ним. Теплом и зеленью веет на человека, пользовавшегося (что случается у нас очень редко) добрым детством и принявшегося рыться в своем прошлом; как росой освежает начинающее ожесточаться сердце. Веселые пейзажи встают и в моем воображении, простые, но веселые. Вот соборная колокольня, облитая розовым светом утра, с блестящим от восходящего солнца крестом. Я как будто сейчас вижу длинную тень ее, протянувшуюся через всю площадь. Вижу нашу только что испеченную серенькую школу с крылечком, на рундуках которого так удобно и приятно сидеть, вздрагивая от прохладного воздуха и не совсем еще прошедшего сна. Удобно и весело сидеть тут, срезывая соломинкой выступившую на стене от вчерашнего жара жесткую, как янтарь, серу, сидеть, прислушиваясь к чиликанью воробьев, любуясь полетом сверкающих около крестов галок и чувствуя, что не одному тебе весело, а весело и отрадно и зеленой мураве, и красному обломку кирпича, и обвалившейся штукатурке. На всем блеск и радостный свет раннего утра: весело смотрит даже окно у ратуши, с разбитым стеклом [12]. А как было страшно в то время, как мяч, пущенный геройской рукой Молотилова, одного из наших силачей, взвился к поднебесью, описал параболу и со звоном влетел в это окно. Ух, какой же сердитый выскочил из дверей ратуши сторож! Такой сердитый, что вряд ли у вас повернулся бы язык порицать нас за то, что мы так быстро рассыпались в стороны, оставив растерявшегося Молотилова одного на произвол судьбы и разгневанного сторожа. Да, я вижу ясно, как он стоит с поличным—с опущенной лаптой, как-то странно улыбаясь и рассматривая свои босые ноги.

Часы идут. Церковная тень укорачивается. Приближается время классов, и предтеча науки, лысый трапезник выходит из церкви с ключом от первых комнат нашей школы. И как же обрадовалось ему солнышко; так и заиграло на его загорелом лице и на его светлой лысине...

Отперто преддверие классов, но в летний ясный день едва ли кто оставит церковную ограду до звонка. Группами рассыпался по ней мелкий народ. И боже мой! Каких только не было тут костюмов, начиная от франтовской курточки барича, сына губернского прокурора, присланного в Полуторовск вследствие дошедших туда (т. е. в губернский город—Б. Ж.) слухов об успехах в нашей школе, до азяма, заплатанного синими и белыми холщевыми заплатами. Тут были и два татарчонка с чисто выбритыми головами в своих национальных костюмах. Были два брата в казацких казакинах и босые; был тут и Васильев в разорванном халате и в сапогах с каблучками на манер бочоночков.

Да, разнокалиберные, поражающие были костюмы. Но тешилось и радовалось сердце Лягушкина, смотря на весь этот дружный между собою сброд, так весело прибегающий ежедневно в классы, несмотря ни на какую погоду: ни на зной, ни на стужу. И еще с большей энергией принимался он с другом своим протопопом отстаивать свое незаконное детище, отписываясь от разных дрязг. Много, должно быть, было этих дрязг, но мы, дети, этого не знали [13]. Только раза два проносился между нами слух, что закроют нашу школу, и вешали мы головы и соображали, зачем и почему? Редкое явление, не правда ли:—что мы, ребята, любили школу и учились без розги!..

Но почему закроют нашу школу и разгонят нас,—решить этого мы все-таки не могли. Мы могли только рассказать, как она открылась и что потом следовало. И повествует пузан Меньшиков: «Привели нас... Поставили, а потом повели за стол—мы помолились, а потом пошли к полукружию...»

— Ну, да это как и теперь,—перебивает нетерпеливый татарчук Сабанаков.

— Вовсе нет,—поддерживает Меньшикова франт Васильев:—теперь Дмитрий Иванович говорит: первая половина направо, вторая налево, а тогда просто сказал: налево идите.

Поддержанный таким манером пузан продолжает: «Ну, мы и стали учиться, уж долго учились, только вдруг приходит смотритель из другого училища; ушли он с Дмитрием Иванычем в угол и начали говорить. Дмитрий Иваныч говорил-говорил, потом рассердился: здесь, говорит, не место, уйдите; тот рассердился и ушел... так дверью хлопнул! А Дмитрий Иваныч на замок дверь запер и стал все запирать. Мы начнем учиться, а он запрет... Отец протопоп придет, постучится тростью в окно, он отопрет, впустит его и опять запрет, а потом не стали запирать».

— А смотритель не прибегал?

— Нет, еще раз был... Нас уж тогда много было.

— А, помним!.. помним!—раздались голоса.

— А он должно быть драть вас хотел, как в первый-то раз прибегал,—заметил Молотилов.

— Ну, как же!—обиделись мы хором.

— Так зачем же Дмитрий-то Иваныч рассердился да прогнал его?.. Он там своих-то, у! как дерет... Ну, а второй-то раз Дмитрий Иваныч его не прогнал?

— Нет, второй-то раз он только в таблицах все рылся, потом пропись одну взял и унес.

— Зачем?

— Не знаю.

— Котору пропись-то? «Рыбак рыбака», што ли?

— Нет, той нет, он ту не принес, это «Служил у пана семь лет, выслужил семь реп, за богом молитва, а за царем служба не пропадает» и еще чего-то?

— «Всяк Еремей про себя разумей!»

— А, помню, писал я этого Еремея.
— Где ты его писал-то! Он подикось до тебя ее взял!
— Ей-богу, писал, еще капнул на этого самого Еремея.
— Ну, как же.
— Да вот те христос, капнул на Еремея: мне чего вам врать-то.

На крыльце показывается Дмитрий Иванович с посеребреным колокольчиком, и гурьба несется в класс.

— Ну, стройтесь!

И строимся мы во всю длину передней тремя длинными колоннами, и перекликивает нас всех Евгений Флегонтович, указывая место каждому по вчерашним его заслугам, раздавая ярлыки на лентах с надписями: старший такого-то круга и первый. Надев себе на шею эти знаки отличия, кавалеры гордо вносят свои головы в отворившиеся двери. Особенно высоко поднимались головы таких счастливцев, когда в школе бывали посетители, а приезжие посетители начали таки частенько заглядывать в нашу школу. Много уж шумели о ней.

Полуторовские власти, присутствовавшие при открытии школы, отнеслись сначала благосклонно, т. е. мысленно решили: плевать-де нам, тешьтесь, коли есть охота; ни тепло нам от вашей школы, ни холодно. Но оказалось, что одной власти—именно ученой могло быть и холодно: в уездное училище перестали отдавать (детей—Б. Ж.), даже стали брать оттуда. Предвиделся плохой исход—быстро приближалась цифра, при которой, пожалуй, начальство найдется вынужденным закрыть уездное училище. Полетел в губернию донос, что лицо, которому никоим образом нельзя доверить просвещение, обучает детей. На донос последовал запрос: как и почему? Оказалось, что обучает детей протопоп, а незаконное лицо только показало порядок, как устраиваются ланкастерские школы.

Не упал духом светильник полуторовского мира: отыскав, по его понятию, противоправительственную пропись, он написал на эту пропись несколько листов комментариев и препроводил в дирекцию, выискивавшую только случая пресечь незаконное существование школы.

Губернские друзья Лягушкина, разумеется, горячо хлопотали за существование школы, но ничего не могли сделать. Требовалось подчинить ее неусыпному контролю смотрителя.—Екнуло сердце Лягушкина. Грустно сделалось за спины навербованных им ребят. Долго думали и гадали и в конце концов порешили:

Так как школа при церкви, и если добрых дел без контроля делать не полагается, то и сдать ее архиерею. Приди и владей нами, и борись с нашими врагами и супостатами. Дождались его приезда, да так и сделали, и вышло дело ладно.

Посмотрел архиерей все наши ланкастерские штуки—нашел все это хотя и новым, но дельным и целесообразным. Заметил, что от всего пахнет чистой простотой и каким-то квакерством [14],

а затем посоветовал ввести в программу школы нотное пение и уехал. Враги были побеждены. Мир настал.

Много у нас было посетителей, и властей и не властей. Первых мы отличали от последних только тем, что Дмитрия Ивановича в это время в школе не бывало.

Покончив с классами, веселыми и бодрыми рассыпались мы по городу. Мы учились шутя и нисколько не считали трудом нашу науку...[15]

Глава VI.

ШКОЛА В СТАРОЙ СИБИРИ.

Народное образование в старой Сибири.—Томская гимназия в 50-х годах XIX в.—Демократический состав учащихся.—Нравы учеников.—Учителя и способы преподавания.—Влияние гимназии на гимназистов.—Пробуждение литературных и общественных интересов.

Народное образование в старой Сибири находилось на очень невысоком уровне. Первая в Сибири школа была учреждена при Тобольском архиерейском доме в 1703 или 1704 г. для подготовки церковнослужителей и проповедников среди «туземных народностей». С 30-х годов XVIII в. начали открываться в разных городах Сибири специальные училища—«навигацкие», геодезические и т. п., для подготовки необходимых местной администрации специалистов, горные училища в Нерчинске, Барнауле и Змеиногорске. Большинство этих училищ было впоследствии закрыто. С 1780-х г.г. началось постепенное открытие губернских и уездных народных училищ в Иркутске, Тобольске, Томске и других городах Сибири. В 1805 и 1810 гг. были открыты первые сибирские гимназии в Иркутске и Тобольске, с приготовительными училищами. Но и после этого количество грамотных, особенно в среде трудового населения Сибири продолжало расти черепашьим темпом.

В 80-х годах XIX в., накануне открытия сибирского университета, по всей огромной территории старой Сибири, от Урала до Тихого океана, существовало 1.119 учебных заведений всех типов с 36.744 учащимися обоего пола (см. «История просвещения Сибири и университетский вопрос», «Сибирский сборник», 1886 г., кн. 3, стр. 143).

И если дело народного образования было неудовлетворительным в количественном отношении, то еще хуже обстояло оно с качественной стороны. Отсутствие преподавателей, желавших ехать на службу в далекую и глухую Сибирь, невежество наличных, отсталые приемы преподавания, казенщина, рутина, мертвящая скука на уроках, дикие расправы «педагогов» даже с малолетними учениками, порки и «кокосы»—далеко не все пороки, которые были присущи старой сибирской царской школе.

Школа эта близко напоминает знаменитую, описанную Н. Я. Помяловским «бурсу», хотя в ней есть и свои специфически-сибирские черты. Преобладание в старой сибирской средней школе «плебейских», т. е. буржуазных и мелкобуржуазных элементов, вносило в нее дух своеобразного «демократизма» и в то же время грубость нравов, присущую хищной и невежественно-грубой сибирской буржуазии. Отсюда тот культ грубой физической силы и слабость культурных интересов учащихся, которые столь характерны для старой сибирской школы.

Известный сибирский общественный деятель Николай Михайлович Ядринцев, учившийся в 1854—59 г.г. в Томской гимназии, оставил об этой гимназии, которую можно считать типичной для всех сибирских средних школ этой переломной эпохи *, яркие воспоминания (опубликованы в «Сибирском сборнике» за 1888 г., кн. I, стр. 1—32). Ниже приводятся отрывки из воспоминаний Н. М. Ядринцева, выразительно рисующие состояние народного образования в старой Сибири, нравы учащихся и учителей. Необходимо указать, что либеральные убеждения Ядринцева наложили на его воспоминания весьма определенный отпечаток. Это особенно резко чувствуется в конце главы, где Ядринцев говорит о своих юношеских мечтах и надеждах.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О ТОМСКОЙ ГИМНАЗИИ».

Не один из томичей пробовал возобновить воспоминания о томской губернской гимназии и ее положении в 50-х годах, но я помню особенно верный очерк, помещенный в «Сибирской газете» в первый год ее издания... [1] Мой однокашник в очерках и картинах старой томской гимназии изобразил наглядно тот хаос жизни, который здесь существовал, ту разнузданность, которой достигало юношество, он очертил также те способы усмирения гимназической демократии, которые здесь практиковались. В этих воспоминаниях фигурируют субботние дни Федора Афанасьевича, Павел Антонович (сторож) со своими атрибутами, налеты и подкарауливания инспектором ученических шалостей и должное возмездие, карцер, в котором некоторые проводили дни голодовки, или моментальные потрясения в виде перстня Александра Ивановича и т. п. [2].

Но эти усмирения являлись налетом, расправа была жестокая, грубая, секли учеников в прежние времена до 7-го класса и секли, как секут крестьян. С стиснутыми зубами и сжимающимся

* В это время в Сибири существовали три мужских гимназии: тобольская, иркутская и томская (красноярская была открыта в 1869 г.); кадетский корпус в Омске, девичий институт в Иркутске; духовные семинарии в Тобольске и Иркутске. Если не ошибаемся, больше средних учебных заведений в Сибири в 50-х годах не было. В 60-х годах были открыты женские гимназии в Томске и Омске и ряд других средних учебных заведений в разных городах Сибири.

сердцем я прислушивался к гулу этих экзекуций, но эта расправа не устрашала нашей демократии. Жизнь скрывалась в своих недрах, попрежнему шумели на площадях, на ристалищах, в цирках гладиаторов и на местных форумах. Мы пользовались внутренней свободой. Мир инспектора, уродливых учителей и надзирателей не существовал для гимназистов, он был смешон или ненавистен. Это была внешняя власть, не пользовавшаяся никаким нравственным авторитетом. В этот мир делались только временами неприятельские вылазки, которые еще более ожесточали надзирателей и педагогов и создавали между теми и другими бездну. Под гнетом инспектора, но среди распущенности и общего стремления к независимости, самостоятельной жизни нередко учителя составляли заговор вместе с учениками, чтобы укрыться от надзора. Учителя садили учеников на окно караулить инспектора, а сами уходили пить водку и завтракать в сторожку. Здесь в заговоре против инспектора была целая совокупность подчиненных, чиновников и служителей даже в лице Павла Антоновича, приносившего водку. Личные интересы всех преобладали и поборали внешнюю политику. Учительская бюрократия распускалась и деморализовалась, а не служила оплотом. Зато среди учеников формировался союз гонимых и угнетенных. При видимой разрозненности никто не смел выдать товарища, никто не смел жаловаться и переносить дело на апелляцию инспекции и начальству, зная, что здесь найдет только «шемякин суд». Для товарищества должны быть приносимы всевозможные жертвы.

В первое же время я испытал влияние этого союза и должен был выказать ему преданность самопожертвованием. Раз мой сосед Наумочка [3], весьма бойкий и изобретательный, как чертенок, на шалости и штуки приятель, сообщил мне гениальный план неприятельской вылазки из нашего класса в лагерь учителей. В нашем классе была дверь в соседний латинский класс, где в перемену (промежуток между уроков) собирались учителя. В двери оказалась щель, в которую Наумочка подметил, что делается у учителей. Там, прислонясь к стене как раз против щели, покоилась лохматая голова учителя Б(аранова). Одна минута была сообразить слабую сторону неприятельской армии. Наумочка находит перо, надкалывает его конец, делает из него удочку и при помощи моей запускает его в щель в темную и густую гриву покоющегося льва. Запустив, он дернул изо всей силы. В одну секунду Наумочка вскочил на скамейку и исчез, а я остался с катехизисом Филарета в руках у места преступления. Через минуту в класс влетел инспектор; в дверях перед ним прошел Наумочка, почтительно поклонившись. Начался допрос, но я не смел выдавать истинного виновника и пострадал: меня оставили без обеда по подозрению в соучастии по преступлению. Так формировался наш социальный общественный союз. Здесь были свои законы, обычаи, свои подвиги и герои, даже свои мученики...

В нашей пестрой, разнокалиберной, но единой, воспитываю-

щейся под влиянием одинаковых условий, семь поражало и подавляло господство на первом плане физической силы, как единичной, так и коллективной. Она давала себя чувствовать во всех поступках и во всех сношениях. Это был мирок, похожий на зверьков, мир зоологический, дикарский. Понемногу упражнение этой силы и ее значение сформировались в культ. Силачи и подвиги силы пользовались уважением. Авторитет принадлежал сильнейшему... Физическая сила у гимназистов, совершенствуясь внутри заведения, переносилась и вне. Гимназисты с охотою ходили на бои—на «войнишки», существовавшие в городе у мещан. Может быть, эта любовь к боям и дракам перенеслась в гимназию из местной среды. Я помню, как с восторгом рассказывались и описывались эти местные бои, где «пески» состязались с «кирпичами», или «заозерье» с «заречными». Это была илиада местной жизни, воспитывавшая своих ахиллесов. Кто бы мог подумать, что «заозерье» и «кирпичи» более влияли на учебное заведение, чем местные педагоги! [4]

...В той же дикарской среде мы находили друзей, товарищей и любимцев. Мы даже умели дисциплинировать себя и нашими развлечениями были не всегда «гладиаторские зрелища», состоявшие из наваливания кучи живых тел посреди класса и «давления масла». У нас был любимец-товарищ, Николай Иванович Н(а)умов, впоследствии замечательный беллетрист и писатель; будучи развитее других, он много читал и обладал даром рассказывать. «Королева Марго», «Монсоро», «Три мушкетера» составляли канву его рассказов, но также увлекательно рассказывал он иногда и исторические события из прочитанного им аббата Милота [5]. Когда надоедало «давить масло», мы садили его на стол и целым классом его слушали. Тогда среди буйной толпы слышно было, как пролетит муха. Мне приходилось горько жалеть впоследствии, что наши наставники не обладали этим секретом сосредоточивать внимание.

...Припоминая типы и фигуры наших педагогов, я задумываюсь не над тем, способны ли были эти типы дать представление о науке и как понимали ее (они—Б. Ж.), сколько над их злосчастной судьбою.

В самом деле оставить после себя в воспоминаниях поколений только образ карикатуры, что может быть печальнее? Ведь была же личная жизнь у этих людей, было воспитание, не гориллы же это были, это были люди, хотя люди забитые, сбитые с колеи, истрепанные и заеденные жизнью: что же за драматическая судьба окружила их, что измяло, стоптало?

...Слабый, неподготовленный персонал педагогов с университетских скамеек явился в глухую, неприветливую жизнь провинции и обстановку 40-х годов. Это были люди, случайно занесенные в Сибирь из старого педагогического института и из старых университетов, не успевшие ознакомиться с жизнью, люди без всяких идеальных стремлений, дети глухого беспросветного времени

эпохи Магницкого и Шишкова[6]. Многие передавали нам воспоминания о своем прошлом, это также были люди из бурсы, семинарий и старых аракчеевских гимназий, как били их и угощали «кокосами», так они угощали и нас. Это была уже общерусская принадлежность воспитания,—не бог знает, чего они видели на свете. Яков Степанович, учитель словесности, кроме казенного пансиона педагогического института ничего не видел, вспоминал он, как они ходили в треуголках и отдавали честь офицерам, как за малейший проступок их отдавали в солдаты на Аландские острова[7], в университетском коридоре стояла пушка—таковы были университетские воспоминания...

Некоторые сохранили самые анекдотические воспоминания о своем воспитании, другие—казенные и будничные. Многие учителя, явившиеся в открывающуюся сибирскую гимназию, бог знает попали из какого мира, но только не из педагогического, это были какие-то калеки, полусумасшедшие старики. Я. С. Сергеев рассказывал нам, что при открытии томской гимназии было три или четыре учителя[8]. Многие пожелали сюда, но не являлись.—Раз мы играли в карты у директора,—рассказывал Я. С.,—была поздняя ночь, вдруг раздается страшный лай собак. Мы думали—воры. Выйдя на двор, мы увидели человека, влезшего в подворотню. Он был в рваном полушубке, небритый и изображал из себя обитателя трущоб. Он спросил директора и вошел в комнату. «Имею честь рекомендоваться, сослуживец»,—сказал он и, подойдя к карточному столу, положил на стол пятак, сказав: «вот с чем дошел до Сибири!» Оказывается, что, давно промотав деньги, он шел по пути с партией (ссыльных—Б. Ж.) по этапам.

Таковы были первые педагоги, затем прибыл какой-то несчастный ветеран Г.... без ног и на костылях. У учеников осталось в памяти, как он у детей купцов просил принести ему из лавки миндалю, причем раз доставили ему миндалю горького. Воспитанники у него прятали костыли на печку и он оставался беспомощным в классе. Далее являлись личности вроде пастора Тецлава, люди ничуть не лучше [9]. Переходили в гимназию люди из военных училищ, из семинаристов, вроде учителя грамматики Ивана Гавриловича. Наконец, помню надзирателя, прямо из вятских мещан, пробившего ползком дорогу, и известного Т-нора, который служил то смотрителем училища, то переходил в частные пристава и потом опять воротился в гимназию. Кроме чудака Тецлава в гимназии был настоящий помешанный Э., которого то садили в сумасшедший дом, то он опять являлся преподавателем. Что можно ожидать от такого контингента? Сибирь была сыздавна глухою страною, куда ехали люди по нужде и безвыходности и часто такие люди, которым нигде в России не находилось места, т. е., как и во многих других случаях, Сибирь получала брак.

Явившись в местную среду с своим казенным запасом знаний, без всякой силы и веры в свое призвание, они могли только

затеряться и опуститься. Нельзя сказать, чтобы некоторые из них не обладали сведениями; некоторые из них были отличными учениками в свое время, но они не умели эти сведения сделать достоянием ни учеников, ни общества. Напротив, они сами постепенно теряли свои знания, забывали, обленивались, усваивали жизнь и привычки невежественной среды, опускались до мещанской жизни или спивались и сходили с ума. Я. С. Сергеев передавал о своем товарище из педагогического института, прекрасном математике, который, прибыв (в Томск—Б. Ж.), через года два впал в меланхолию и перешел прямо к запоям, при нас он уже таскался по кабакам и вел несчастную жизнь, так он и погиб. А(ндрее)в, учитель латинского языка, имел наклонность заниматься даже этнографией, печатал статьи в «Губернских ведомостях», но периодически предавался страшным запоям и тоже умер от пьянства. На моих глазах приехал из педагогического института молодой учитель С-ко, джентльмен, элегантный, красивый. Когда я приехал из Петербурга через три года, я видел его в трактире обрюзгшим, опустившимся и пившим горькую; скоро он вышел из педагогической среды. Математик Ч(иги)рь тоже пил горькую. «Кокос» не ходил по целым неделям в класс от той же болезни[10]. Так одна часть опускалась и пила горькую, некоторые, как Э., сходили с ума; оставались люди, примирившиеся с обыденной обстановкой, они переженились на кухарках или простых бабах и погрузились в довольно прозаическую жизнь. Такова была судьба Якова Степановича, Федора Афанасьевича и т. п. Як. Ст. когда-то знал порядочно языки, был знаком с классиками; Федор Афанасьевич был географ, знаток старины, он был прекрасный рассказчик, но все достоинства и знания куда-то испарились. Сначала еще обнаруживались какие-то потуги к занятиям. Ф. А. собирал сведения о сибирской старине, а Як. Ст. переводил стихи из Шиллера, но потом добрые старики отличались только рассказами анекдотов, причем Ф. А. передавал в классах, как пермский губернатор с обществом катался на масленице, причем одна дама наполовину провалилась сквозь сани к общему соблазну... Я. С. исключительно вместо преподавания словесности предавался воспоминаниям и анекдотам. Он не знал, куда занесет его рассказ. Было замечено, что он начинал о Николае угоднике, а кончал класс рассказом о воробье. Иногда он прямо приступал—«А вот, я помню, у нас в Рязани...» Воспитанники его прозвали, наконец, «боталой», погремушкой, навязываемой коровам. Всякая интеллигентность стерлась, науки как будто и не существовало...

...Старая, добрая гимназия, не тебе было суждено с твоими педагогами развить в нас жажду знания, пробудить ум и сердце. Это выпало на долю других обстоятельств... Среди ленивой казенной обстановки заведения учение и знание из казенных книжек весьма туго прививалось к нам, несмотря на внедрение его Павлом Антоновичем в сторожке, внушительное постукивание Федора Афанасьевича по кулаку, аллегорическое напоминание о

внедрении и пробуждении в нас совести педагогами с помощью «болванов, язв, олухов, пентюхов, ослов и ослят». Чем далее мы учились, тем учебник терял более привлекательности, он истрепывался, исчезали чертежи, цифры, но не впрок, они просто исчезали, как ненавистные предметы, из мира действительности. Мы становились все ленивее и этот недостаток не поправила даже философская тема заданного Яковом Степановичем сочинения: «Прилежание изощряет способности». Способности не изощрились. Способный Н. И. Наумов вышел из 3-го класса гимназии, несмотря на то, что обладал блестящей памятью в рассказах по истории. Он получал по этому предмету 5, не заглядывая в учебники, но на остальном совершенно отрицательные величины[11]. Я забывал уже приобретенные до гимназии знания французского языка. Как ленивые животные, кое-как мы перебирались из класса в класс.

Но в то время, когда казенная наука не давала нам ровно ничего, в нас пробудилась страсть к чтению и любознательность. У моего отца была большая библиотека с журналами и лучшими произведениями литературы, с Пушкиным, Лермонтовым, Жуковским, Державиным и т. д.; читая сам, понемногу я сделал ее гимназическим достоянием, таская книги Н(аумову) и моему другу П(оникаровс)кому, выпрашивали и многие другие. Когда я пробавлялся беллетристикой, П(оникаровский) читал уже критические статьи и напал на безыменные статьи Белинского. Странно, что Яков Степанович никогда нам не передавал об его существовании[12]. Н(аумов) поглощал массу книг, повестей, романов, выйдя из гимназии и сидя дома. Скоро у нас образовался литературный кружок. Я вел дневник, записывал детские воспоминания и начал упражняться в стихах. Н(аумов) подражал то Брамбеусу[13], то Гоголю; П(оникаровс)кий—Тургеневу. Помню, как мы сбирались и читали свои произведения и припоминаю, как меня обидел ядовитый Наумов, написавший стилем Брамбеуса, который его в это время увлекал, злую карикатуру на какое-то мое стихотворение. Но истинное пробуждение ума и души явилось позднее. Мы мужали и достигали высших классов. Пробивался пух на верхней губе, голос стал мужественнее, в глазах была то загадочная задумчивость, то вспыхивал огонь. Я думал уже об университете, но меня тянула внешняя сторона его жизни, грезилось товарищество, какая-то веселая бурщеская жизнь.

А между тем в России уже кипела новая жизнь: пятидесятые годы выступали в полном блеске. Чуялось обновление, шумела журналистика, но до нас ничего не доходило. Только Степан Иванович (сухой, но дельный учитель истории) приходил в класс, восторгаясь английскими порядками. Он был, повидимому, поклонник тогдашнего «Русского вестника», что, однако, не колебало в его глазах авторитет Устрялова[14]. Что касается Якова Степановича, как учителя словесности, то его безмятежная душа, принося новый «Современник», не подозревала даже, что это «Совре-

менник» новый, а не старый Пушкинский, который он привык видеть[15]. Он не подозревал, что в критике творится что-то новое и обыкновенно развертывал хроники Панаева под псевдонимом «Нового поэта» и, услаждаясь описаниями петербургской жизни, дивился, что явился какой-то новый поэт. Но в жизни кругом веяло чем-то другим, в высшие классы гимназии как-то проник Белинский. Степан Иванович, явившись раз в класс, точно осененный, вдруг задал вопрос, как мы думаем об одном весьма известном, но покойном авторитете. Мы молчали. И Степан Иванович провозгласил торжественно, что это был «дурак!» Это была неожиданность—комментатора новых явлений еще не было. Но этот провозвестник новой жизни должен был явиться и он явился. Он произвел переворот в миросозерцании, познакомив с тем, что творилось в России, и произвел переворот не в одном во мне.

Желая сохранить последний год в гимназии, я отдавался мечтам, лежа на диване и куря папиросу за папиросой. Я рисовал себе уже университет и студентов, которые явились в моем воображении в клубах табачного, товарищеского дыма с веселой улыбкой на лице, с беспечностью юности, с пламенным сердцем дружбы, с их удалью, весельем и т. д. Раз эти мечты были прерваны действительностью. Моя мать по возвращении моем из гимназии сообщила мне новость, что у нее был приезжий студент университета, явившийся в город учителем, он просился к нам на квартиру и когда получил сведения, что я собираюсь тоже в университет, то пожелал познакомиться. Это заставило тревожно биться мое сердце: как, студент из Петербурга, и будет жить у нас, расскажет, что меня ожидает, откроет некоторую прелесть будущего!.. Я начал ждать этого свидания с нетерпением. Он условился переехать к нам в нижний этаж дома на квартиру. Придя из гимназии, я его увидел после обеда. Когда он вошел к нам, я с некоторым подобострастием осмотрел его. Это был высокий молодой человек, весьма стройный, немного сутуловатый, что не уменьшало его большого, внушительного роста; большая курчавая голова, открытое лицо, несколько вздернутый нос, на котором были очки, самоуверенный быстрый взгляд, уверенная насмешка на губах и чуть заметная бородка производили приятное, располагающее впечатление. Он был в учительской форме с саквояжем, трубкою в руках и в оригинальном кашне. Могу сказать, что общее впечатление было вполне оригинально.

Это был Н. С. Щ(укин), ему-то и суждено было сделаться нашим героем юношества[16]. Многие помнят его подвижную фигуру, энергическую речь, пламенную проповедь, его резкие приговоры всему отживающему, запас новых общечеловеческих идей, которые он вынес из тогдашнего университетского круга, тех надежд, с которыми он познакомил нас и которыми жила тогда Россия, ждавшая освобождения крестьян и своего обновления. Студент Щ(укин), подвижной, неугомонный Рудин по натуре,

студент в душе, человек, искавший деятельности и прозелитов нового учения, упал к нам точно с неба. От него мы узнали впервые, что переживает Россия. Целый поток света осенил наше сознание, заставил волноваться кровь, трепетно биться сердце...

Щ(укин) принес вести об обновлении университетской науки и литературы. В первый раз с жадностью и с восторгом мы узнали великие имена Виссариона Белинского, Грановского, Пушкина, Лермонтова; их гражданская скорбь, их ранняя гибель получили для нас новый смысл. Золотые звезды всходили на горизонте новой литературы. В это время уже показывался Добролюбов, и Щ(укин) был его однокашником сначала в педагогическом институте [17]. Мы открывали и следили, что писалось об освобождении крестьян. Наш новый знакомый передал о работе редакционных комитетов, о готовящемся уничтожении цензуры. Он знакомил с последними событиями и волнениями петербургского мира. Бог знает, откуда он добывал новости и новые книги. Мы проводили целые ночи в беседе и поглощали новую литературу. Щ(укин), беспрестанно суетившийся, искавший поклонников, друзей и учеников, скоро сгруппировал около себя весьма разнородный кружок. И с кем он только не перезнакомился: и молодые ученики гимназии, барышня, мечтавшая о педагогической деятельности, отставной смотритель училища—60-летний старик, но философ и оригинальный ум, «замечательный самородок» Д.—человек замечательного ума и развития, ссыльный Б(акунин)—европейская знаменитость [18], и тут же какой-нибудь полуграмотный поэт, стихи которого понравились Щ(укину) и он спешил их отправить к Добролюбову. Сам Щ(укин) пописывал в газеты и готовил какую-то громовую статью в «Искру» [19]. Временами он устраивал литературные вечера и пельмени, которые носили студенчески бесцеремонный характер. Но дело было не в самом Щ(укине),—он часто отдавался забавным иллюзиям и разочарованиям. Его знакомство дало толчок и материал нашему уму. Пред нами сверкал в будущем настоящий свет жизни и науки. Иногда страстный трепет под влиянием прочитанного охватывал все существо. Впечатления ложились живо и ярко. Иногда гражданские восторги и чувства наши были искренни и неподдельны.

Я нашел друзей своих обновленными, исчез мрачный байронический взгляд на жизнь у Н(аумова), братья С. толковали о новых вопросах и собирались в университет, угрюмый оживился, бродил как в тумане добрый мой П(оникаровский). Все мы нетерпеливо ждали выезда в университет. Все думали об одном: и состоятельные юноши, и бедняки, почти нищие, которым одинаково открывался свет разума и свободы. Так проходил этот год, лучшее время надежд. Самые лучшие чувства, самые свежие гражданские восторги были пережиты в это время, и волнения и думы, проклятия старому и благословения новому, слезы, накипевшие в детской груди, сменялись детскою улыбкою надежды, вера в грядущее, любовь бесконечная, пламенная любовь к чело-

вечеству, ко всему несчастному и обойденному, вера в народное счастье созревала в сердце, как основа будущей религии, как залоги жизни...

Глава VII.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОЖИВЛЕНИЕ 60-х ГОДОВ И СИБИРЬ.

Проблески общественного оживления в Сибири.—Литературный кружок томских гимназистов 50-х годов.—Сибирское студенческое землячество в Петербурге.—Писатели-сибиряки Г. Н. Потанин, И. В. Федоров-Омулевский, Н. И. Наумов, С. С. Шашков.—Возрождение сибирского областнического движения.

Как ни печально было в середине XIX века положение отсталой и малокультурной окраины бывшей Российской империи—Сибири, общественное оживление так называемой «эпохи реформ» 50—60-х годов все же захватило отчасти и эту далекую окраину. В Сибири того времени не было достаточных условий для широкого развития какого-либо серьезного общественного движения, но известные общественные сдвиги происходили и здесь. Развитие промышленного капитализма в форме частной золотопромышленности, нарастание классовых противоречий внутри местного сибирского общества и другие исторические силы не могли не оказывать воздействия на местную общественную жизнь.

Историческая обстановка этих лет была благоприятной для возрождения, уже в открытой форме областнических тенденций, давно гнездившихся в передовых слоях местной сибирской буржуазии. Выше (см. вводный комментарий к главе «Зарождение сибирского областничества») мы показали, что «автономистские» тенденции сибирской буржуазии 20—30-х годов XIX века (до начала частной золотопромышленности) питались осознанием своей растущей общественной силы, основанной на росте экономического могущества. Торговая монополия, монополизация в руках купечества драгоценной продукции пушного промысла, жестокая эксплоатация трудящегося населения Сибири повели к быстрому обогащению сибирских купцов; среди них еще в начале XIX в. было немало миллионеров (иркутские купцы Сибиряковы, Баснины, Медведниковы и др.). Сибирские купцы уже начинали было мечтать об освобождении, по крайней мере в своей торгово-промышленной деятельности, от стеснительной и вымогательской опеки попечительного местного начальства. В Сибири мы—цари и боги! Так можно формулировать настроения сибирских толстосумов начала XIX века.

Бурно развивавшаяся, начиная с 30—40-х годов, частная золотопромышленность Сибири принесла сибирскому купечеству новые миллионы, но в то же время положила предел развитию ее автономистских устремлений.

Золотопромышленность открывала дорогу в Сибирь капиталу, российскому и иностранному. Крупные дельцы несибирского происхождения привнесли в среду сибирской буржуазии опыт и навыки более развитого капитализма. Грубые сибирские таежные приемы сочетались с методами европейской изворотливости и сговором с местной властью. Союз с местной администрацией оказался для сибирской буржуазии тем более необходимым, что ей в эту эпоху приходилось устанавливать отношения с новым, нарастающим в Сибири классом—приисковыми рабочими.

Действительно, мы видим, что столь резкая в начале XIX века борьба между сибирскою буржуазией и местной администрацией в 30-х годах переходит в мирное сожительство, за счет совместной эксплоатации труда золотопромышленных рабочих. Горный исправник и казаки нужны были золотопромышленникам для того, чтобы держать в страхе и подчинении пеструю массу приисковых рабочих, вербовавшуюся в ту эпоху главным образом из ссыльно-поселенцев и закабаленных крестьян-бедняков.

В 1837 г. на частных приисках Сибири было добыто 106 пудов золота, в 1842 г.—575 пудов, в 1847 г.—1370 пудов, а в 1852 г.—только 900 пудов. «В 50-х и 60-х годах слышатся уже жалобы и плач на истощение золота; оказалось, что приемы нашей разработки золотых руд были такие же хищнические, как и в других отраслях промышленности» (Н. М. Ядринцев «Сибирь как колония», СПБ, 1882 г., стр. 238; см. также «Сибирская советская энциклопедия», т. II, ст. «Золотопромышленность», и др. источники).

Истощение—хотя и временное *—золотопромышленности не могло не вызывать известного кризиса в экономической жизни Сибири, что благоприятствовало возрождению стремлений к более серьезной и более прочной эксплоатации богатств этого края.

В таких исторических условиях в далеком Петербурге, в кружке сибирских буржуазных и мелкобуржуазных интеллигентов, основанном Григорием Николаевичем Потаниным и Николаем Михайловичем Ядринцевым, закладываются первоначальные основы того общественного движения, которое впоследствии получило название сибирского областничества. Сибирское областничество не висело в воздухе и не было

* Вскоре начался новый подъем золотодобычи за счет эксплоатации новых золотоносных районов в Восточной Сибири (Олекма, Витим и др.). Центры сибирской золотопромышленности перемещаются постепенно на восток, в то время как гремевший в 40—50-х гг. Енисейский район падает все более и более. Вообще говоря, кривая золотодобычи в Сибири растет в абсолютных цифрах вплоть до конца XIX в., но рост ее напоминает кривую температуры лихорадочного больного, с резкими взлетами и падениями по отдельным районам. Развитие сибирской золотопромышленности сопровождалось частыми кризисами и банкротствами даже очень крупных золотопромышленников.

«импортировано» в Сибирь извне, из столицы, а опиралось на интересы местной сибирской торгово-промышленной буржуазии.

Само собою разумеется, было бы слишком вульгарным объяснять возрождение в 60-х годах «сибирского патриотизма»—как называли на первых порах свое движение молодые сибирские областники—одними лишь экономическими интересами местной сибирской буржуазии. В формировании идеологии молодых сибирских областников большую роль сыграл общий либеральный «дух времени», либерально-просветительские идеи современной либерально-буржуазной, отчасти и народнической, публицистики оказали на Ядринцева и Потанина очень сильное влияние *. Но никакая социальная мимикрия областников не может скрыть от глаз историка того основного факта, что сибирское областническое движение всегда, во все исторические эпохи, питалось в конечном счете групповыми настроениями местной сибирской буржуазии—пусть даже несколько окрашенными в либеральный по временам цвет.

Сам Г. Н. Потанин рассказал об этом в своей брошюре «Областническая тенденция в Сибири» (Томск, 1907 г., стр. 17—18), представляющей собою катехизис сибирского областничества:

«Капля за каплей скоплялись элементы для составления сибирской областной программы; к отъезду Ядринцева из Петербурга (в конце 1863 г.—Б. Ж.) главные пункты этой программы были намечены. На первую очередь ставился вопрос об отмене ссылки; молодые сибиряки думали, что это такой же основной вопрос для Сибири, как отмена крепостного права для европейской России... Затем ставился вопрос о мануфактурном иге, которое налагал на Сибирь московский фабричный район (разрядка моя—Б. Ж.). Третий вопрос, почитавшийся одинаково важным с двумя предыдущими,—это был вопрос о сибирской интеллигенции... Считали за необходимое вести борьбу против абсентеизма молодых сил Сибири; это приводило к мысли об учреждении сибирского университета».

* Впоследствии в своих воспоминаниях о жившем в 50-х гг. в Омске в ссылке петрашевце С. Ф. Дурове Потанин утверждал, что перелому в своих политических воззрениях он обязан прежде всего Дурову (см. Г. Потанин. Встреча с С. Ф. Дуровым—«На славном посту. Сборник в честь Н. К. Михайловского», СПБ, 1900 г., стр. 255—265). Но, конечно, Потанина трудно считать «настоящим» петрашевцем или вообще социалистом: налет утопического социализма народнического толка, какой заметен в ранних публицистических выступлениях молодых Потанина и Ядринцева, улетучился довольно быстро. Нужно отметить также сильное влияние на Ядринцева и Потанина современных им историков—«федералистов» Н. И. Костомарова и А. П. Щапова, пропагандировавших в 60-х годах мысль, что история является не историей царей, а историей народа, и что жизнь народных масс часто развивается независимо от предначертаний центральной власти.

На первый взгляд эта программа молодых сибирских областников как будто противоречит утверждению о буржуазно-классовом ее характере. Отмена ссылки в Сибирь—явно либеральное, даже радикальное требование. Но стоит только внимательней вчитаться далее в потанинскую программу, как станет ясным, что речь идет лишь об отмене уголовной ссылки, наносившей, по мнению не одних только областников, Сибири громадный вред. Гораздо более острый для русской демократической общественности времен царизма вопрос об отмене ссылки политической «скромно» оставлен в стороне.

Этого нельзя объяснить одними только цензурными условиями русской печати при царизме. В другом месте Потанин открыто признал, что сибирская буржуазия «могла бы мириться» с ссылкой в Сибирь лучших, революционно-демократических элементов русского общества за политические «преступления» против царизма, при условии, если будет отменена ссылка за уголовные преступления (см. статью Потанина в сборнике «Сибирь и ее нужды», СПБ, 1908 г., стр. 275). Отмена политической ссылки в Сибирь не входила в задачи сибирской буржуазии, т. к. она издавна, со времен декабристов, привыкла использовать беспомощное положение политических ссыльных в своих интересах (см. выше, вводный комментарий к главе «Сибирское общество и декабристы») *.

Не то было со ссылкой уголовной. В указанной выше брошюре (стр. 23—24) Потанин ярко нарисовал две борющиеся фигуры: «(сибирский—Б. Ж.) крестьянин верхом на лошади с винтовкой в руке, и бродяга с котомкой и туяском, представитель колонии и представитель метрополии». Между «чалдоном»—«педантом порядка и домовитости» и «ташкентцем в опорках, шатким в понятиях о нравственности, но твердым в уверенности в своем превосходстве над чалдоном» идет непримиримая борьба; деклассированные, потерявшие способность к труду ссыльно-поселенцы и бродяги приносят сибирскому крестьянскому хозяйству больше вреда, чем пользы; отмена уголовной ссылки в интересах прежде всего сибирского крестьянина.

Областники стремились опираться не только на местную сибирскую торгово-промышленную буржуазию, но и на зажиточную верхушку сибирского крестьянства («Чувство, вызывавшее областническую идею, нужно искать в умах сибирского кресть-

* Г. Н. Потанин, говоря о своем первом публицистическом выступлении против уголовной ссылки в Сибирь, обронил характерную фразу:

«Во мне тогда уже говорил больше сибирский патриот, чем русский гражданин, возмущенный полицейским режимом» (см. воспоминания Г. Н. Потанина, газ. «Сибирская жизнь», 1913 г. № 93).

Таким образом, сами областники подчеркивали, что их борьба за отмену ссылки в Сибирь вызывалась не ненавистью к самодержавно-полицейскому произволу, а совсем иными мотивами.

янства»,—писал Потанин). Вопрос об отмене ссылки в Сибирь ставился ими в этом классовом разрезе *.

В свете этого явления борьба сибирских областников за отмену уголовной ссылки в Сибирь в значительной мере теряет свой радикализм.

Второй вопрос о «мануфактурном иге» московского текстильного района над неразвитой в индустриальном отношении Сибирью был уже явно выдвинут групповыми интересами сибирской торговой буржуазии. По свидетельству Потанина (указанная брошюра, стр. 7—8), еще в 40-х годах, т. е. задолго до Потанина и Ядринцева, «у сибирской молодежи появилась опасная с государственной точки зрения идея, что золото, пушнина, лесное богатство, рыбные оброчные статьи должны составлять достояние области»—т. е. местной сибирской буржуазии, как наиболее активного класса, способного использовать эти богатства. Областники только публицистически оформили и резче формулировали эту буржуазную идею. За либеральным по виду противопоставлением интересов задавленной, ограбленной колонии Сибири и хищнической метрополии скрывалась в сущности экономическая борьба между капиталистами промышленного центра и местной сибирской буржуазией за право безраздельно грабить богатую Сибирь.

В своей известной книге «Сибирь как колония» Н. М. Ядринцев положил немало труда на защиту «угнетенного» сибирского торговца от кредитной кабалы со стороны московских мануфактуристов. «Сибирский торговец,—писал Ядринцев (разрядка ниже моя—Б. Ж.)—агент мануфактуриста. Чтобы получить больше барыша себе при сдаче сырья на ярмарке или этим сырьем пополнить долг за розданную мануфактуру, он старается возможно понизить цену сырья, как можно менее давая производителю (т. е. сибирскому крестьянину—Б. Ж.) и этим опять служит целям и выгодам мануфактуриста... Торговец помнит, что и он должник (московского мануфактуриста—Б. Ж.), а потому кабалит другого. Вот что должно считаться источником сибирской кабалы». Стоит, значит, сибирскому купечеству освободиться от долгового подчинения московским мануфактуристам, и торговая кабала в Сибири падет сама собою, ибо сибирский купец кабалит сибирского крестьяни-

* Ср. Ядринцев «Сибирь как колония», стр. 164—222; Ядринцев фактами и цифрами доказывал, что уголовная ссылка лежит тяжелым бременем на местном сибирском крестьянском населении.

Дурное мнение сибирских крестьян о ссыльно-поселенцах подтверждено было в те же годы известным писателем-этнографом С. В. Максимовым, которого никак нельзя назвать сибирским областником: «Редкий из сибирских крестьян охотно соглашается взять к себе поселенца даже на простых обязательствах работника» («Сибирь и каторга», ч. 1, стр. 244). Но Максимов, в противоположность Ядринцеву и Потанину, привел немало ярких фактов зверской эксплоатации поселенцев сибирскими кулаками.

на, рабочего и так называемого «туземца» лишь по нужде. Рассуждение наивное и совершенно неубедительное.

В 80-х годах прошлого столетия могло казаться, что областники, требуя индустриального развития отсталой Сибири, защищают интересы не только сибирской буржуазии, но и местного трудового населения. Но тот же Ядринцев проговорился о том, куда привело бы в условиях капиталистического строя осуществление экономической программы областников. «Сибирь—восклицал Ядринцев (разрядка моя—Б. Ж.)—по отношению к соседним дикарям (?!—Б. Ж.) и рынкам Азии должна когда-нибудь играть роль мануфактурного рынка». Здесь хищные зубы сибирской буржуазии видны ясно.

Наконец, третий пункт программы сибирских областников, которым они гордились больше всего,—открытие в Сибири университета и создание местной интеллигенции—также не противоречил, а совпадал с интересами сибирской буржуазии. Росла частная золотопромышленность и торговля, росли сибирские города. Укрепление и организация предприятий требовали размаха и знаний, которых у сибирской буржуазии не было. Усложняющееся городское хозяйство также предъявляло спрос на культурные силы. Сибирские промышленники и купцы охотно стали бы пользоваться трудом образованных местных интеллигентов, как пользовались они, за неимением своей интеллигенции, трудом политических ссыльных. Воспитание своей местной интеллигенции становилось неотложной необходимостью.

Таким образом, мы видим, что выдвинутая в 60-х годах Ядринцевым и Потаниным программа экономического и культурного развития Сибири была по существу весьма умеренной программой буржуазно-либеральных реформ в рамках существующего строя. Даже «страшное» с точки зрения царской бюрократии требование административно-хозяйственной автономии Сибири и созыва сибирской «областной думы» отнюдь не было революционным требованием, что весьма ярко выявилось в период сибирской контрреволюции 1918 года.

Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев были, по своей идеологии, плотью от плоти и кровью от крови сибирской торгово-промышленной и сельскохозяйственной буржуазии. Студенческий мундир на их плечах, либеральная, с народническим несколько оттенком, фразеология, перенесенные по приговору царского суда страдания не могут затушевать в глазах современного советского читателя буржуазного характера их идеологии и их общественной деятельности. Сами «отцы» сибирского областничества высказывались открыто о том, на какой класс они хотели бы опираться в своей общественной борьбе. В 1872 г. Ядринцев писал из ссылки Потанину:

«Для нашей буржуазии я желал бы наметить некоторые правила. С мыслью писать временами для нее я не расстался. Наша

промышленность все-таки в ее руках... Говоря о промышленности нации, государства, нельзя не говорить с буржуазией или с людьми, у которых в руках инициатива. Иначе будешь не публицистом, а абстрактным мечтателем» (Письма Н. М. Ядринцева к Г. Н. Потанину, Красноярск, 1918 г., стр. 51).

Утверждая прогрессивность буржуазно-капиталистической инициативы в условиях отсталой Сибири, Ядринцев уверял Потанина, что «наши (т. е. сибирские—Б. Ж.) буржуазные инстинкты не похожи по качеству на западноевропейские... Они иногда приносят пользу молодым странам, отождествляясь с мотивом предприимчивости; наконец у нас общество никогда не выродит сильную денежную аристократию, примеры которой представляли прежде Голландия, Венеция, ныне Англия,—напротив, по составу населения мы походим скорее на Норвегию и С. А. (Соединенные) Штаты, т. е. преобладает элемент демократический» (там же, стр. 141. Разрядка моя—Б. Ж.).

В другом письме (от 12/VII-1872 г.) Ядринцев выразился еще определеннее:

«Я полагаю, что внушение буржуазии настоящих интересов страны и перехода к заводской и фабричной промышленности все-таки прогрессивный шаг и плодотворный для истории. Он способствует естественному течению жизни и не расходится в одной своей половине с идеалом будущего...» (Разрядка моя—Б. Ж.).

Однако «американизировать» чумазую сибирскую буржуазию областникам не удалось.

В свете этих необходимых комментариев советскому читателю станет понятнее печатаемый ниже отрывок из «Студенческих и литературных воспоминаний сибиряка» Н. М. Ядринцева *.

Воспоминания эти проникнуты специфически-областническим пафосом, но все же остаются одним из самых ярких документов общественной жизни старой Сибири. Особенно интересны те характеристики, которые дает Ядринцев своим соратникам по областническому делу и современным ему писателям-сибирякам (Г. Н. Потанину, С. С. Шашкову, И. В. Федорову-Омулевскому, Н. И. Наумову), хотя эти характеристики и страдают большой субъективностью.

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ И СТУДЕНЧЕСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ СИБИРЯКА».

Конец 50-х и начало 60-х годов были эпохою, когда литературные стремления и страсти охватывали живо общество и всех близко стоявших к просвещению. Даже в отдаленную провин-

* Воспоминания Ядринцева печатаются по тексту газеты «Восточное обозрение», 1884 г., №№ 6, 26, 33 и 34.

цию и в Сибирь проникала струя литературного увлечения. Проезжие служащие лица, студенты, появлявшиеся на вакат в городах Сибири, завозили новости, слухи, и эти вести в безжизненном обществе, среди апатии, неведения звучали тем резче и неотразимее. Кто-то проехал на Амур и закинул весть об освобождении крестьян, наехали студенты с новыми взглядами и теориями, проскакал через Сибирь какой-то литератор. Помню проезд через Сибирь С. В. Максимова и впечатление, произведенное этим проездом [1]. Телеграфа не было, газеты мало читали, журналы также, общество не было еще приучено к чтению, новость открывалась случайно и внезапно. Нет, нет да кто-нибудь и наткнется на новую невиданную книжку журнала или в «Русском вестнике» откроет такую смелую штуку, которая ранее и во сне не снилась [2]. Правда, и в сибирском обществе находились чуткие наблюдатели и комментаторы нового веяния, но это были избранные по способностям или слишком исключительные, закинутые в Сибирь личности, которые беседовали и предусматривали события в кабинетах и в тесном кружке. Общество же было лишено предвидения.

Наконец, шелохнулась, помню, и наша старая гимназия. Какими-то путями проник в нее Белинский, за которого мы с жадностью ухватились... Товарищи начали знакомиться со многим и другим из современной литературы. Я говорил уже, какое впечатление произвел своим появлением Щукин; он первый привез в наш город литературные новости и развивал кругом любовь к литературе [3]. Кружок гимназистов был его поклонником, он добывал все лучшие сочинения, проливал новый свет на Гоголя, трогал живые темы, философствовал, учил, составлял литературные беседы и вечера. На этих вечерах собирался старый и малый...

У нас, гимназистов, был небольшой кружок, также чуткий к литературе. Мы уже ранее кое-что читали, любили Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, кое-кто пописывал стихи. Щукин взялся направлять наши литературные призвания, лелеял их и поощрял всеми средствами. В открытии талантов он доходил до комического обольщения. Встретив, например, купеческого сына, пишущего стишки, он воображал, что открыл поэта и озабоченно говорил, что его опыты надо послать Добролюбову и т. д. Наши детские произведения он выслушивал со вниманием и разбирал, в какой журнал они могли пойти. Здесь была масса обольщения, но в то же время это поощряло нас работать и открывать свои призвания.

...Явившись в Петербург, нас сразу обдало литературным движением и охватило страстью к литературе [4]. Мы с величайшей жадностью читали все выходившее из-под пера тогдашних писателей. Я сейчас же приобрел избранную библиотеку из всех лучших произведений русской литературы. Интересы литературы близко касались тогдашней учащейся молодежи. Мы читали,

спорили, философствовали, многих писателей знали в лицо. На похоронах Мартынова я видел, как давала место учащаяся молодежь любимым писателям. Помню, толпа задержала около могилы В. С. Курочкина, но вдруг раздалась масса голосов: «Господа, Курочкина не пускают. Пропустите! ведь это Василий Степанович Курочкин!» [5].

Знакомство с литераторами и редакциями у нас завелось не сразу. Мы немало читали, но не все кинулись писать и не все были к этому готовы. Один из самых подготовленных был Г. Н. П(отани)н [6]. Явившись в Петербург учиться без средств, он вынужден был испробовать литературное призвание и дебютировал не без успеха. Его участие началось в «Русском слове», где он поместил воспоминание о приисковой жизни, а затем «Полгода, проведенные в Алтае», одно из свежих и интересных своих воспоминаний. Гонорар, полученный им, послужил поддержкою его скромного существования...

Другим литератором из сибиряков, с которым я встретился (в Петербурге—Б. Ж.), был И. В. Федоров-Омулевский [7]. Его произведения я читал уже у Щукина в рукописи... И. В. Федоров в тогдашнее время был очень молод, талант его развертывался исключительно под влиянием обличительного направления. Он писал массу сатирических и юмористических стихов, эпиграммы и т. д. После первого знакомства он сообщил о намерении создать газету наподобие «Искры», имевшей огромное значение. Тем не менее я помню первый его неудачный литературный дебют с сонетами Мицкевича, подвергшимися суровой критике. Видя ныне в покойном, а тогда в юном И. В. Федорове талант, мы не могли не заметить все-таки некоторого отсутствия серьезной научной подготовки. Желая быть современным и тенденциозным, он насиловал себя и усваивал многое чисто внешним образом. Недостаток этот не исчез у него до самой смерти. К сожалению, тогдашние корифеи и покровители его развивали и поощряли в нем именно эту сторону, а безыскусственным лирическим произведениям его не придавали цены. Сам Омулевский, по настроению тогдашней жизни, рвался сделаться тенденциозным поэтом, для чего, однако, у него не было самого главного— серьезного образования, придающего убеждениям силу и известную самостоятельность взгляда. Он мог быть только подражателем в этом роде. Заурядная, шаблонная тенденция без подготовки губила только его талант, а с другим родом поэзии примириться он не хотел, как и соразмерить свои силы. Оттого в его произведениях остается так мало безыскусственного и самостоятельного. Воспитанный известной средой и петербургским руководительством, он впоследствии испытал горькую участь быть осужденным за отсутствие поэтического таланта теми, кто более всего способствовал неверному направлению этого таланта. Не входя в оценку его литературной карьеры, мы должны сказать, что известный талант в нем был, что натура это была чут-

кая, впечатлительная, художественная, он любил литературу, воспитывал себя на ней и крепко работал. Масса сил его впоследствии ушла на ремесленное добывание куска хлеба. Как горько доставался ему этот хлеб, известно из биографии и некрологов [8].

Мы застали его в блестящую пору его планов, надежд. Он был неистощимо весел и постоянно в припадках вдохновения... Жил он как художник и поэт. П(отанин), познакомившись с ним, застал его живущим вместе с учеником художественной академии в маленькой, но чистенькой квартире с живописным беспорядком. Бывая у него, я припоминаю кучу горшков с красками. Сам И. В. Федоров бывал изящно одет, опрятен, деликатен и конфузлив. П(отанин) передал мне, что, сделав ему первый визит, он застал его утром с щеткой в руках, что смутило очень хозяина, но он тотчас же ответил гостю фразой: «Извините, знаете, наш общий друг Теккерей сказал, что кто не имеет прислуги, тот сам себе комнату метет». И. В. Федоров в это время с своей деликатной, красивой наружностью и поэтическим видом был любимцем женщин и, кажется, в его молодости не раз билось его сердце счастливым волнением от побед над женщинами. Горькая жизнь впоследствии, конечно, стерла эти розы юности.

После И. В. Федорова нашим знакомым и товарищем был выступавший писатель, земляк Н. И. Н(аумо)в; тогда он еще не был известен рассказами из народной жизни [9]. Приехав в Петербург и начав, по обыкновению, тяжелую, полную лишений жизнь, он должен был вскоре также приняться за перо и обработал свои наблюдения над солдатскою жизнью, дав несколько очерков в «Светоче», издававшемся Милюковым. Н. И. Н(аумо)в имел уж определенное призвание и литературный навык. Он начал писать в гимназии, конечно, с подражаний, писал во время военной службы, упражнял себя во всех родах литературных произведений, хотя, конечно, вполне по-детски, но у него выработался благодаря этому литературный слог и манера. Литературный талант его был замечен сразу. Поместив свои очерки в журнале, Н(аумо)в получил доступ в один литературный кружок, и я помню его восторженные рассказы по возвращении с вечеров, где он видел и такого-то писателя и такую-то знаменитость. Удачный литературный дебют его по части рассказов из военного быта не устранил однако испытываемой горькой нужды в Петербурге и давал только временное и случайное обеспечение. Н(аумов) был молод, весел и беспечен, как и все мы. Литературный талант тогда, однако, не гарантировал его от бедственной жизни и скоро он должен был отправиться на родину, поступив в коронную службу. Только через несколько лет он воротился опять к своему призванию.

Не менее выдающимся дарованием, хотя и в другом роде, заявил себя в Петербурге и еще один наш земляк, с которым мы свели тогда знакомство, а именно С. С. Шашков [10]. Мы услыша-

ли о нем через некоторых из учеников духовной академии. С. С. Шашков, когда мы познакомились с ним, оставил духовную академию и перешел в университет на восточный факультет, где был однако недолго. Происходя из священнических детей, как известно из его биографии, он учился в иркутской семинарии, а затем в казанской духовной академии, где был замечен в истории по поводу панихиды над бездненскими жертвами [11]. Дарования С. С. Шашкова сказались в детстве, в Иркутске он уже писал стихи и сатиры; сатирическое направление не оставляло его целую жизнь. Когда мы познакомились с ним в Петербурге, он уже успел поместить кое-что в тогдашнем журнале «Век», издававшемся артельно [12], и составлял ученые и исторические статьи... Мы нашли Серафима Серафимовича, ныне также покойного, серьезным и весьма трудолюбивым юношей. Он основательно знал уже немецкий язык и читал много путешествий; кроме того, у него было основательное знание истории и привычка заниматься научной литературой. После П(отанина) это был самый образованный из моих земляков того времени. Способности у него были блестящие, память изумительная и трудолюбие замечательное. Застали мы его бедняком, в квартире дома Фридерикса, среди книг и рукописей. Сюда я часто заходил к нему и всегда встречал его за какой-нибудь очередной работой. Он говорил мало о своих планах и произведениях, над которыми работал; эта привычка к сдержанности сохранялась за ним всю жизнь... С. С. Шашков вел необыкновенно скромную жизнь в Петербурге; познакомившись с студентами, он не принимал никакого участия в веселье и кутежах. Живой ум и юмор его проявлялся однако часто самым блестящим образом. Он пробовал свое сатирическое перо и в «Искре». Кстати сказать здесь, что юмористические и сатирические наклонности были общею чертою наших сибиряков-писателей. Не знаю, имеет ли это связь вообще с нашим характером, но Щапов отметил черту насмешливости у сибирских жителей [13]. Теперь из приведенных лиц я припоминаю, что Щукин был большой насмешник в частной жизни и обличитель по натуре, у него было много иронии в рассказах. П(отанин) не прочь был поиронизировать добродушно; насмешливость, тонкая сатира всегда проявлялись в произведениях Г. З. Елисеева [14]. Н. И. Н(аумо)в слыл зоилом даже в гимназии, он был одним из юмористов «Искры». Я начал свое литературное поприще произведениями в юмористическом роде и впоследствии любил памфлетный род; даже Федоров-Омулевский пробовал себя в сатире и в юмористическом роде, хотя это плохо ему удавалось [15]. Шашков был положительно с сатирическим направлением, что мешало ему, как историку вообще и как историку литературы в частности; Щапов имел острую обличительную сторону; прибавьте к этому двух сибирских художников-карикатуристов, выступавших в 60-х и 70-х годах, М. С. Знаменского и Калганова [16], и вы увидите, какая доля сатирических

призваний располагалась в маленьком кругу сибирских писателей.

С. С. Шашков написал в своей жизни немало сатирических стихов, в большинстве, к сожалению, неизвестных в печати. Дарования его давали себя чувствовать. Петербург его направлял на серьезную дорогу и, останься он здесь, из него несомненно вышел бы очень видный ученый деятель. Я видел несколько раз в жизни, с какой легкостью он усваивал и как овладевал языками и различными отраслями знания, изучая постепенно историю, юридическую науку, экономическую литературу, работая по женскому вопросу, а впоследствии отдавшись истории литературы. С. С. Шашков много поработал на поприще русской журналистики, хотя все обстоятельства жизни с самого начала не благоприятствовали ему; уже самая петербургская жизнь давалась ему нелегко. Можно ли было думать о серьезных научных работах, которые требовали времени, когда он должен был в то же время обрабатывать свои произведения месяц, два, среди лишений. Понятно, что он перешел к журнальным компиляциям. Неблагодарный труд, лишения, наконец, явившаяся общая нам всем потребность местной деятельности заставили его оставить Петербург в 1863 г., подобно другим [17].

...Акт нашего местного самосознания совпал с великим актом пробуждения русской жизни. Мы помним это время. Не умолк еще гул последнего пушечного выстрела на крымском полуострове, еще пахло дымом и он не успел рассеяться, подобно туману после кровопролитной войны, а над русскою землею всходило яркое солнце, солнце новой жизни и обновления. Оно встретило нас, когда мы явились с нашей далекой родины в университеты в конце 50-х годов. Нечего говорить, что университет, особенно петербургский, играл тогда роль фокуса, отражавшего умственную жизнь всего общества, и был центром обмена идей между лучшими представителями старого поколения и восприимчивыми поколениями новыми. Мы, сибиряки конца 50-х и начала 60-х годов, перезнакомились в университете. Землячество наше и прежде давало себя чувствовать в университетах, например, в казанском, но в Петербурге до 60-х годов слишком мало было наших, чтобы группироваться... В 60-м году в Петербург нахлынула масса казанцев, преимущественно с закрытого камерального (землемерного—Б. Ж.) факультета, наконец, прибыло много молодых людей из Сибири. Мы перезнакомились. Казанцы были добрые малые, беззаветные бурши, прекрасные товарищи, певцы, любители кутнуть, но люди мало развитые: у них слышались только казанские воспоминания о какой-то «ласточке», о кутежах в Гончарной, о силачах, о каких-то боях с Резяповым во главе, о столкновениях с полицией, в конце обыкновенно они пили пиво и пели казанские студенческие песни «Стою один я пред избушкой» и проч. Они также привезли в Петербург с со-

бою и наклонность поиграть в карты, что ужасно, помню, шокировало петербургских сибиряков.

Не помню, как пришла мысль сгруппироваться нам и познакомиться. Но эта мысль, кажется, принадлежала первому П(отанин)у, личности, которая выдавалась своими способностями, серьезными занятиями, замечательным умом и любовью к Сибири.

Я познакомился с П(отаниным) через Щукина, давшего мне к нему и другим студентам не сибирякам письма.

Я застал П(отанина) в квартире на Васильевском острове; помню его почти всегда расхаживавшего с книгою по комнате, увлеченного естествознанием, но читавшего также много по тогдашней литературе и знакомого уже с общественными вопросами. С первого разговора, я помню, речь зашла уже о сибиряках в Петербурге и о необходимости перезнакомиться. Надо заметить, что это знакомство не имело в виду вовсе какой-нибудь утилитарной и практической цели вроде кассы взаимной поддержки, нет! П(отанин) проповедывал сближение, как потребность чисто платоническую видеться с земляками, вспоминать родину и придумать, чем мы можем быть ей полезны. Идея сознательного служения краю в тот момент, когда в европейской России пробуждалось тоже самосознание, вот идея, которая легла в основу нашего сближения. Я помню, что в наших разговорах с П(отаниным) мы часто касались этой темы. Мы отдавали друг другу отчет о наших привязанностях, говорили, как о решенном вопросе, о нашем возвращении домой, хотя у меня не осталось близких родственников на родине, говорили, что те же намерения нужно поддерживать в других. П(отанин) уже много читал и начинал писать о Сибири.

Знакомство мое с другими земляками началось в университете. Их было уже немало. Понемногу мне представлял П(отанин) то студента-юриста сибиряка, то естественника. Здесь были юристы П(ер)фильев, братья П(авли)новы, Красиков, Березовский, братья Лосевы, Шешуков—технолог. П(отанин), при всей своей кабинетности и несветскости, однако, обладал завидною способностью не только сближаться, но угадывать характер и способности у земляков (талант, всю жизнь не оставлявший его и давший немало полезных слуг родине). Одного мне он рекомендовал, как будущего техника в Сибири, другого, как талантливого музыканта, третьего как химика, иных он отличал за их мягкую, симпатичную натуру. Он умел сближать сибиряков не в одном университете. В академии художеств у него был уже знакомый художник из Иркутска, Песков [18], в это же самое время был в Петербурге Федоров-Омулевский, с которым П(отанин) познакомился через Щукина.

В беседах с П(отаниным) я не только сходился, но увлекался его умом, его талантами и он был для меня первым ментором,

наставником, он же определил мое призвание. Я фанатически последовал его патриотической идее и мы начали развивать мысль среди товарищей о необходимости группирования. Все охотно разделяли эту мысль—иные сознательно, иные инстинктивно.

Идея соединиться сибирякам в Петербурге и познакомиться привлекала своею новизною и оригинальностью. Я замечал, что вообще мои земляки чувствуют свою близость и родство только на чужбине, но на родине это весьма редко дает себя чувствовать, разве только тогда, когда среди сибиряков является «наезжий» человек и подзадорит их, ругая Сибирь. В Петербурге картина сближения разных представителей окраины имеет в себе нечто особенное. Немудрено, что томич льнет к томичу и иркутянин к иркутянину, если они вдобавок воспитывались в одной гимназии и купались одинаково в холодных водах Ангары или Томи; но весьма любопытно было видеть, как соединялись представитель Камчатки, якут с тоболяком, забайкалец с омским казаком, бурят с томичем, и чувствовали, что у них бьется одно сердце. П(отанин) употреблял старания перезнакомить всех и наводил всегда справки, нет ли в каком учебном заведении еще земляков.

Сближение началось. Наконец мы устроили сибирское собрание в какой-то большой студенческой квартире. Я помогал П(отанину) со всем старанием. Мы ждали, какой результат будет иметь это сближение. Сходка вышла шумная и оживленная, как всегда бывают студенческие собрания; в ней трудно было, однако, уже не заметить земляческих симпатий, хотя все это было крайне хаотично, нескладно и за шумом и разнообразием знакомств трудно было что-нибудь разобрать. Собралось, помнится, человек 20. На этой сходке я видел бурята Пирожкова, деликатную и уже интеллигентную личность, джентльмена в цилиндре, но с бурятским лицом. Он изучал Гегеля и интересовался философией,—как посвятил меня П(отанин); здесь я познакомился с И. В. Федоровым-Омулевским, веселым, розовым юношей с золотыми кудрями до плеч, в художническом бархатном сюртучке; здесь присутствовал симпатичный юрист Н. М. П. с рафаэлевской головкой; целая группа казанских бурсшей шумела с своей необузданной веселостью; привычки воспитанного петербургского дендизма мешались с студенческой развязностью и иногда неуклюжестью семинариста...

Наше собрание было первым свиданием сибиряков. На этом вечере не было ни подготовленных заранее искусственно вопросов, ни организованных словопрений и речей, все носило товарищески-семейный характер. В конце, после первых знакомств и шумных земляческих излияний, невольно выступил вопрос о поддержании сношений между земляками, а также о продолжении собраний; подобная мысль была, конечно, единодушно принята, но затем выступил и другой вопрос, делать ли эти вечера доступ-

ными и для не сибиряков, допускать ли других лиц или собрания сделать только чисто-сибирскими, земляческими. Вопрос этот, выплывший внезапно и неожиданно, как всегда у юношей, сейчас же получил несколько решительный и страстный оттенок. Присутствующие, и даже большинство, высказались за то, чтобы собрания были чисто-земляческие, а посторонние люди сюда не были бы приглашаемы; этот эпизод поставил в конфузливое положение присутствовавших на первом собрании гостей. Вышло, как будто бы, сначала их пригласив, потом выключили, но эта неловкость была смягчена юношеским добродушием и откровенностью.

Был и другой эпизод—в собрании выплыл между прочим и вопрос хозяйственный. На собраниях предполагался чай, наконец, нужна была поместительная квартира. Вопрос о квартире вырешился тем, что положили делать студенческие вечера по очереди; что касается вопроса об угощении, то он, от несоразмерной важности, получил внезапно комическое направление. Он был сведен к вопросу, делать ли вечера с закуской и пивом или без закуски с одним чаем. Зная студенческие нравы и юношеские темпераменты, некоторые здесь увидели вопрос немаловажный для будущности собраний. Лица, стоявшие за интеллигентный характер собраний, решительно протестовали против закусок, водки и пива, но они оказались в меньшинстве и могли отвоевать, как всегда, у радикальной партии, сохранившей в данном случае наследственные пиршеские инстинкты своей родины, некоторый компромисс, а именно, если уже допускать закуски и возлияния, то по крайней мере в конце собраний, после 11 часов. Помню, мы немало потешались над простодушным Омулевским, который употребил немало диалектики, доказывая, что после долгих патриотических разговоров у него может в глотке пересохнуть.

Этот комический эпизод на сибирском собрании дал впоследствии пищу рассказам и достиг литературных сфер, причем, говорят, влиятельный журналист Ч. [19] много смеялся над характером выступившего вопроса.

В конце мы все-таки собранием остались довольны; начало было сделано, оставалось поддержать связи. Действительно, вслед за тем последовал другой и третий вечер, причем иностранец художник Джогин предложил патриотической партии даже свою гостеприимную космополитическую квартиру. Кто-то на собрании непременно пожелал «пельменей» и пельмени были сделаны, а И. В. Федоров-Омулевский написал к ним шутливое стихотворение. Сходки заканчивались веселым пением студенческих песен, которые продолжались нередко и на улице при возвращении на квартиры, причем васильевские бутари только слегка качали головой и грозили шутливо пальцем. Времена были патриархальные, мировых (судей—Б. Ж.) не было, а сердца бутарей тоже пребывали умягченными, может быть, благодаря

весеннему сезону общественной жизни. Сермяжная броня улыбалась юности.

Решившись собираться, никто не спрашивал и не задавал вопроса: «зачем и для чего?» Этот вопрос казался молчаливо разрешенным. «Земляки»—стало быть, как же не видеться. Наиболее заинтересованные судьбою этого сближения, однако, чувствовали потребность мысли, идеи и даже какой-нибудь практической задачи; понемногу и они начали являться, но не вдруг, не сразу. Между сибиряками были люди неглупые и начинали думать о судьбе своей родины, ее интересах и будущей деятельности в крае. Конечно, трудно было в молодой студенческой среде явиться определенным задачам и, сидя в Петербурге еще на школьной скамье, изобретать практическое дело. Помню, однако, что на этих собраниях впервые раздался вопрос о значении в крае университета и необходимости его для Сибири. Мысль эта всем пришлась по душе. Конечно, в честь этого следовали шумные брудершафты. Здесь же в товарищеских разговорах развивалась мысль о необходимости подготовки к будущей деятельности в Сибири, о необходимости изучать край и читать о нем сочинения, явилась мысль составлять библиографию книг сибирских, причем П(отанин) брался руководить этим делом, и я долго в своей жизни хранил выписки из каталогов публичной библиотеки, пока эти клочки не разнес ветер моей скитальческой жизни [20]. Тот же П(отанин) советовал издать календарь или памятную книжку и рекомендовал мне быть издателем, причем я изъявил горячую готовность. Говорили о будущем журнале, газете,—словом вопросы росли. В конце все соединялось на убеждении и вере, что нашей отдаленной окраине предстоит блестящая будущность. Эта вера, это горделивое чувство самосознания и убеждения в том, что и мы члены социальной группы, дети страны, имеющей историю и будущность, поднимали дух и нередко исполняли нас юношеского восторга, заканчивавшегося горячим земляческим поцелуем.

Эта идея и мысль служить своему краю, любить его, отдать ему жизнь, бывшая источником соединения, не была вполне новою. Когда-то тоболяк поэт Ершов, как видно из его биографии, написанной Ярославцевым, также юношески клялся посвятить себя родине, юношески мечтал поднять ее величие, он обменялся с каким-то другом даже мистическим кольцом по этому поводу. У нас та же мысль проснулась, только резче, определеннее и так сказать в целой группе лиц. Конечно, многие из этих мечтаний не могли быть осуществлены; одни их забыли, как и свои клятвы, другие не дожили до осуществления даже ничтожной части своих юношеских ожиданий. Так всегда бывает! Но когда-то в жару юности все это казалось так осуществимым, так легко достижимым.

Собрания длились года два при мне; временно они были прерваны небольшим эпизодом разлада, но мысль об них уже не

умирала и группировка воскресла вдолге после, хотя и под новой формой.

В тех собраниях, о которых вспоминаю я, сближение началось между лицами разных учебных заведений и профессий. Здесь были медицинские студенты университета, технологи, появлялись студенты духовной академии, художники, был военный и кадет горного института, который однако весьма скоро спасовал и написал нам весьма трогательную исповедь о своем исключительном положении и о каких-то аргусах своего заведения, препятствующих ему быть верным студенческому кружку. Знакомства однако все более завязывались. Инициаторы собраний поддерживали их. Решились отыскать литераторов из сибиряков; тогда уже приехал в Петербург С. С. Шашков и начинал пописывать; вспомнили о старом студенте-сибиряке Сидорове, даровитом математике.

Сидоров этот был товарищем Н. С. Щукина,—личность, выдававшаяся умом и характером, очень образованный, но эксцентрический, обнаруживший впоследствии подозрительность до болезненности и внесший некоторый разлад. О нем, однако, нельзя не вспомнить.

Сидоров был сначала в педагогическом институте, а потом в университете. Окончив курс, он по своему вспыльчивому характеру разбранился в канцелярии и ему стоило немало усилий получить диплом. С товарищем Щукиным он также разошелся. Сам он вел жизнь одинокую, бедствовал в Петербурге, много перенес и, как говорили, стал даже мистиком. Ни специальное образование, ни петербургская отчужденная жизнь однако не помешали ему любить страстно родину и даже мечтать о ней. Его idée fixe был сибирский университет, которым он бредил и о котором писал; конечно, тогдашние сибиряки не могли его игнорировать и сделали ему приглашение.

Одно лицо только близко знало Сидорова и поддерживало с ним связь—это бурят Пирожков. Будучи незлобным философом, он отзывался о нем, как о симпатичной личности, и говорил, что Сидоров был глубоко несчастен, иногда он видал его, обладавшего терпеливой, железной натурой, рыдавшим, подобно ребенку, от душевных мук и неудач.

Я также познакомился с Сидоровым, нашел его беззаветно любящим край человеком, очень начитанным, образованным, имевшим взгляды и убеждения, но с первого раза уже дала себя почувствовать в нем черта болезненного самолюбия и неуживчивости. Эта-то черта еще более обнаружилась при его сближении с нашим кружком и чуть не была причиной его распадения. Самолюбивый Сидоров увидел себя старше и выше головою окружающих юношей, ему захотелось повелевать, он потребовал себе чуть не диктатуры и, конечно, провалился. Внеся свою подозрительность и нетерпимость, он вытеснил некоторых товарищей своею раздражительностью, а затем и сам удалился. Этот непри-

ятный эпизод, несколько нарушивший товарищество, однако не был причиною распадения землячества; оно еще продержалось некоторое время, но отсутствие практического дела и одна теоретичность, выражавшаяся в надеждах и разговорах, не могли дать ему пищи и жизни. Притом и в столице в 1862 г. уже не было такого простора студенческим собраниям [21]. Первый жар и впечатления этого сближения исчезали и выступала прозаическая жизнь кружка, превратившая его в обыкновенную буршевскую корпорацию. Тем не менее мы не раз собирались провожать своих товарищей и земляков, отправляя их домой, на родину. Помню, что в память нашего знакомства мы снялись группой и многие долго хранили это воспоминание студенчества. Как бы то ни было, это первое сближение оставило свой след на душе многих, оно вспоминалось не раз в жизни, может быть некоторые обязаны ему были сознательным отношением к своей деятельности на родине.

Знаю, что значительная часть лиц все-таки воротилась на родину, трудилась там так или иначе, причем даже лица, от которых не ожидали многого, участвовали в разных предприятиях... служили медиками, учителями и т. д. Из этого же кружка вышли некоторые писатели и патриоты [22].

Иные из земляков затерялись и исчезли, волна не успела прибить их к родному берегу и море жизни унесло куда-то. Где они погибли—бог весть!..

Глава VIII.

НАЧАЛО ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКИХ ОБЛАСТНИКОВ.

Возвращение в Сибирь и первые общественные выступления молодых сибирских областников.—Статьи Н. М. Ядринцева в «Томских губернских ведомостях» начала 60-х годов.—Вопрос о сибирском университете.—Арест областников и суд над ними.

Мысль о возможном отпадении Сибири от России преследовала царскую администрацию *. Генерал-губернатор Восточной Сибири гр. Н. Н. Муравьев-Амурский писал в 1849 г. Николаю I: «Не раз случалось мне слышать в Петербурге опасение, что Сибирь рано или поздно может отложиться от России, но прежде прибытия моего сюда я считал это опасение неосновательным... Здесь, государь, я убедился, что опасение это весьма естественно, и от таких причин, которые совершенно чужды соображениям столичным. Я нашел здесь весь народ под влиянием и в руках, так сказать, богатых торговцев, промышленников и откупщиков, и всех чиновников правительственных, почти без исключения, на содержании и в услугах

* Впрочем здесь возможно и тенденциозное муссирование этой мысли, уже в интересах самой администрации: это подчеркивало ее «бдительность» и заслуги перед «престолом».

тех же богатых людей... Богатый же класс этот и более образованный, по происхождению своему и по отдаленности от центра империи, вовсе не имеет чувств той преданности к государю и отечеству, которые внутри империи всасываются с молоком,—он ко всему равнодушен, кроме своих выгод, и, за немногими только исключениями, нет почти и надежды возбудить в них те высокие чувства, которыми гордится и славится всякий русский. А между тем они (т. е. сибирские купцы и промышленники—Б. Ж.) не только не лишены свойственного русским смысла и предприимчивости, но и превосходят в этом жителей внутренних губерний» *.

Неудивительно, что когда в конце 1863 г. из петербургского университета возвратилась в Сибирь группа молодых сибирских «патриотов», одушевленных страстною любовью к родному краю,—Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев, С. С. Шашков и др.,—и начала горячо пропагандировать в печати и публичных лекциях необходимость культурного—на первое время—развития Сибири, то местная сибирская администрация переполошилась. Наспех было состряпано дело «о злонамеренных действиях некоторых молодых людей, стремящихся к ниспровержению существующего в Сибири порядка управления и к отделению ее от империи», и молодые «патриоты» оказались в омском остроге.

Следствие по этому делу тянулось целых три года, суд над сибирскими областниками состоялся только в 1868 г. Зачинатели областнического движения понесли суровое наказание. Г. Н. Потанин был присужден к каторжным работам и отбыл три года каторги в Свеаборгской крепости и несколько лет ссылки в Вологодскую губ.; Н. М. Ядринцев и С. С. Шашков были сосланы на пять лет в глухой городишко Шенкурск, в лесах Архангельской губ. Попытка молодой сибирской буржуазии публично заявить о своих интересах и стремлениях кончилась неудачей.

При современном состоянии исторических источников нельзя еще решить твердо вопрос, стремились ли действительно молодые областники, в первый момент своего общественного выступления, отделить Сибирь от России и образовать в Сибири буржуазную республику на американский лад, или их мечты о благе родины ограничивались, как позднее, скромной административно-хозяйственной автономией **.

Сами «отцы» сибирского областнического движения, Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев, впоследствии, когда их молодой «радикализм», в значительной мере питавшийся либеральными веяния-

* См. Б. Струве. Воспоминания о Сибири, СПБ, 1889 г., стр. 53—55.

** Образ буржуазно-фермерской Америки преследовал областников и много лет спустя. Когда Ядринцев попал в 1893 г. в Америку, он восторженно писал Потанину: «Америка меня поразила: это—Сибирь через тысячу лет» (см. «Сборник в честь 80-летия рождения Г. Н. Потанина», Томск, 1915 г., стр. XVIII).

ми 60-х годов, сильно слинял, всячески открещивались от обвинения в политическом сепаратизме.

Г. Н. Потанин на склоне своих лет, спустя почти полвека (в 1908 году, т. е. тогда, когда над Сибирью уже пронеслась огненной бурей революция 1905 года), писал о первых шагах молодых сибирских областников:

«В 1864 году правительство открыло существование сепаратистов в Омске, Томске, Красноярске и Иркутске. Найдены были две рукописные прокламации, в которых говорилось об отделении Сибири от России и сибирское общество приглашалось даже к вооруженному восстанию... Прокламации не были напечатаны, остались в рукописи и никто не распространял их, кроме кадета, самовольный поступок которого нельзя вменять в вину составителям прокламации и приравнивать к серьезной политической пропаганде *.

Другое обвинение, тяготевшее над сепаратистами, состояло в том, что они распространяли устно, в разговорах со своими знакомыми (мысль) о возможном в будущем отделении Сибири от России. Конечно никаких активных действий, никакого подготовления к этому отделению не предпринималось, кроме, разве, стараний приобресть шрифт для того, чтобы напечатать прокламации. Разговоры об отделении велись не в виде конспирации, а для того, чтобы сделать общеизвестной мысль, что в отдаленном будущем Сибирь может существовать особо от Европейской России. Сепаратисты хотели привлечь внимание сибирского общества к местным областным нуждам, хотели пробудить в нем местный патриотизм... Самые прокламации были написаны исключительно с целью произвести только сенсацию в сибирском обществе. Сепаратисты думали: пусть сибирское общество сразу отвергнет идею об отделении Сибири, но возникнет громкое дело, обратит внимание общества на идею, и оно задумается об униженном положении своей области, а это-то и главное» (см. сборник «Сибирь и ее нужды», СПБ, 1908 г., стр. 270—272. Разрядка моя—Б. Ж.).

Запутывая таким образом вопрос, Потанин явно пытался оправдаться перед реакционными царизмом и буржуазией в своем былом «радикализме» и загладить «грехи молодости».

Сибирские областники всей своей многолетней общественной

* Поводом к аресту Потанина, Ядринцева и их единомышленников послужил поступок кадета омского кадетского корпуса Усова, который случайно нашел в бумагах своего старшего брата, казачьего офицера, друга Потанина и Ядринцева, рукописную прокламацию областников и самовольно унес ее в корпус, где она попала в руки надзирателя, а от него в руки жандармов.

деятельностью доказали, что они и не мечтали никогда о революционной борьбе против царизма, хотя бы в масштабах одной только Сибири, а, наоборот, все время обнаруживали полную готовность к компромиссам с царской властью. Едва возвратившись из ссылки, Н. М. Ядринцев поступил на службу в тюремный комитет и много потрудился над проведением в жизнь «либеральной» тюремной реформы царского правительства. Впоследствии он перешел на службу к генерал-губернатору Западной Сибири Н. Г. Казнакову и с его помощью осуществил наконец главный пункт программы сибирских областников—открытие в Сибири (в Томске) университета *. Уже один этот факт показывает, что сибирские областники главные надежды на осуществление своей весьма умеренной программы возлагали на благую волю царского правительства, к которой они всегда и апеллировали. В 1882 г., к юбилею присоединения Сибири к России, Ядринцев наметил в своей книге «Сибирь как колония» развернутую программу экономического и культурного развития Сибири. Программа эта не включала ничего такого, что не могло бы быть проведено в рамках существующего самодержавно-деспотического строя. В области управления Ядринцев требовал лишь применения к Сибири тех реформ, какие уже давно были проведены в Европейской России,—отделения военной власти от гражданской, упразднения неограниченной власти генерал-губернаторов, независимого от администрации суда, введения в Сибири земского самоуправления и т. п. (см. указ. книгу, стр. 362—364 и др.).

Г. Н. Потанин, проживший много дольше Ядринцева, проделал еще более выразительную «эволюцию». Еще к моменту первой русской революции 1905 года Потанин «поправел» настолько, что занял позицию правее даже кадетской. В 1907—17 гг. он возглавлял реакционную борьбу буржуазных сибирских областников против социал-демократической большевистской ссылки **, а впоследствии, в эпоху Великой Октябрьской революции, вел активную борьбу против Советской власти.

Реакционно-буржуазная, антидемократическая—несмотря на некоторую «народолюбческую» маскировку—сущность сибирско-

* О своей встрече с Н. Г. Казнаковым Ядринцев рассказывает следующее:

«В 1875 г. зимой я узнал, что в Западную Сибирь назначается новый генерал-губернатор Н. Г. Казнаков. От известного северного деятеля М. К. Сидорова, с которым я вел знакомство много лет, я узнал о личности нового генерал-губернатора. Оказалось, что он интересовался литературой о Сибири и собирал сведения по вопросу о сибирском университете. Я просил Сидорова познакомить меня с ним и представился генералу Казнакову. Он совершенно очаровал меня». Далее Ядринцев прямо называет царского генерал-губернатора «другом Сибири». (Н. М. Ядринцев. К моей автобиографии. «Русская мысль», 1904 г., кн. 6, стр. 167—168).

** Об этой борьбе см. в сборнике «Сибирская ссылка», изд. об-ва политкаторжан, М. 1927 г.

го областничества особенно резко выявилась в эпоху Октябрьской социалистической революции. Вполне закономерно под конец своей политической жизни Г. Н. Потанин и его эпигоны докатились до открытой контрреволюции и поддержки адмирала Колчака.

От либерально-прогрессивного—в условиях 60—80-х годов прошлого столетия—стремления к экономическому и культурному развитию отсталой Сибири до колчаковщины—такова диалектика исторического развития сибирского областнического движения. В самую раннюю эпоху его зарождения в нем уже было скрыто порочное стремление представить групповые интересы сибирской буржуазии в виде интересов всего населения Сибири в целом.

Областники по своей буржуазной природе не понимали и не могли понять того простого факта, что революционное свержение царизма является необходимым, первым и главнейшим условием освобождения всех вообще «окраин» гигантской «тюрьмы народов», какой была царская Россия. Изолируя свое движение от революционной борьбы российского пролетариата, искусственно отрывая Сибирь от остальной России, областники—невольно или вольно—играли на-руку своекорыстным интересам местной сибирской буржуазии и обрекали себя на «автономистское» крохоборчество и неизбежную в конечном счете смычку с правительственной реакцией, что и случилось с ними очень рано.

Претензии областников выступать от имени не только сибирской буржуазии, но и всего населения Сибири в целом, не имели достаточных оснований. В самой Сибири уже в 60-х гг. находились люди, отрицавшие эти претензии областников. Известный ученый-историк и общественный деятель-демократ А. П. Щапов, высланный весной 1864 г. из Петербурга в Иркутск и привлеченный в 1865 г. к дознанию по делу областников, прямо заявил на следствии, что он «не писал таких глупых прокламаций и неспособен писать их» (см. «А. П. Щапов в Иркутске», Иркутск, 1938 г., вступит. статья, стр. 8). Щапов боролся с областниками и в печати, доказывая в своих статьях («О развитии высших человеческих чувств» и др.), что чумазая и хищная сибирская буржуазия не имеет никаких высоких чувств и никаких целей, кроме наживы. Областники очень недолюбливали за это Щапова и даже после его смерти клеветали на него, что в сердце Щапова будто бы не было любви к родине. Щапов горячо любил свою родину Сибирь, но он не идеализировал ее и, в противоположность буржуазным либералам-областникам, не считал сибирскую буржуазию способной возглавить общественную борьбу за раскрепощение Сибири.

В своих воспоминаниях о петербургском университете нача-

ла 60-х годов Н. М. Ядринцев в свойственном ему приподнято-патетическом стиле рассказал о тех настроениях, с какими молодые сибирские «патриоты» явились из университета на родину пропагандировать в местном сибирском обществе свои «патриотические» идеи. Ниже приводится отрывок из этих воспоминаний *, характерный для обрисовки личности и идеологии Н. М. Ядринцева и близких ему по духу других сибирских областников.

Второй отрывок—о деле «сибирских сепаратистов» взят из автобиографии Ядринцева, опубликованной в 1904 г. в «Русской мысли», кн. 6, стр. 152—170.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. М. ЯДРИНЦЕВА.

...Абсентеизм! какое это ужасное слово **. Разлука с родиной! Какое это противоестественное чувство, недаром этот абсентеизм вызывает досаду, причиняет боль души, недаром мы, отданные интересам нашего края, давно чувствовали его вредные последствия. Сколько лучших, образованных сил нашей земли исчезли благодаря ему, сколько цветов мысли и чувства дали плод на других полях, когда собственная нива была пуста и земля ее не давала желанного ростка...

И, видя это, мы возроптали, мы, чью голову впервые осенил луч сознания; и ради блага нашей родины мы решились именем любви и пощады нашей земле убедить не расставаться с нею образованные лучшие силы. Это добровольное удаление с родины наших образованных людей, при скудости их, мы заклеймили даже в своем кружке отступничеством; пылкие и горячие, мы давали клятвы возвратиться на родину, служить ей беззаветно и, окончив или не окончив курс в университете, возвратились домой не случайно, но вполне сознательно...

Другая идея, которая проникала в сердца и составляла предмет размышлений в нашем студенческом кружке, это была будущность и судьба нашей родины, нашей отдаленной окраины. Видя, как было все оживлено, как все искало дела, применения сил, слыша страстные речи о народе, о долге гражданского служения, мы не могли не перенестись мыслями к нашей родине и не задуматься об ее будущем. Мы представляли ее, в настоящем пустынную, бедную и убогую,—нарядною и богатою в будущем; невежественную—образованной, усеянной школами; вместо несчастной, слышавшей только звон цепей и проклятия ссыльных, мы рисовали себе ее населенною, свободною, жизнерадостною и ликующею, мы назвали эту страну страной будущего... Мы мечтали о счастливой будущности нового девственного края, подоб-

* «Сибирский сборник», 1888 г., кн. I, стр. 22—23.

** Абсентеизм—в точном смысле значит отсутствие, в переносном—отсутствие с родины.

но Америке и Австралии, перечисляли неистощимые ее богатства, рисовали ее в будущем видным мировым рынком, царицей Азии[1]...

Мысль о сибирском университете, помню, приводила особенно в восхищение наш кружок... мы горячо говорили об этом в кругу товарищей. Мы начинали свои литературные работы статьями об университете. Об университете писал покойный друг наш С. С. Шашков, Потанин и другие; я начал свои первые литературные работы статьей об университете в «Томских губернских ведомостях» 1864 г.; написана была эта статья или речь для публичного чтения, состоявшегося в Омске, в 1863 г. Я помню конец этой горячей статьи, написанной с пылом молодости и оканчивавшейся словами, полными веры: «Сибирский университет будет и будет»[2]. Так зарождались в эмбрионе те идеи, которым посвящено было все служение нашей жизни и 30-летняя защита этого вопроса в печати, пока мы не дождались радостного дня открытия университета в 1888 году[3]...

...В Омске я жил, воротясь из Петербурга (в конце 1863 г.— Б. Ж.), в лихорадочной деятельности, основывал кружки и влиял на молодежь. Многие из корпуса и из казачьих офицеров поехали тогда в университет[4].

В Омске мои занятия кончались, и Потанин, возвратившийся из экспедиции[5], вызывал меня в Томск, куда он переехал служить секретарем статистического комитета. В это время мы вели деятельную переписку с Потаниным и задавались разными планами.

Мы мечтали издавать газету, сборник, памятную книжку. Мы желали пропагандировать необходимость основания университета. Потанин принимал меня в Томске пока сотрудничать в «Губернских ведомостях». Сначала я отнесся с предубеждением, мне казалось, что в официальной газете едва ли можно найти место для выражения наших желаний... Но при безвыходности я, наконец, согласился и по приезде в Томск начал ряд статей... Мы работали в неофициальной части «Томских губернских ведомостей» около полгода и старались сделать эту часть литературной (вернее—публицистической—Б. Ж.). ...Зимою 1864—65 гг. приехал в Томск Шашков из Красноярска и прочел несколько публичных лекций. Они касались истории Сибири, но в то же время в них затрагивались животрепещущие вопросы, указывалось (на) потребность университета, эмансипации инородцев и проч. Лекции произвели необыкновенный фурор, особенно среди молодежи и семинаристов...

Наступила весна 1865 г., мы были в самом радужном настроении, и наши патриотические планы все разрастались. Как вдруг внезапно в мае месяце 1865 г. над нами разразилась гроза.

Мы были с Потаниным и Е. Я. Колосовым (поручиком артиллерии в отставке, имевшим частную школу в Томске) на заимке Пичугина, на естественно-исторической экскурсии, когда нас вдруг вызвали в город и подвергли домашнему аресту. Бумаги наши были захвачены. Мы сначала не знали, по какому делу, но мрачные предчувствия охватили нас. Через три дня нас отправили с жандармами в Омск, и здесь начались новые мытарства и горькие испытания. В Омске нас представили исправляющему должность генерал-губернатора и затем отправили в острог... Началось следствие [6].

Дело сибирского сепаратизма или «дело об отделении Сибири от России и образовании республики подобно Соединенным Штатам» наделало много шума. По этому делу были произведены многочисленные аресты в Омске, Томске, Красноярске, Иркутске, Москве, Петербурге, Уральске... Можно было подумать, что это было нечто грандиозное. Об этом деле многие спрашивали меня и нередко эти вопросы сопровождались ироническими улыбками: «Как вы отделяли Сибирь?» Конечно, в этом отношении много было повода поглумиться над горстью юношей-сибиряков, задавшихся какими-то несбыточными планами. Отделять Сибирь, по понятию многих, пустыню и страну ссылки,— это могли только сумасшедшие или дети.

Мне не приходилось никому рассказывать подробностей этой истории, но должен сказать, что дело было не столько в определенно задуманном намерении, сколько в обвинении, которое стремилось навязать это намерение. Подлинное дело, возвращенное в 1868 г. из сената, хранится в омском архиве. Оно состояло из нескольких томов, представляло запутанные и, при сильных налеганиях обвинителей, детские показания. Следствие велось пристрастно, и комиссия, состоявшая из члена совета главного управления (генерал-губернатора Западной Сибири— Б. Ж.), жандармского штаб-офицера, двух аудиторов и стряпчего, старалась установить обвинение во что бы то ни стало, связывая лиц, часто совсем незнакомых, или придавая товарищескому знакомству вид заговора. Наконец, следствие соединило в одно несколько отдельных событий и фактов, независимых и относящихся к разному времени.

Первое, что обнаружено было—это кружок офицеров-кадетов в Омске, которые имели сношения со мной и с Потаниным; в этом кружке велась будто бы пропаганда сепаратизма... Во-вторых, обнаружено было, что единомышленники-сибиряки жили и в других городах: Томске, Иркутске (Щукин), Красноярске (Шашков). В-третьих, у сибирских сепаратистов было открыто воззвание или прокламация, найденная в Омске и Иркутске. В четвертых, обнаружилось из переписки, что сибирский кружок существовал уже в Петербурге среди студентов-сибиряков.

В обширной переписке высказывалось недовольство против правительства и часто заключались оскорбительные отзывы о правящих лицах...

Из всего этого была соткана сеть для обвинения... Но достаточно указать на повод и на начало дела, чтобы увидеть, сколько в нем было случайного и преувеличенного.

Кадет Усов, роясь в столе, где лежали бумаги брата его, казачьего офицера, нечаянно с учебными тетрадками захватил листок, в котором были изложены взгляды на безотрадное положение Сибири и ее историю. Это произведение было написано, правда, горячо, во вкусе листков, распространявшихся в столицах в 1860-х годах. Кадет показал в корпусе это письмо товарищу, который взял его и начал пугать, что покажет начальству, если тот не даст ему папирос. Наконец, этот кадет ловится с папиросой надзирателем и вместо табаку, сохраняя папиросы, отдает ему листок, которого сам не читал. Надзиратель, конечно, был изумлен и представил листок начальству. Тогда произведен был обыск у старшего брата Усова, штаб-офицера, взята переписка, и полетели телеграммы и депеши в разные концы.

Кадеты также были арестованы и сидели с нами 3 года на гауптвахте... На гауптвахте же содержался Д. Л. Кузнецов, редактор «Томских губернских ведомостей» с сыном 4-х лет, сиротой. Здесь же был привезенный из Иркутска, из военного училища, 12-летний мальчик Золотин, обвинявшийся в том, что принес прокламацию Щукину... Нас (Ядринцева, Потанина и Шашкова— Б. Ж.) обвиняли в пропаганде, в составлении воззвания, в том, что мы писали в «Томских губернских ведомостях» (официальном органе) сепаратистские статьи, в том числе о необходимости для Сибири университета. «Кто вас просил об этом?»— говорили омские чиновники...

Вопросы (на следствии—Б. Ж.), видимо, предложены были по приказанию из Петербурга, а не были инициативой следственной комиссии. Что мы могли ответить на них?

В нашем сердце было искреннее желание блага нашей забытой родине, нашею мечтою было ее просвещение, гражданское преуспевание. В юношеских мечтах и желаниях многие местные вопросы еще были смутны и получили известную форму и жизнь только впоследствии. Мы отвечали, что желаем Сибири нового гласного суда, земства, большей гласности, поощрения промышленности, большей равноправности инородцам. Что тут было преступного? [7]...

Суд был к нам строг: меня, Потанина и Шашкова сначала приговорили к 12-летней каторге, но после смягчили наказание, ввиду молодости и долгого содержания под следствием. Мы просидели 3 года в Омске, маленьком городке, сначала на гауптвахте, потом в остроге, ибо на гауптвахте было тесно. Мы поме-

щались по 4 и 5 человек в камере и начали болеть. Жили мы впроголодь, иногда питаясь чаем и калачами. Нас спасла молодость [8]...

В тюрьме и на гауптвахте мы сокращали тюремные дни занятиями. Потанин выхлопотал право разбирать областной архив; я, Шашков и он работали над ним. Шашков извлек из него богатые материалы для своих исторических монографий, Потанин издал акты по истории Сибири XVII и XVIII веков, а я писал статью «История сибирской женщины в XVIII столетии». Наконец, в тюрьме я занялся этнографическими работами и собрал о ссыльных и бродягах материал для книги «Русская община в тюрьме и ссылке» [9]. В тюрьме мы учились и много читали...

Глава IX.

НАЧАЛО ГАЗЕТНОЙ ПЕЧАТИ В СИБИРИ.

«Губернские ведомости» 50-х годов.—Объявления о рыжем мерине.—Повытчик-сочинитель.—Гибель и возрождение «Поротого уха».—Образование «Сибирской газеты» и ее борьба с местной администрацией.—Политическая ссылка и «Сибирская газета».

До второй половины XIX в. в Сибири не было местных печатных органов. Проект группы иркутских интеллигентов 30-х годов создать местную газету не осуществился, вследствие отсутствия в Сибири того времени достаточных культурных и экономических предпосылок для такого издания. Известный тобольский журнал XVIII в. «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1789—91 гг.) и сменившая его «Библиотека ученая и нравоучительная» (1793—94 гг.) были «учено-литературными», а не публицистическими органами и по своему содержанию никакого отношения к местной жизни не имели.

Первые газеты—«Губернские ведомости»—начали выходить в четырех губернских городах Сибири—Иркутске, Красноярске, Томске и Тобольске—лишь с 1857 г. В первые годы своего существования некоторые из этих «Ведомостей» не были узко-казенными изданиями. Неофициальную часть «Иркутских губернских ведомостей» редактировал первоначально ссыльный петрашевец Н. А. Спешнев, и в них помещалось много статей на живые темы местной жизни. В «Томских губернских ведомостях» в 1864—65 гг. печатались пылкие областнические статьи Н. М. Ядринцева. Но, конечно, казенные «Ведомости», всецело зависевшие от произвола губернских властей, не могли быть подлинными выразителями местного общественного мнения и очень скоро захирели.

Первая сибирская общественная газета «Амур» была основана в Иркутске группой местных интеллигентов в 1860 г., но она просуществовала только около двух лет и особенно глубокого следа после себя оставить не могла. Еще менее значения

имел «Сибирский вестник» Б. А. Милютина, выходивший в 1864—68 гг., и торгово-промышленный «Кяхтинский листок» (1862 г.). По существу датой начала местной сибирской общественно-прогрессивной печати нужно считать переход в 1875 г. иркутской газеты «Сибирь», основанной в 1873 г. неким инженером Клингером, в руки группы либерально настроенных местных общественных деятелей (М. В. Загоскин, В. И. Вагин и др.). «Сибирь» просуществовала до 1887 г. и испортила немало крови местному начальству, которое предприняло все меры для того, чтобы задушить эту, державшуюся сравнительно независимо, газету.

В 1881 г. в Томске возник другой общественный орган— «Сибирская газета», издававшаяся группой местных деятелей во главе с известным сибирским книгоиздателем и книготорговцем П. И. Макушиным. Активнейшее участие в «Сибирской газете» принимали политические ссыльные-народники (Ф. В. Волховской, С. Л. Чудновский и др.), и в свое время она была боевым органом интеллигентского либерализма, с довольно ярким народническим оттенком.

Понятно, что силы реакции ополчились на «Сибирскую газету»: в конце концов она была закрыта в 1888 г. под смехотворным предлогом, что газета будет «вредно влиять» на студентов новооткрытого в Томске университета.

С 1882 г. Н. М. Ядринцев начал выпускать, сначала в Петербурге, свою известную газету «Восточное обозрение». «Восточное обозрение» в первые годы выходило без предварительной цензуры и помещало на своих страницах много ценных статей о современном положении и нуждах Сибири. В 1888 г. издание «Вост. обозрения», в связи с закрытием «Сибири» и придирками цензуры, было перенесено Ядринцевым в Иркутск. Но здесь газета начала постепенно хиреть. Ядринцев вскоре отстранился от ее издания, и в 1894 г. она перешла в руки бывшего политического ссыльного—народника И. И. Попова, которому удалось до некоторой степени возродить газету. «Восточное обозрение» выходило под новой редакцией до 1906 года, когда было закрыто по приказу «карателя» Меллер-Закомельского. В свое время эта газета была одним из крупнейших местных сибирских печатных органов: с ней соперничала только «Сибирская жизнь», основанная в Томске в конце 90-х годов.

Все время своего издания «Восточное обозрение» стояло на позициях буржуазного либерализма, с сильной областнической тенденцией. Тенденция эта не заглохла и после того, как Н. М. Ядринцев отстранился от участия в газете. В редакцию «Вост. обозрения» при Попове входили и областники, и политические ссыльные-народники (Д. А. Клеменц, С. Л. Чудновский, В. С. Свитыч-Иллич и др.), и «якобинцы» (П. Г. Зайчневский), так что политическое направление газеты не было однород-

ным,—кроме, конечно, самого общего либерализма. Впоследствии, с конца 90-х годов, в «Вост. обозрении» начали принимать участие и ссыльные социал-демократы.

Следует подчеркнуть, что без активного участия политических ссыльных местная сибирская общественно-прогрессивная печать вообще не могла бы существовать. Политические ссыльные-петрашевцы (Н. А. Спешнев, Ф. Н. Львов и сам М. В. Буташевич-Петрашевский) активно участвовали в ранних сибирских печатных органах—«Иркутских губернских ведомостях» 50-х годов и первой сибирской общественной газете «Амур». Позднее политические ссыльные, разбросанные по всем концам Сибири, доставляли «Сибирской газете», «Восточному обозрению» и другим местным прогрессивным органам тот ярко обличительный, строго проверенный материал, который в свое время выдвигал сибирские газеты в передовой ряд провинциальных газет старой царской России.

Приводимый ниже отрывок о «Губернских ведомостях» 50-х годов заимствован из фельетона небезызвестного сибирского журналиста П. Аленича «Провинциальная страсть к литературе» («Восточное обозрение», 1882 г. № 26). Второй отрывок—о «Сибирской газете»—представляет собой воспоминания издателя «Сиб. газеты» П. И. Макушина—«Газетно-издательская деятельность во времена царизма»—ж. «Северная Азия», 1928 г., кн. 2, стр. 91—94.

ИЗ ОЧЕРКА «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ СТРАСТЬ К ЛИТЕРАТУРЕ».

...Во времена моего детства я в первый раз увидал серенький неприглядный печатный листок, который называли «газетой». Происхождение его и знакомство с ним было оригинально. Его принес квартальный.

— Зачем у нас был квартальный?—спросил я мать, зная, что это лицо являлось всегда, чтобы принести какую-нибудь неприятность.

— Газету велят выписывать всем домовладельцам и пять рублей требуют,—сказала уныло мать.

С этого времени мы начали получать серенький листок на оберточной бумаге, с неуклюжим шрифтом. Это были «Губернские ведомости»[1]. Первое, что мне бросилось в глаза в них, это то, что кто-то отыскивал «рыжего мерина, ухо порото». То были сыски о краденых и пригульных лошадях.

Я рос, проходили годы. За газету попрежнему брали с нас деньги, а печаталось в ней все одно: о рыжих, серых, чалых и других меринах. Интересного было мало. Только раз наш гимназический учитель, Яков Степанович[2], под именем Яшеньки поместил свой перевод шиллеровского «Пунша», да другой учитель, пивший запоем, напечатал пословицы. Из других статей

помню сочинение одного гимназиста 7-го класса, описавшего лунную ночь в окрестностях.

Наступили 60-е годы. В Европейской России зашумела жизнь, везде шли обличения, громили взяточников, приветствовали обновление России, а у нас все еще шло дело о мерине. Сама газета получила прозвище «Поротое ухо». Литературные страсти и призвания не могли, однако, не дать себя почувствовать и в Сибири.

Помню, что у нас нашелся сочинитель, повытчик * губернского правления Сеня Подметкин, и описал губернский бал у своего начальника. Статья оканчивалась: «а на следующий день, в семь часов утра, все в доме приняло обычный вид и его -ство изволили уже заниматься делами». Статья была предварительно показана столоначальнику, тот одобрил и снес к экзекутору; экзекутор одобрил и снес начальнику отделения; начальник отделения поправил, одобрил и показал председателю, тот поправил, одобрил—и напечатали.

Я знал, что Сенька сфальшивил. Известно нам было, что экзекутор на балу напился, что советник плясал в присядку, что на другой день никто не занимался, а бегали в трактир «Ерш», так как голова болела. Но мы Сеньке простили, ибо он на то был сочинитель; так понимал и Сенька свою обязанность. Сенька Подметкин начал с этого времени писать неудержимо и лгал без зазрения совести,—таково уж свойство таланта. Если в городе был пожар, то он писал, что его потушили не водой, а энергией полицеймейстера. Пожарные были пьяны, а он писал, что они проявили замечательную деятельность и т. д. За все это он был сделан редактором неофициальной части «Губ. ведомостей». Он строчил «передовые» о необходимости мостовой, фельетон о недостатке общественных развлечений, описывал концерты под покровительством ее превосходительства и т. д. Словом, Сенька вообразил себя окончательно литератором и даже шиш себе на затылке начал ерошить. К счастью, его скоро сделали советником за отличие, и писать ему стало неприлично. В газете пошло опять о меринах [3].

Начальство, однако, не могло забыть этого золотого времени литературы. Оно часто вздыхало и говорило:—Нет у нас подходящего редактора. Корреспонденты про нас одни сплетни пишут, а вот про пожарную команду, как я устроил, никто не скажет ни слова.

— Это, ваше-ство, точно,—вторил экзекутор.

— Ты понимаешь мою мысль, человека нет!

Да, потребность литературы чувствовалась...

Провинция вздыхала об отсутствии общественного интереса, «живого дела», «духа жизни»; человеческая мысль искала

* Канцелярист.

освобождения; сердце протестовало против окружающей фальши, лжи и насилия над совестью. Инстинкт жизни просыпался. В это время и в провинции появилась страсть к литературе, начали зачитываться книг(ами), появились даже «корреспонденты». Исподлобья смотрел Фединька на зарождавшиеся потребности. Но когда в его приемную пробралась скромная фигура попросить разрешения на местную газету, он переменил тактику и решился заявить сам себя приверженцем литературы. Га! и я писал когда-то,—снисходительно улыбался он.

Любовь к литературе провинциального помпадура, однако, выразилась совершенно своеобразно; он посмотрел на нее не как на общественную потребность, не как на независимый голос мыслящих людей, но вздумал сделать ее своим органом, органом «пожарной команды», органом прославления квартальных и ореолом собственных деяний[4]. Он даже сам пробовал присылать статьи в местную зарождавшуюся газету. Понятно, он разочаровался. Маленькая провинциальная пресса дала отпор. Тогда началась война. Война известная. Не раз провинция переносила на суд столичной печати трупы своих статей, покрытые глубокими ранами; не раз вопияла она к справедливости и человеческому суду. Фединька остался непоколебим. Даже цены на торговые припасы, даже казенные циркуляры и невинные перепечатки из столичных газет вычеркивались воинственным Фединькой Вислоуховым.

История этой борьбы когда-нибудь будет иметь своего Гомера. Вот в это-то время ненависти к частной, общественной литературе и зародилась гениальная мысль у Фединьки Кротикова возродить «Поротое ухо», убить соперничеством местную печать, приковать к себе симпатии общества и дать нормальный, по его мнению, выход общественным потребностям... И «Поротое ухо» явилось обновленным. Нашелся и своего рода Расплюев для издания. Когда Фединька объявил свое решение, то экзекутор глаза вылупил.

— Ваше-ство, ведь он по семнадцати делам...—Но величественный жест Юлия Цезаря остановил это неуместное возражение.

Как бы то ни было, через несколько лет мне суждено было увидеть «Поротое ухо» преобразованным.

Прежде всего я увидел в ней слабое подражание политической газете... На серых казенных листах я увидел и египетские дела, и перемену французского министерства, вместе с рецептом мази для волос и шведскими спичками; я увидел даже некролог Дарвина. И все это в поучение волостных правлений! Господи! до чего дожили! Но интереснее всего местный отдел. Является только вопрос: где найти литераторов? Конечно, передовые будет писать сам Кротиков, а подпередовые—Сеня Подметкин, но где взять корреспондентов? Однако, и здесь «Поро-

тое ухо» преодолело все затруднения. Конечно, корреспонденты нужны не обличители, а люди благонадежные. Для этого чего же лучше исправников! И вот из редакции «Поротое ухо» разосланы были предписания доставлять корреспонденции... Передовые касались более невежества нашего мужика и его недобросовестности. Городские общества уличались в недостатке сознания общественных интересов, городское хозяйство—в недосмотрах; в пример выставлялась энергия местного городничего и заботливость местного исправника. Заседатели писали об урожае трав, о породах певчих птиц, услаждающих землю, один даже пересчитал всех пчел. Чем же это не литература!..[5]

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. И. МАКУШИНА.

...Год от года увеличивавшийся спрос на книги из книжного магазина и рост числа подписчиков на чтение книг из публичной библиотеки, а равно и число посетителей кабинета для чтения, сделавшегося литературным клубом, были для меня показателями пробуждения интереса местной публики и к знанию, и к общественным делам[6]. Явилась мысль о создании местной газеты. В сотрудниках недостатка быть не могло—был достаточный кадр местных интеллигентов и значительное число политических ссыльных, рассеянных по разным углам Сибири, имевших со мною сношения по книжному магазину[7]. Трудность представлялась в отыскании редактора, политически благонадежного с точки зрения властей, и еще большая трудность—в получении разрешения на издание окраинной газеты. К великому удовольствию обстоятельства сложились благоприятно. Редактором согласился быть А. И. Ефимов, преподаватель реального училища, а местный губернатор В. И. Мерцалов, бывший (в начале своей служебной карьеры) редактором «Кяхтинского листка», отнесся к моему начинанию «доброжелательно», заявив готовность лично цензуровать газету, в случае ее разрешения. Предположенному изданию я решил дать название «Сибирская газета».

Программа газеты намечена была такая: 1) правительственные распоряжения и узаконения по всем частям государственного управления, преимущественно касающиеся Сибири; 2) иностранная политическая хроника и внутренние известия, заимствованные из правительственных и других повременных изданий; 3) статьи, касающиеся местного края в историческом, статистическом, этнографическом, торгово-промышленном и других отношениях; 4) статьи научного содержания, сведения об изобретениях и открытиях; 5) изящная словесность, очерки, рассказы и проч.; 6) телеграммы политические и торговые; 7) отчеты о заседаниях разных обществ и собраний, журнальные постановления местной городской думы; 8) критика и библиография, разбор и оценка выходящих книг, а также и журнальных

статей; 9) корреспонденции; 10) разного рода объявления и справочные сведения по части торговой, промышленной и т. п., календарные сведения, а также и метеорологический бюллетень.

В июле 1880 г. мною было послано министру внутренних дел прошение о разрешении издавать в Томске «Сибирскую газету» по вышеуказанной программе. Срок выхода газеты—один раз в неделю; цена в год—6 рублей. Через шесть месяцев, 5 февраля 1881 г., я получил из главного управления по делам печати извещение от 14 января 1881 г., что издание газеты по представленной мною программе разрешено. Немедленно сконструировалась редакция из А. И. Ефимова, А. В. Адрианова, И. Г. Муромова, А. М. Войцеховского и меня [8]; 1 марта 1881 г. вышел из печати первый номер «Сибирской газеты». Совпадение выхода первого номера газеты с событием первого марта в Петербурге навело местного жандармского полковника Александрова, имевшего (по своей непредставительной фигуре) кличку «сморчок», на мысль произвести секретное расследование, не было ли в редакции уговора ознаменовать цареубийство выпуском первого номера «Сибирской газеты» [9].

В состав редакции впоследствии вошли: Ф. В. Волховской (И. Брут), Д. А. Клеменц, и некоторое время входил в нее Е. В. Корш, оказавшийся впоследствии уголовно-ссыльным, подосланным в редакцию властями [10]. Со времени перехода А. И. Ефимова на службу в Тюмень фактическим редактором сделался А. В. Адрианов, который редактировал газету до высылки его административным порядком из Томска. В числе сотрудников газеты оказались: Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев, Н. И. Наумов, И. В. Федоров (Омулевский), П. А. Голубев, К. М. Станюкович, С. Л. Чудновский и др. [11]. Установилась тесная связь с иркутской газетой «Сибирь» и петербургским «Восточным обозрением». Благодаря этой связи получилась возможность оглашать непропущенные цензурой статьи и заметки, если не в той, то в другой из означенных газет. Газета скоро обзавелась собственными корреспондентами из всех более значительных мест Сибири, что сильно способствовало ее распространению.

Независимость газеты, ее отзывчивость на злобы дня, выступления в остроумных фельетонах Брута против произвола администрации и против Разуваевых и Колупаевых быстро создали ей, с одной стороны, массу читателей, а с другой—неприязненные отношения со стороны местной администрации, властей и людей «благонамеренных». Внешне благосклонное вначале отношение к газете губернатора Мерцалова скоро стало явно неприязненным. Цензурование газеты перешло к управляющему казенной палатой М. А. Гилярову, ярому охранителю «устоев» того времени, немилосердно черкавшему красными чернилами представленные ему на цензуру оттиски газеты и позволявшему

себе делать на них обидные замечания. Номер 11-й за 1881 г., выпущенный редакцией наполовину с пробелами (зачеркнутого цензором текста), был конфискован по распоряжению местной администрации. Я и редактор на притеснения цензора и конфискацию послали жалобу министру внутренних дел. В ответ последовало разъяснение, что выпуск газеты с пробелами означает неподчинение цензуре и не может быть терпим. Сделано ли было какое-либо указание цензору—неизвестно.

В дальнейшем, чтобы сохранить газету, нужда в которой в стране бесправия осознана была вполне, пришлось говорить эзоповским языком, лавировать между Сциллой и Харибдой, чтобы не подвести газету под обух, и по возможности не пугать высшую администрацию края «красным» направлением газеты. Материал для каждого номера прочитывался в общем собрании редакции. Нередко приходилось бороться с ядовитыми фельетонами Брута. Дело решалось по большинству голосов, не нарушая дружеских отнощений между членами редакции. По тактическим соображениям, для сбережения издания, несколько раз менялись официальные издатели и редакторы газеты. Со времени издания газеты я очутился под негласным надзором полиции. Моя квартира, где первые два года помещалась редакция, прослыла «очагом революции»[12]. Жалоба на цензора создала в нем непримиримого, влиятельного по своему служебному положению врага газеты. Губернатор Мерцалов, обманувшийся в своих расчетах иметь в «Сибирской газете» послушный и угождающий ему орган, решил в противовес создать при «Губернских ведомостях» особое неофициальное приложение и во всеподданнейшем отчете за 1882 г. аттестовал «Сибирскую газету» как орган, крайне вредный по своему антиправительственному направлению. Случайно ознакомившись с отзывом губернатора в его отчете, я был уверен, что дни газеты сочтены. Со слабой надеждой на успех я обратился к А. И. Деспот-Зеновичу с просьбой заступиться за газету в главном управлении по делам печати[13]. Велико было мое изумление, когда в ответ на эту просьбу получил от секретаря Деспот-Зеновича телеграмму: «Успокойтесь, не читает».

Гроза на этот раз миновала газету. «Неофициальное приложение» к «Губернским ведомостям» по худосочию умерло.

Но зато не умерло, а усилилось нерасположение местной администрации к «Сибирской газете». В числе ее влиятельных недоброжелателей оказалась целая троица. Прежде всего, сменивший Мерцалова новый губернатор Красовский, затем «Московские ведомости» и, наконец, попечитель Западносибирского учебного округа В. М. Флоринский. Первый, под влиянием приближенного к нему вышеупомянутого Корша и Полянского (уголовных ссыльных), задумал задушить «Сибирскую газету», создав ей противовес в виде благонамеренной газеты. В этих

целях, благодаря его покровительству, возник в 1885 г. «Сибирский вестник», литературная рептилия. Заправилами газеты оказались Корш и Полянский. Официальным редактором-издателем был присяжный поверенный (В. П.) Картамышев, прославившийся в Томске своим скандальным поведением.

«Московские ведомости» взяли на себя роль доносителя и предъявили «Сибирской газете» такой обвинительный акт:

«Весь отдел беллетристики вертится вокруг «эксплуатации» несчастных крестьян и рабочих «капиталистами» и «помпадурами». На приисках происходит стачка. «Сибирская газета» высказывает надежду, что «артель устоит» и «не оробеет пред начальством». «Честные люди должны прежде всего бороться с «капиталом» и вообще со всякого рода эксплуататорами, к которым причисляются не только все купцы и заводчики но и лица правительственной администрации, называемые газетой запросто «помпадурами», и лица, принадлежащие к духовенству, изображаемые в виде «отца Иоанна Вкарманокладенского». Чтение в общественном собрании богословского характера возмущает газету и она называет это чтение «великопостным винегретом». Под маской местного патриотизма прячутся наши старые знакомые—нигилисты и социалисты—и ведут разговоры о вреде капиталистического производства, которое именуется позорным, о необходимости капиталистам уступить свои предприятия рабочим, так как капитал создается их трудом. Сотрудники Каракозова [14], жиды, провозившие прокламации, хожалые в народ, героини фиктивных браков, поляки и прочий сброд, очутившийся в политических омутах, присосались к прессе и исполняют в Сибири роль общественного мнения. В Томске образовался целый штаб социалистов, собранных со всех концов Сибири. Редакция местной «Сибирской газеты» сплошь состоит из них. Кружок политических ссыльных постоянно старается вербовать молодежь. Революционные кадры уже готовы. Ожидается только прибытие новобранцев в виде томских студентов, а, может быть, и профессоров...» [15].

Считаю лишним говорить, как смотрело царское правительство на «Сибирскую газету» после такой аттестации. Но газета все-таки существовала, хотя и замирала на 8 месяцев (была приостановлена).

Последний, смертельный удар «Сибирской газете» был нанесен попечителем учебного округа В. М. Флоринским, заявившим министру внутренних дел, что при существовании «Сибирской газеты» он не ручается за спокойствие студентов в открываемом в Томске университете.

В день открытия университета было получено телеграфное распоряжение о приостановлении «Сибирской газеты» на 4 месяца, а затем, вследствие нового представления Флоринского, в конце 1888 г. последовало распоряжение министра внутренних

дел об окончательном закрытии «Сибирской газеты». Последний номер газеты (от 24 июля 1888 г.) был весь посвящен сибирскому университету, по случаю его открытия. Газета номинально существовала 7 лет и 9 месяцев, из них один год была под запретом.

Фельетоны газеты были персидским порошком для сибирских помпадуров и Тит Титычей. «Преступное» направление газеты, указанное в вышеприведенном отзыве «Московских ведомостей», колебало «устои» сибирской жизни. Слышался предутренний голос проснувшегося петуха... Нетопыри и совы, не выносящие дневного света, забили тревогу и задушили газету[16].

Глава X.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ РАБОЧАЯ ПЕЧАТЬ В СИБИРИ.

Протест В. И. Ленина и др. ссыльных с.-д. против «Кредо» экономистов. Первая сибирская подпольная типография в Томске.—Подпольные типографии сибирских комитетов РСДРП и их работа.—Содержание выпускаемых прокламаций.—Революционная рабочая печать в эпоху русско-японской войны и первой революции 1905 г.

С проведением в 90-х годах XIX в. Сибирской железной дороги Сибирь начинает постепенно преодолевать свою экономическую и культурную отсталость. Правда, процесс этот развивался медленными темпами. Но уже в этот период в Сибири начинают складываться довольно многочисленные и сплоченные кадры железнодорожного пролетариата, которые в бурную пору первой русской революции 1905 года под руководством партии большевиков сыграли крупную роль в революционном рабочем движении (вооруженное восстание рабочих Красноярского ж.-д. депо в декабре 1905 г., всеобщая стачка сибирских железнодорожников в октябре 1905 г. и др. события). Зачатки пролетарского революционного движения в Сибири относятся еще к 90-м годам XIX в. В 1901 г. организовался Сибирский социал-демократический союз, вскоре развернувший энергичную подпольно-революционную работу. Руководящую роль в Сибирском соц.-дем. союзе очень скоро начали играть большевики, оттеснившие меньшевиков на задний план *.

Но еще прежде зарождения Сибирского с.-д. союза в той же Сибири, в период строительства великого Сибирского ж.-д. пути, заложен был основной фундамент общерусского рабочего с.-д. движения.

Мы говорим о протесте против «Кредо»—программы российского оппортунизма в рабочем движении, программы русских бернштейнианцев.

Протест против «Кредо» был выдвинут и подписан кружком минусинских ссыльных социал-демократов—ленинцев по инициативе и под руководством Владимира Ильича Ленина в 1899 году.

* См. ниже, гл. «Сибирь накануне революции 1905 года».

Приводимые ниже отрывки из воспоминаний старого большевика А. С. Шаповалова характеризуют как протест против «Кредо», так и революционную работу по созданию в России крепкой соц.-дем. партии—работу, выполненную впоследствии созданной Лениным «Искрой».

Отрывки из воспоминаний А. С. Шаповалова приводятся по книге «Енисейская ссылка», М. 1934 г., стр. 46—50.

Второй отрывок, рисующий подпольную работу партии большевиков и революционную рабочую печать 1900—04 гг. в Сибири, заимствован из исторического очерка «Рабочая печать в Сибири», напечатанного в сборнике «Из прошлого Сибири», Омск, 1927 г., стр. 15—30 и 32—34. Очерк этот написан частично на основании воспоминаний старых сибирских партийных работников и может быть до известной степени отнесен к мемуарной литературе.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. С. ШАПОВАЛОВА.

В конце лета 1899 г. мы съехались в селе Ермаковском, где жили т.т. Н. Н. Панин, П. Н. Лепешинский, В. К. Курнатовский, М. А. Сильвин и серьезно больной, находившийся в последнем градусе туберкулеза, тов. Ванеев.

Решено было, когда приступили к обсуждению вопроса о новом политическом течении среди марксистов—так называемом «экономизме», особенно ярко сформулированном в документе, известном под названием «Кредо»,—перейти на квартиру Н. Н. Панина. Квартира последнего расположена была более благоприятно. Панин жил на самом краю села, в доме Леликова, по Большой улице (ныне улица Карла Маркса, дом № 12). Так как хозяева дома летом, во время полевых работ, уезжали на заимку, оставляя стеречь дом полуглухую старуху, то нам здесь никто не мог мешать, и здесь собраться для революционных целей было более безопасно. Через два дома виднелась протока реки Ои, за которой сейчас же шумела тайга. Здесь, на этой квартире, обсуждался вопрос об экономизме и была принята против «Кредо» экономистов опубликованная позднее в брошюре Г. В. Плеханова «Vademecum» известная резолюция, написанная тов. Лениным.

Эта резолюция начинается с указания на огромное значение для рабочего класса непримиримой борьбы за теорию революционного марксизма, высказывается против ее искажения и опошления, вносимого в России так называемыми экономистами, сторонниками Кусковой и Прокоповича, и в Западной Европе—сторонниками Эдуарда Бернштейна, и высказывается за необходимость умелого внедрения в жизнь теории революционного марксизма.

Бернштейниаду в этой резолюции тов. Ленин охарактеризовал как попытку *сузить* марксизм и превратить революционную партию рабочего класса в реформистскую рабочую партию.

Он изобличил авторов «Кредо» в прямой лжи за их попытку утверждать, что рабочие в Зап. Европе никогда не принимали участия в политической борьбе; в искажении марксизма, выразившемся в том, что он якобы игнорирует экономическую борьбу рабочих, и, наконец, в невежестве в области истории русского рабочего революционного движения, так как экономисты утверждали, что создание в России самостоятельной политической партии рабочего класса было бы равносильно переносу на русскую почву чуждых нам задач.

Тов. Ленин определял это течение, выраженное в «Кредо», как попытку направить российское рабочее движение по узкоэкономическому руслу, оттолкнуть его от его прямых исторических задач и под видом борьбы «за правовые формы» передать в руки либерально-буржуазных элементов руководство политической борьбой рабочего класса в России.

Вступление на этот путь было бы равносильно политическому самоубийству русского марксизма. Предостерегая от последнего и призывая на борьбу с тенденциями «Кредо», тов. Ленин в свою очередь наметил действительные задачи русского рабочего класса.

На русских революционных марксистах,—говорил тов. Ленин,—лежит прямая обязанность создания самостоятельной революционной партии рабочего класса. Главной задачей этой партии является захват политической власти с целью проведения в жизнь социалистического строя. На пути к этой цели, в борьбе с самодержавием рабочий класс в России и его партия должны выступить в роли передового борца (гегемона) в грядущей демократической революции.

Партия рабочего класса, вооруженная теорией революционного марксизма, опираясь на фабричных, заводских и других рабочих, поддерживает и группирует вокруг себя революционное движение угнетенных классов и является защитником всех угнетенных народов.

Главным союзником в этой борьбе с самодержавием у партии рабочего класса являются миллионы угнетенных и разоренных крестьян.

Касаясь главнейшего вопроса тактики революционного марксизма, об экономической и политической борьбе рабочего класса, тов. Ленин рассматривал его диалектически, говоря, что бывают времена, когда революционным марксистам приходится обращать большее или меньшее внимание то на экономическую, то на политическую борьбу.

Марксизм, по его словам, объединяет в единой классовой борьбе и экономическую и политическую борьбу. В подтверждение огромного значения, которое придавал экономической борьбе основатель марксизма (Карл Маркс) еще в 1840 году, он сослался на резолюцию о профессиональных союзах и об экономической борьбе, принятую под влиянием К. Маркса в 1866 г.

в Женеве. В этой резолюции определенно говорилось, что профессиональные союзы, руководя экономической борьбой рабочего класса в его повседневных столкновениях с капиталом, не должны быть узкими, не должны уклоняться от общего социального и политического движения пролетариата, а, наоборот, должны стремиться к уничтожению наемного труда.

Что касается России, то самодержавно-помещичий гнет, отсутствие в России всякой свободы выдвигают на первый план задачи политической борьбы рабочего класса. В борьбе с самодержавием партия рабочего класса, партия революционного марксизма является прямым продолжателем дела погибших революционных поколений.

Указывая на необходимость укрепить революционную дисциплину и конспиративные навыки среди революционных марксистов, тов. Ленин выражал надежду, что революционная партия рабочего класса, опирающаяся на огромный, могучий рабочий класс, выйдет победителем и достигнет тех целей, к которым стремится революционный марксизм.

Принятая резолюция была подписана следующими товарищами: В. И. Лениным, Н. К. Крупской, Г. М. Кржижановским, З. П. Невзоровой, П. Н. Лепешинским, О. Б. Лепешинской, В. К. Курнатовским, Н. Н. Паниным, А. В. Ванеевым, Д. Ванеевой, В. В. Старковым, А. М. Старковой, Ф. В. Ленгником, Е. В. Барамзиным, Оскаром Энгбергом, М. А. Сильвиным и А. С. Шаповаловым.

ИЗ ОЧЕРКА «РАБОЧАЯ ПЕЧАТЬ В СИБИРИ».

Первая сибирская рабочая организация зарождается в Томске. Организатором ее был интеллигент Валентин Евгеньевич Воложанин (Валяна), подпавший впоследствии всецело под влияние экономистов рабоче-мысленского направления [1]. Созданная им в марте 1896 г. организация чрезвычайно много отдавала внимания, например, собиранию анкетного материала об экономическом положении рабочих по предприятиям. К политике Валяна относился отрицательно. Так, например, в первой демонстрации студентов в Томске Валяна отказался принимать участие.

В организацию вошли типографские рабочие... Были организованы кружки, на которых разбирали Каутского, Эрфуртскую программу и культуру по Липперту [2]. Главной, основной работой являлось создание кассы взаимопомощи для типографских рабочих. Был выработан устав кассы и послан на утверждение министра внутренних дел, а до утверждения устава была создана подпольная касса с числом участников в 27 человек.

1 мая 1899 г. организация решила отметить пролетарский праздник устройством собрания на квартире в своем тесном кругу.

В 1900 г. организация настолько окрепла, что решили летом устраивать массовки за городом, в лесках, и заявить о своем существовании и о своей программе выпуском прокламации.

Тов. Калмаков вспоминает:

«В сентябре 1900 г. в моей квартире по Лермонтовской ул., д. № 5, состоялось собрание... Мы обсуждали текст прокламации от имени Сибирского социал-демократического союза, который (текст—Б. Ж.) был принят после внесения в него некоторых поправок. На мою долю выпало отпечатать эту прокламацию типографским способом. Текст я набрал в типографии Орлова, а отпечатал у себя на квартире при помощи широкой щетки из щетины в количестве 300 экземпляров».

Таким образом, организация, созданная томскими рабочими во главе с Воложаниным, решила принять на себя работу по обслуживанию всей Сибири. Томск в те времена был сибирскими Афинами: там были два высших учебных заведения [3], и Томск, действительно, являлся сосредоточием интеллигентских сил Сибири.

Для этой цели Сибирский союз деятельно работает по созданию своей подпольной типографии, и ее организация была благополучно доведена до конца. Тов. Калмакову удалось поставить у себя очень простую и легкую технику.

Типография имела около $1^1/_2$ пудов шрифта, кегль 10; шрифт был разложен по кожаным мешочкам, для каждой буквы отдельный мешочек, который затягивался шнурком; затем мешочки по 10 штук надевались на общий шнур и опускались в отверстие печи для самоварной трубы. Печатать приходилось исключительно щеткой из щетины, что, конечно, очень замедляло печатание.

Первомайская прокламация в 1901 г. была распространена в Омске, Томске, Красноярске и Иркутске. В прокламации сибирские рабочие призывались к организации 1 мая нового стиля забастовки и уличной демонстрации для заявления требования восьмичасового рабочего дня и изменения политического строя на основах всеобщего, равного и тайного избирательного права и законодательной работы представителей народа. В заключение рабочие приглашались «смело и дружно итти на борьбу с самодержавием».

Во второй прокламации (без обозначения времени издания) Сибирский союз указывает, что сибирские рабочие весьма мало затронуты пропагандой и почти совершенно не знакомы с задачами современного рабочего движения.

«Если в Сибири,—говорится далее в прокламации,—уже издавна ведется борьба рабочих за улучшение своего положения, то эта борьба еще никогда не была организована надлежащим образом, а была стихийна и создана просто невыносимыми условиями, в которых находились и находятся сибирские рабочие.

Правда, за последнее время во многих центрах скопления рабочих стали возникать организации с целью революционной пропаганды и деятельность некоторых... весьма успешна, но тем не менее все существующие организации Сибири действуют разрозненно, без всякой связи между собою, ограничиваясь узкой рамкой местности, где они возникли. Признавая такое положение вещей не вполне удачным и желая как можно скорее заполнить пробелы и расширить вообще деятельность социалистической пропаганды, одна из сибирских рабочих организаций, в связи с представителями других городов, организовала Сибирский союз, который, считая себя достаточно сформировавшимся, и объявляет о своем открытии».

Далее Союз заявляет, что целью своей деятельности он ставит развитие классового самосознания сибирских рабочих, пропаганду идей борьбы за политическую свободу и за социализм, объединение в прочную социал-демократическую организацию и слияние сибирского рабочего движения с общерусским [4]. Для достижения указанной цели Союз постановил: 1) основать во всех более или менее крупных центрах свои комитеты; 2) организовать правильное и своевременное получение нелегальной литературы; 3) издавать периодический орган «Сибирский рабочий», а также, по мере надобности, книжки и брошюры; 4) в важных случаях выпускать листовки и прокламации агитационного характера; 5) всю указанную выше литературу доставлять в достаточном количестве местным комитетам и 6) по окончательном сформировании в Европейской России социал-демократической партии войти с нею «в возможно тесное соприкосновение» [5].

Осуществить создание своего органа Сибирскому союзу не удалось. В Томске Сибирский союз выпустил только «Социал-демократический листок» в июле 1905 г.

«Эта маленькая типография,—вспоминает т. Калмаков [6],—настолько удачно пряталась от глаз жандармов, что они делали несколько раз обыски и не могли на нее наткнуться.

Ввиду усиленной слежки за мной, технику пришлось передать другому лицу—Семенову, сторожу железнодорожного приемного покоя, который снял квартиру по Тверской ул., в доме № 25, в нижнем этаже (подвале); теперь этот подвал уничтожен.

Переход техники к Семенову был крайне неудобен, так как мне приходилось работать в ней по ночам, что было не совсем безопасно для Семенова, если бы меня, как человека поднадзорного, застали у него при обыске. Техника же была очень хорошо замаскирована в подполье и находилась вне всякой опасности. В ней печатали: сборник революционных песен, первомайскую прокламацию «Единое на потребу». История последней прокламации такова:

Томский архиерей Макарий любил поучать свою паству

своими изречениями, которые выходили небольшими книжечками под общим заголовком «Единое на потребу»[7]. Ханжи, почитатели Макария, гордились своим наставником и постоянно ссылались на его изречения. Учтя это положение, мы решили выпустить прокламацию под названием «Единое на потребу» небольшой книжечкой в обложке из бумаги того же цвета и набор сделали тем же шрифтом и с теми же украшениями, как это было у книжек Макария.

Прокламацию выпустили на первый день пасхи, и она была роздана во время заутрени по церквам.

Прокламация начиналась елейным языком по поводу пасхи, а потом все ярче и ярче развивалась мысль о рае на земле—социализме. Наше «Единое на потребу» охотно брали молящиеся в церквах. Когда же в конце заутрени дошла весть до Макария о содержании розданных книжек «Единое на потребу», то он распорядился немедленно отобрать все книжки, но было уже поздно, публика большей частью их не вернула и унесла с собой домой».

Эта типография обслуживает рабочее движение и в 1902 и 1903 гг. Она выпускает листки и бюллетени во время забастовки типографских рабочих в Томске, а также листки на 1 мая 1902 и 1903 гг. Вот один из этих листков, адресованных хозяевам:

«1 мая—великий праздник рабочих всего мира, это праздник для всех тех, чьи мускулистые руки и кто имеет честное сердце. В этот день сознательные рабочие во всем мире бросают работу и посвящают его гулянию и обсуждению вопроса борьбы со своими врагами, а в России—демонстрации против вседавящего царизма, самодержавного произвола.

Томские рабочие также будут праздновать 1-е мая, и зная, что вы имеете промышленное заведение, Комитет предлагает вам освободить всех ваших рабочих от работ добровольно в этот день—славный наш праздник.

Да здравствует социализм!
Мы требуем 8-мичасового рабочего дня!
Долой самодержавие!
Томский комитет соц.-дем. союза.
1 мая 1902 г.».

Не отставали от Томска и другие города Сибири. Такие города, как Чита, Иркутск и Красноярск, где были скопления рабочих, вначале тоже имели кружки учащейся молодежи, организованные и руководимые ссыльными. В этих же городах начинается мало-помалу революционная работа и среди пролетариев; образуются комитеты Сибирского социал-демократического союза. Комитеты приступают к выпуску своих прокламаций, вна-

чале гектографским способом, а затем переходят к печатному подпольному станку.

Следующая за томской типографией появляется подпольная типография в Красноярске. Иркутская судебная палата в своем очерке революционного движения отмечает, что в ночь на 29 января 1902 г. была распространена по городу Красноярску первая прокламация Красноярского комитета Сиб. соц.-дем. союза, озаглавленная: «К рабочим красноярских (железнодорожных—Б. Ж.) мастерских». Начинается эта прокламация с объяснения слова «социалист». Затем, очертив в нескольких словах историю рабочего движения в России, прокламация говорит: «Пора и нам, красноярским рабочим, понять, что без политической свободы нам не добиться лучшей доли. Организуйтесь же, товарищи! Учитесь сами и учите других, не оставляйте без протеста ни одного злоупотребления администрации. Сообщайте комитету для опубликования все невзгоды и обиды, которые вам наносят, а главное, помните всегда, что вы являетесь одним из членов общерусской и всемирной рабочей семьи».

С этого времени был распространен целый ряд прокламаций, оттиснутых сначала на гектографе, затем при помощи циклостиля и, наконец, типографским способом.

Подпольная типография сразу же стала выпускать листки на злобу дня, освещая местные экономические нужды рабочих.

«Однажды,—вспоминает тов. Рогов [8],—комитет выпустил прокламацию, в которой был затронут целый ряд вопросов быта и положения рабочих красноярских железнодорожных мастерских. Начальник мастерских в особом объявлении, вывешенном для рабочих, пытался доказать, что написанное в прокламации неверно. Комитет проверил все ранее им написанное и на основании полученных им данных выпустил новую прокламацию, на которую начальнику мастерских ничего нельзя было возразить».

Типография обслуживала забастовку 1902 г., выпуская аккуратно бюллетени о ходе забастовки и листки-прокламации.

Во время хода забастовки типография была арестована жандармами вместе с работавшими в ней товарищами. Но каковы были удивление и ярость жандармов, когда на другой день после провала вышел очередной бюллетень, отпечатанный в новой комитетской типографии. Рабочие только из бюллетеня узнали о провале типографии.

Забастовка кончается победой рабочих. Прокламация, отпечатанная в типографии, анализирует весь ход забастовки и призывает рабочих вступить в ряды социал-демократической партии:

«Приступим же к делу, товарищи! Будем организовываться через свой комитет, войдем в состав общерусской партии и вместе с нею присоединимся к борьбе рабочих всего мира за пол-

ное освобождение рабочего класса от рабства экономического и политического».

Эта типография проработала с ноября и весь почти 1904 год, когда она была арестована, наконец, жандармами. Типографией было выпущено много листовок, которые часто появлялись на стенах полицейского управления и даже в приемной губернатора.

Следующим комитетом, который поставил у себя типографию, нужно считать Иркутский комитет РСДРП. Первую прокламацию, отпечатанную в типографии, комитет выпускает 16 марта 1902 г. и руководит затем забастовкой рабочих на ст. Иннокентьевской, возникшей 22 апреля 1902 г. Стачка возникла на экономической почве и приняла затем политическую окраску. В прокламации, выпущенной комитетом по поводу стачки, мы читаем следующие красноречивые строки:

«Пусть знает начальство и правительство, что на каждый отказ, на каждую несправедливость мы и теперь и впредь будем отвечать дружными криками: Долой самодержавие, да здравствует политическая свобода, да здравствует республика, да здравствует социализм!»

Несмотря на усиленный жандармский надзор и слежку, типография Иркутского комитета работает хорошо. По словам Н. К. Крупской, типография отпечатала в 1903 г. брошюрку В. И. Ленина «Письмо к товарищу» [9].

По свидетельству иркутского прокурора, «Иркутский комитет в своих прокламациях, обращаясь «К рабочим и работницам г. Иркутска», «К иркутским учителям», «К новобранцам», всесторонне излагал программу действий Российской социал-демократической партии. Лозунгами на этих прокламациях были:

Долой самодержавие!
Долой капиталистов!
Да здравствует социализм!»

Всего Комитетом выпущено прокламаций с марта 1902 г. по апрель 1903 г. 28 названий.

Переходим к Чите. По свидетельству т. Ярославского, в Чите среди учащихся издавна действовали подпольные кружки, в которых посильное участие принимал и т. Ярославский. В 1898 году т. Ярославский начинает вести революционную работу среди железнодорожных рабочих и среди них создается социал-демократическая группа, которая вступает в связь с Томском, Красноярском и Иркутском.

17 апреля (старого стиля) 1902 г. уже от имени Читинского комитета Сибирского социал-демократического союза были распространены в Чите отпечатанные на гектографе следующие листки:

1) Майский листок 1902 г.,
2) К рабочим Забайкалья,

3) Офицерская памятка и

4) Солдатская памятка.

Своей подпольной типографии (печатного станка) Читинский комитет долго еще не имеет, но, тем не менее, он откликается по возможности на все текущие события, выпуская листки гектографским способом.

Позже сравнительно выступает Омск. Кружки среди омских железнодорожных рабочих появляются с 1898 г. В 1902 г. складывается омская группа революционной социал-демократии... Они выпускают листки, отпечатанные гектографским способом.

Так появляется рабочая печать и в других сибирских городах.

В 1902 г. и, в особенности, в 1903 г. революционное рабочее движение в Сибири налицо.

С развитием рабочего движения приходит конец экономического направления как в России, так и в Сибири. Образовавшиеся комитеты и сам Сибирский союз определенно и решительно переходят на сторону «Искры». В этом отношении решающую роль сыграла брошюра В. И. Ленина «Что делать?» [10].

Сибирский союз, заявивший о своем переходе на сторону «Искры» в январской декларации 1903 г., подвергся реорганизации...

За декларацией Союза появился целый ряд листков и брошюр с перепечатками из «Искры» и «Зари», органов революционной социал-демократии [11].

В Томске появились две типографии: одна Томского комитета и другая Сибирского союза...

Союзная типография была оборудована великолепно: она могла печатать весь лист в 4 полосы. Помещалась она в полуподвальном помещении и была замаскирована очень искусно глухой стеной, так что попасть в нее было трудно.

Все-таки жандармы проследили. Осенью 1903 г. была арестована комитетская типография, а в марте 1904 г. была захвачена и союзная. Провалилась она благодаря неосторожности жены т. Калмакова. Последняя, сидя в тюрьме, доверилась уголовной арестантке и стала передавать на волю письма. Все эти письма, понятно, шли через руки жандармов. Таким образом жандармам удалось осветить всю организацию изнутри. Получился грандиозный провал: было арестовано 54 товарища и вместе с ними союзная типография.

В середине 1903 г. в Иркутске состоялась первая конференция сибирских комитетов РСДР партии, на которой произошло объединение всех действовавших в Сибири комитетов и был создан Сибирский союзный комитет, который взял на себя руководство всей революционной работой в Сибири.

Во время русско-японской войны Сибирский союзный комитет развил огромнейшую агитацию и пропаганду, направленную против царского самодержавия и войны.

В 1904 г. в Сибири действуют подпольные типографии в Чите, Иркутске, Красноярске и Томске... Снова в Томске появились две подпольных типографии—одна Сибирского союза (большая) и другая Томского комитета (малая).

Деятельность всех этих типографий, несмотря на ручной, весьма примитивный способ работы, была весьма продуктивная. В одних только томских типографиях было отпечатано в 1904 г. не менее полумиллиона, если не больше, листков.

Содержание прокламаций, выпускаемых комитетами и Сибирским союзом, составляли злобы дня—война и царское самодержавие; печатались также прокламации и против либеральной буржуазии, и против партии социалистов-революционеров, и даже против отдельных сибирских администраторов-самодуров.

Но главным образом содержание прокламаций сводилось к разъяснению рабочим массам необходимости вооруженного восстания для низвержения царского самодержавия, необходимости замены царского строя демократической республикой, которая должна быть завершена социализмом.

При этом рабочему классу указывалось на необходимость создания своей классовой партии и показывалось на примерах, что буржуазия является также врагом рабочего класса и что она может с нами итти только на борьбу с царским строем, но свалив силами рабочих самодержавие, царский строй, эта буржуазия пойдет против рабочего класса; указывалось также и на то, что эта буржуазия всегда способна изменить делу революции и поэтому надо к ней относиться очень и очень критически.

Доставалось в рабочей печати эсерам. Их обличали в мелкобуржуазной сущности, в стремлении затушевать классовые противоречия и склонности итти на соглашение с буржуазией.

Лозунгами социал-демократов тогда были: «Долой царское самодержавие», «Долой войну», «Через вооруженное восстание и стачку—к демократической республике, через республику—к социализму».

Социалистический, точнее коммунистический, характер русского рабочего движения подчеркивался во всех прокламациях социал-демократов... [12].

Что представляла из себя подпольная типография?

Устройство подпольной типографии было самое простое: станок, два железных рельса, скрепленных между собою; по ним катается круглый чугунный вал весом пуда в два—пять; между рельсами помещается шрифт; под шрифтом толстое бемское (зеркальное) стекло; имеются кроме того валик для наведения

краски на шрифт, две кассы для шрифта, верстатки для набора, краска, бумага и по домашности необходимая мебель.

Обычно двое товарищей, по паспорту «муж и жена», занимали отдельный домик, нередко флигелек во дворе, и поселялись в нем как самые обыкновенные обыватели. Обстановка комнат самая мещанская, с иконами в переднем углу. Товарищи, работающие в типографии, не должны были ничем выделяться из окружающей их среды, чтобы не обращать на себя внимания.

Сама типография (или техника, как мы ее называли) помещалась в отдельной комнате, куда посетители, вроде хозяина дома и прочих чужих лиц, уже не допускались. Так как в Сибири окружающая обстановка была таки довольно патриархальная, полиция и жандармерия не отличались особой опытностью, то их легко было провести за нос. И подпольные типографщики (техники) жили довольно спокойно и подолгу занимались своей полезной деятельностью.

Вспоминается, как в Иркутске известный жандармский ротмистр Гаврилов... гонялся за типографией Иркутского комитета РСДРП. Жандармы захватывают дом, где накануне была типография, в полной уверенности, что здесь стоит техника. А ее уже и след простыл. Гаврилов знал в лицо всех иркутских эсеров и эсдеков. Вызывает В. В. Виноградова [13], который, по предположению Гаврилова, заведывал типографией (и на самом деле В. В. Виноградов был заведующим иркутской с.-д. типографией), и между ними происходит приблизительно такой разговор:

«Мы вашу типографию проследили, она помещалась вот в таком-то доме, но куда вы ее увезли?» Тов. Виноградов пожимает плечами от удивления и возражает, что «господин полковник ошибается, что он никакой типографии не знает и к подпольным организациям вообще никаких отношений не имеет».

Гаврилов уверяет, что ему прекрасно известно о том, что Виноградов заведует подпольной типографией и рано или поздно его накроют с ней.

Тов. Виноградов не сдавался: «знать не знаю и ведать не ведаю»—был его постоянный ответ. Нередко Виноградова садили в тюрьму, а типография продолжала работать. В марте 1904 г., наконец, часть типографии была захвачена Гавриловым при аресте Дмитрия Феденева. Гаврилов ликовал. Каково же было его удивление, когда вскоре появилась прокламация, отпечатанная в неуловимой типографии Иркутского с.-д. комитета.

В Кургане, например, типография помещалась рядом, под одной крышей дома, где жили полицейские, причем в одной половине, отделенной от другой глухими сенями, помещалась типография, а в другой половине жили полицейские. Полицейские были очень довольны своими квартирантами. «Вот хорошие люди,—удивлялись они:—мы пьем, скандалим, а они ничего, не обращают на нас внимания».

В Томске союзная типография помещалась в большом доме на окраине, недалеко от кладбища. Хозяйкой была П. И. Орешина, лет 50. У ней было целое хозяйство: две коровы и куры. Молоко продавалось на сторону. Типографщики жили у ней как квартиранты. Типография помещалась в отдельной комнате. Хозяйка, конечно, знала, кто и что у ней помещается. Сибирский союз выдавал на содержание типографии около 25—30 руб. на человека, смотря по средствам. На одежду выдавались особые средства. Обычно каждый месяц производился подсчет расходам и затем полученная из союза сумма распределялась на все эти нужды. Если получался остаток, то он делился между работниками на мелкие расходы: театр, баня, газета и пр. В общем типографщики очень бережливо относились к денежным средствам организации. Они сознавали, что эти деньги собраны с рабочих и что они нужны для революции, а потому типографщики себя урезывали во всем.

Условия работы в подпольной типографии были, разумеется, трудны. Товарищи, севшие в технику, не должны были посещать какие-либо собрания, даже публичные библиотеки, и вообще подальше держаться от своей партийной братии и подозрительных, с точки зрения жандармерии, мест. Им разрешалось, и то не очень часто, посещать театр. Сообщение с партийной организацией велось через одного товарища (заведующего техникой), который приносил заказы, бумагу и прочее, и на его же обязанности лежало увозить или на себе уносить сделанную работу. Он сообщал все партийные новости и вообще должен был держать товарищей техников в курсе партийных дел. Но это не всегда исполнялось, и нередко техники узнавали многие события спустя долгое время.

Ясно, долго работать в типографии было очень тяжело: нервы расшатывались. Постоянно приходилось держать себя на-чеку в сношении с соседями, постоянно врать и не завираться. А от последнего трудно было удержаться, так как наша публика не всегда хорошо знала обывательскую практическую жизнь, и на этой почве нередко возникали комические недоразумения, которые могли привести к довольно неприятным последствиям: к провалу техники...

Глава XI.

ИЗ БЫТА РАБОЧИХ СИБИРСКИХ ЗОЛОТЫХ ПРИИСКОВ.

«Жизнь каторжника несравненно лучше жизни приискового рабочего».—Кабала при помощи «задатков» и «кредита».—Каторжная работа и грошовый заработок.—Умирающий рабочий на муравейнике.—Как сибирская буржуазия ценила своих верных слуг.

Классово-сознательное революционное пролетарское движение зародилось в Сибири в 90-х годах XIX в., когда начала соз-

даваться массовая революционная партия русского пролетариата—партия большевиков. Но много раньше, в первой половине XIX в. и даже в XVIII веке, порой происходили более или менее бурные стихийные вспышки движения, беспощадно эксплоатируемых хищными сибирскими капиталистами и царскими чиновниками рабочих сибирских казенных заводов и таежных золотых приисков. В известном труде В. И. Семевского «Рабочие на сибирских золотых приисках» (СПБ, 1898 г., 2 тома) зарегистрирован не один случай волнений приисковых рабочих. Волнения эти принимали иногда широкие размеры, и для «успокоения» рабочих прибегали к мерам свирепого подавления.

Положение рабочих золотых приисков было действительно невыносимым: 12-ти и даже 14-часовой рабочий день, нищенская зарплата, отвратительная пища и ужасные жилищные условия, штрафы, обсчеты, издевательства всякого рода—все это было заурядным явлением на таежных приисках. Хищные золотопромышленники пытались выжать за короткий летний сезон из рабочих и золотоносных залежей все, что они могли дать, и не щадили ни тех, ни других. Горное начальство за взятки покрывало любые преступления золотопромышленников. Закабаленным таежным батракам надеяться было не на кого, и они терпеливо несли свою горькую долю, лишь изредка разражаясь стихийными «бунтами».

Ввиду отсутствия мемуаров на эту тему печатаемый ниже первый отрывок взят из малоизвестного очерка писателя-сибиряка И. А. Кущевского (1847—1876 гг.) «Не столь отдаленные места Сибири», напечатанного в народническом журнале «Отечественные записки» за 1875 г. (кн. 7, стр. 33—36 и 40—42). И. А. Кущевский облек свой очерк в беллетристическую форму и ведет рассказ от имени политического ссыльного, несколько лет проживщего в Сибири, но в основе лежат собственные впечатления писателя от родного края. Впрочем, так как сам Кущевский на таежных приисках, насколько нам известно, не бывал, то возможно, что он действительно передает слышанные им от сибирских знакомых рассказы о приисках. Как бы то ни было, очерк Кущевского, наряду с известным рассказом сибирского писателя-народника Н. И. Наумова «Еж» (1872 г.) и романом Л. П. Блюммера «Около золота» (1871 г.), является одной из первых в русской художественной литературе попыток изображения тяжелой жизни сибирских приисковых рабочих.

Второй отрывок представляет собой одну из глав романа Л. П. Блюммера «Около золота», помещенного в журнале «Артист» в 1871 г. и в 1885 г. вышедшего отдельным изданием под заглавием «На Алтае». Леонид Петрович Блюммер (1840—1888 гг.) был в 60-х гг. сослан в Сибирь по политическому делу, служил на алтайских золотых приисках и хорошо изучил нравы

таежных дельцов и горных чиновников. Многие сцены его романа несомненно списаны с натуры, хотя и облечены в беллетристическую сюжетную форму. Поэтому мы, за неимением в данном случае прямого мемуарного материала, приводим выразительный отрывок из малоизвестного даже записным литературоведам романа Блюммера*.

ИЗ ОЧЕРКА «НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТА СИБИРИ».

...От Ивана Михайлыча[1], а после и от других, я слышал ужасные вещи о быте приисковых рабочих. Рассказчикам лгать было нечего и они даже имели некоторый интерес представить дело в таком свете, что быт рабочих довольно благополучен. Они сами управляли этими рабочими и устраивали их быт. Тут же я слышал и рассказы рабочих о приисковой жизни, мог все сопоставить и проверить. Поэтому я без всякого преувеличения могу сказать, что жизнь каторжника несравненно лучше жизни всякого приискового рабочего.

В раннюю осень, когда надо платить подати, по деревням и городам разъезжают доверенные-вербовщики со своими агентами, которые, спаивая народ по кабакам и разыскивая всяких бедняков, манят рабочих прелестью задатка рублей в тридцать или пятьдесят, который сейчас же выдается на руки. Это—важная приманка. Разве опытный только и видавший виды человек не пойдет на нее.

— После отработаешь! Тебе пятьдесят рублей жалованья в месяц... Отработаешь!

— Отработаю!...

Пятьдесят рублей в месяц в сибирском городе, а тем больше в деревне, где хлеб редко доходит до гривны за пуд, а говядина до 30 копеек за пуд, кажется всякому капиталом, который действительно трудно прожить даже в год, а тут этот капитал дают ему в месяц при готовом содержании: тут легко можно скопить в лето несколько сот рублей, а не то что отработать задаток. Чиновник пятидесяти рублей в месяц не получает; редкий приказчик столько получает, а тут дают пятьдесят рублей простому мужику, да еще с готовыми харчами! Какой мужик не пойдет?..

Получив задаток, мужик поступает с ним точь-в-точь так же, как поступал в России в прежнее время наемщик (в рекруты—Б. Ж.) со своими деньгами. Нанявшийся на прииски мужик, как и наемщик, зная, что они за деньги продались в тяжелую кабалу, стараются отвести душу в настоящем за счет горького

* О Л. П. Блюммере см.: С. А. Венгеров, Критико-библиографический словарь русских писателей, т. II.

будущего. Деньги безрассудно и безобразно прокучиваются и проматываются. Пропившись и промотавшись, мужик зимует дома шесть месяцев в положении человека, продавшего чорту душу. Ранней весной за ним уже являются... Его присоединяют к партии и отправляют. Служба его считается со дня прибытия на место, а дорога иногда продолжается до двух месяцев. Дорогой он кутит и кутит. У него есть услужливый материальный (приказчик золотопромышленника), который «верит тому в расчетную книжку»: у него кусок говядины с хлебом стоит восемьдесят копеек, а водка продается по невозможной цене. Мужик сначала ужасается и голодает, но скоро голод и утомление заставляют его пожертвовать восемью гривнами; съевши одну порцию, он чувствует непреодолимую потребность съесть другую... И так он проедает, не дойдя до прииска еще, рублей пятьдесят или шестьдесят. Все это вносится в книжку и, прийдя на прииск, мужик уже оказывается должным конторе (с задатком) рублей около ста...

Рабочему назначается ни с чем несообразно громадное жалование, но он его никогда не получает. На приисках он по необходимости должен покупать одежду и обувь, которая портится очень быстро при работах, иногда по пояс в воде, если не считать того, что золотопромышленники нарочно покупают материал самого дурного качества, чтобы он портился скорее: покупают нарочно гнилой, лежалый ситец для рубах и бродни (сапоги) из перегорелой кожи. Бродни, которые в Томске стоят рубль, на приисках отпускаются рабочим в счет по 8 рублей; рубаха из гнилого ситца, не стоящая больше тридцати копеек и рвущаяся ежедневно, отпускается по три рубля; рюмка водки—по целковому...

И какую при этом каторжную работу несет приисковый рабочий! Он ложится в двенадцать часов ночи (под осень, в темные ночи, до этих часов работают даже с фонарями), а в три уже встает. От начальства золотопромышленнику даны казаки с нагайками, которые очень хорошо умеют школить ленивых или строптивых. Рабочий всегда ест постное, какую-то гнусную похлебку из соленой рыбы, которая при таком громадном труде, вовсе не возобновляет его силы; он голодает, худеет и болеет. С больным рабочим золотопромышленник поступает гораздо хуже, чем самый жестокосердый человек со своей собакой. Боясь, чтобы рабочий не умер на прииске, ему отдают паспорт, выводят его подальше от прииска в тайгу, предоставляя ему заблудиться и умереть голодной смертью. Бывают ужасные вещи. От очевидцев я слышал, например, что одного рабочего с гангреной на ноге, истомленного болезнью и голодом, нашли живого еще на муравейнике, объедаемого муравьями: он дико выл и стонал источным голосом перед смертью. Другого, чахоточного, отбили у волка, который обкусывал и глодал ему руку в то вре-

мя, как он был еще жив, но не мог уже подняться с места, в окончательной потере сил от усталости, истомления и голода.

Расчет с рабочими бывает короток. Редкий из них, проработав хуже каторжника шесть месяцев, получает рубль или два на дорогу. Большинство остается еще в долгу конторе, но паспортов великодушно не задерживают за долг. Возвращаясь по домам, рабочие часто большими партиями гибнут, заблудившись в тайге. Другие убивают товарищей, заметив у них краденое золото, которое проносится по большей части в поясных туясках (берестяных бураках) с водой, грабят золото и уходят в тайгу, а потом сами погибают с голоду с несколькими фунтами драгоценного металла в руках, на одну десятую долю которого они могли не только быть сытыми, но и богатыми...

...Утром, когда нам подали чай и шипящие блины и пряженники на сковородах, Иван Михайлович попросил меня запечатать конверты. Все конверты были с деньгами, без всяких писем. Где запечатывалось две сторублевки, где—три двадцатипятирублевки, где—одна, где—красненькая, а где—и синенькая. Вышла целая гора пакетов, и я очень жалею, что не сосчитал тогда общую сумму...

— Кому это три рубля?—спросил я, запечатывая последний конверт.

— Кочегару. Тут все от мала до велика берут...

— Да за что же давать кочегару?

— Не дайте! Он устроит такой бенефис, что при сплавке горшок лопнет... ну, и собирайте золото!

— Это уж слишком!..

— Не слишком, а без малого... Это—дело простое. О благополучии рабочих заботятся до того, что они совсем голы остаются. Если бы предоставили так, что зубами, али лопатой рой; в машине, али во рту промывай, мне все равно; представляй только золото и получай за него деньги—тогда бы рабочему не в пример лучше было... А то на этих наблюдателей, чтоб он счастлив был,—все его добро идет... Отчего приисковый рабочий и зовется несчастненьким, что уж очень много заботятся об его счастьи. Этим и возмущаться нечего!.. Дело простое!.. Теперь мы сдаем (казне—Б. Ж.) золото... что его стоит сдать благополучно? Тысячи! Золотопромышленник, вот хоть бы наш Федор Степанович, выпил в лето на приисках с разными чиновниками три тысячи бутылок шампанского[2]. Это надо покрыть... А с кого покрыть?..—с рабочего! Цена золоту в казне стоит одна: три с полтиной (золотник—Б. Ж.)... Двадцать лет назад, когда чиновнику можно было дать синенькую, пуд говядины купить за гривну, а целого быка за три рубля, когда лошади по три рубля продавались, золото стоило три рубля с полтиной. И

теперь три рубля с полтиной, когда чиновнику нельзя дать меньше сотенной, когда он не стал пить водки, а требует шампанского, когда пуд говядины стоит сорок копеек, а бык десять рублей, рабочему мало остается, и когда цены на чиновников да на быков еще поднимутся, он совсем будет нагишом ходить!.. Золотопромышленник своего не упустит. Он прежде триста тысяч в год получал—давай ему их и теперь: теперь и для него все стало дороже. Он своего не упустит! А золото все по-старому принимают, по три с полтиной... Чтобы добыть что-нибудь, надо прижать рабочего. Управляющий, который затратил сто тысяч, да не нашел золота на четыреста тысяч—худой управляющий. Поневоле жмешь сок из людей и лошадей... Они все сдыхают на прииске в лето; людям не лучше. Всякий уж непременно выносит цынгу. Хорошо, что из России присылают сюда каждый год несколько тысяч народа, а то из-за приисков здесь все бы давно вымерли: голая бы земля осталась...

Рабочий в тайге хуже крепостного: его заставляют работать восемнадцать часов в сутки и работать такую работу, перед которой паханье земли покажется шуткой: он стоит по пояс в воде и вынимает со дна ежеминутно по пуду песку на своей лопате. Он в тысячу раз хуже каторжного. Его нанимают с целью, чтобы он сдох на работе. У помещиков отняли крестьян. Кто владел справедливее: помещик ли крестьянами или золотопромышленник (рабочими—Б. Ж.)?.. Вотчины и поместья давались за заслуги, хотя в танцах. Он танцовал и вытанцовал пятьсот душ. Он умел танцовать... За что же получил свой прииск хоть наш Федор Степанович? Трудился он, был он хоть раз в Сибири? Нет! Ему все обделал Мошаров[3]. Это был собака, а не человек: он чутьем узнавал, где золото и, как всякая охотничья собака, предоставлял плоды своих открытий охотникам: ничем не пользовался сам. Хуже. Когда собака затравливает зайца, ей бросает охотник ножки. Ему и этого не бросили: с голоду умер... А Федор Степанович? Что он сделал? Послал из Петербурга управляющего, дал ему кредит... Тот нанял рабочих, начал работать... и вот миллионы расти начали; на приисках по три тысячи бутылок шампанского начали выпивать... И легко им, и хорошо. А если рабочие ругаются, так они поругаются да и перестанут...

ИЗ РОМАНА Л. П. БЛЮММЕРА «ОКОЛО ЗОЛОТА».

...Все рабочие были собраны на площадке около дома управляющего; лица их были сумрачны; в толпе шел глухой ропот.

— Это что за урус такой?—спрашивали рабочие друг друга.

— А должно фитанец на спине учнут нам прописывать,—сострил кто-то из них.

— Нишкни, дурье!—сердито ответили ему,—а не то с тобою

такие имальцы сыграют, что и моржанами сидню-то цветить не понадобится...

Ровно в полдень вышли Ястребов с Анзаровым и вслед за ними Сунгуров; минуты через три конюхи привели скованного Гурина[4]. Ястребов вынул из кармана два листа писаной бумаги.

— Это твое писанье?—обратился он к Гурину.

Тот не отвечал.

— Тебя спрашивают или нет?

— Мое...

— Ты донос послал?

— Я...

— И стихи ты писал об «Отче наш»?

— Я...

По знаку Ястребова конюхи растянули Гурина на землю; тот простонал.

— Пока ты не съешь все эти листы—пороть будут тебя,— медленно, слово за словом отчеканил управляющий.

— Лука Иринархович!—хватающим за душу голосом проговорил распростертый Гурин,—вы меня уже совсем загубили, из человека зверем последним сделали: не губите больше! простите меня! Я больше никогда не буду... что меня еще мучить?

— Торговаться со мною вздумал?.. Нет, ешь... Вы чего зеваете!—крикнул Ястребов на конюхов.

Розги взвизгнули; нещадно с двух сторон стегали Гурина дюжие рабочие... Судорожно рыдая, изнемогая от боли, смачивая бумагу своими слезами, ел несчастный исписанные им листы; целыми комками глотал он их, чтобы скорее кончилась мука... Минут через пятнадцать Гурин не кричал уже и не стонал; кучки изжеванной, но не проглоченной бумаги лежали у его рта, из которого начала истекать кровь.

Ястребов крикнул: довольно!

— Всем вам будет то же,—обратился он к рабочим,—если кто хоть пикнуть осмелится, слышите?

Попрежнему спокойно пошел он в свою квартиру: трудно было определить его душевное состояние; там ожидал его Анзаров, растревоженный и чуть не плачущий.

— Боже мой! Лука Иринархович,—обратился он к Ястребову,—можно ли допускать подобного рода вещи? Есть ли у вас сердце после этого?

— Вы, Анзаров, право, слишком молоды, чтобы судить спокойно, как следует практическому человеку... Жизнь дорога вам или нет?

— Как это? к чему вопрос?

— А к тому, что если б не пострадал один мерзавец, то, может статься, сегодня же ночью меня с вами не было бы на свете, да потом с остальными рабочими другим пришлось бы

расправляться еще пожестче. Если раз дошло до бунта, то или надо безжалостно вырвать его корни, или добровольно подчиниться его естественным последствиям. Вы что предпочитаете?

— Разве опасность была так велика? Все, напротив, было, по моему мнению, спокойно...

— Поживете на приисках—узнаете... И я и вы были бы наверное зарезаны; тот самый страдалец, о судьбе которого вы сожалели, первый пырнул бы вас ножом в бок... Вы знаете этого человека, с которым я обошелся так круто?

— Нет...

— А я знаю!

— Но однако... он человек же... притом же учившийся...

— За покушение ударить меня он разжалован из урядников, переведен в разряд штрафных, высечен—разве он исправился?

— Рецидивист... .

— Именно... Вы, Анзаров, пожалуй, можете также удивиться: почему я все сделал перед вашими глазами, а не тайком. Отвечу—во-первых, потому, что это было необходимо, а, во-вторых, потому, что вы сами наполовину виновны во всей истории—разумеется не сознательно, а по неопытности.

— Я? я виноват?—изумленно прошептал Анзаров.

— Да, вы! Вы взглянули на ревизию слишком легко, вы не сочли нужным даже поговорить с рабочими; вам нужно было действовать совершенно иначе: по крайней мере с виду показаться строгим и исполнить формальности... Предположим теперь, что вы захотели бы донести начальнику заводов,—вы не можете, потому что...

— Да я доносить вовсе не думаю... Я... я... только так заговорил...

— Я вам дал урок, который пригодится в будущем.

— Я... я...

Анзаров не договорил, потому что при последнем слове влетевшая в окно пуля ударила его прямо в висок. Кровь широкою волною разом брызнула от отверстия. Анзаров тут же рухнулся, как сноп. Ястребов побледнел.

В шагах полутораста от дома, за деревом, прислонившись к нему, стояли два человека: едва живой Гурин с ружьем и Фролов.

— Что? попал?—чуть слышным голосом спросил первый.

— Еще не видать,—отвечал Фролов.—Батюшки!—закричал он через несколько секунд,—Никола Петрович! говорил я тебе—дай я стрельну... ты, кажись, левизора убил, а управляющий—смотри, на крыльцо выскочил...

— Господи, прости!—простонал Гурин, опустившись в изнеможении на землю,—не его хотел я покончить, не он мой изверг... Ну, Фролов,—беги теперь... Я все равно умру... Вот коли Оля родит,—так ребенка-то унеси куда-нибудь... Слышишь?

— Слышу, Никола Петрович...
— Исполнишь?
— Как не исполнить?—исполню...

Гурин закрыл глаза; а Фролов, поклонившись на все четыре стороны, скрылся в таежной чаще...

Глава XII.

ИЗ БЫТА СИБИРСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ ДО РЕВОЛЮЦИИ 1905 г.

Независимый стрелочник и грозное начальство.—Стрелочник обличает инженера.—Защита стрелочником Гранкиным своего человеческого достоинства.—Как «съели» смелого стрелочника.

Для иллюстрации положения сибирских железнодорожных рабочих до Октябрьской социалистической революции мы используем отрывки из рассказа сибирского писателя Феоктиста Березовского «Стрелочник Гранкин», напечатанного в «Первом литературном сборнике сибиряков», Томск, 1906 г., стр. 28—57. Рассказ этот, написанный «с натуры», ярко рисует бесправие и приниженное положение железнодорожных рабочих, представлявших собою авангард старого сибирского пролетариата. Мемуаров, отражающих эту сторону жизни старой Сибири, к сожалению, не сохранилось.

В рассказе Березовского выведен протестант-одиночка. Но нужно помнить, что действие рассказа происходит до революции 1905 г.

ИЗ РАССКАЗА «СТРЕЛОЧНИК ГРАНКИН».

Летом 19.. года я был переведен на службу на одну из маленьких станций, расположенных в тайге.

После девятидневного путешествия я прибыл, наконец, со своим вагоном к месту назначения, но так как поезд наш пришел на эту станцию ночью, то я решил предварительно выспаться и уже утром итти обозревать свою новую резиденцию и представляться станционным агентам...

...Мы осмотрели квартиру и вернулись на станцию: начальник станции в контору, а я на платформу, куда стрелочники подгоняли мой вагон... Остановив вагон против жилого дома, мы стали выгружать вещи и переносить их в квартиру. Гранкин вошел в вагон и вместе со мной стал подавать оттуда вещи, а три стрелочника и сторож занялись переноской их в квартиру, куда уже ушла моя семья.

Только теперь я рассмотрел хорошенько Гранкина: это был мужичок лет сорока, маленького роста, сухопарый, с несколько продолговатым лицом, украшенным льняной козьей бороденкой,

высоким тонким носом и серыми смелыми глазами; на нем была форменная шапка с громадным гербом, заплатанный серый пиджачишко, подпоясанный кушаком с бляхой, и такие же заплатанные серые шаровары, заправленные за голенища громадных сапогов, подбитых гвоздями; у кушака висели непременные атрибуты стрелочника: ножны с флагами, рожок и коробка петард.

Мы разговорились с ним.

— Давно ты здесь служишь?—спросил я его.

— Да уж года два,—ответил он, не отрываясь от дела.

— Все время на этой станции служишь?

— Нет... Здесь месяцев пять... А раньше служил на Уктуйской станции... Это перегонов пять отселева... Да повздорил с начальником—перевели сюда...

— Значит, ты уже привык к здешнему краю?

Он поднял на меня глаза и, почесав затылок, улыбаясь, ответил:

— Как сказать... нужда заставит—и в аду привыкнешь жить... Да еще будешь нахваливать!

— Значит, не особенно хорошо здесь?

— Место здешнее ничего... Как и вся здешняя сторона... Только уж очень много мошенников!.. В особливости начальство и разные господа... Да и простой народ—не ахтительный!..

— Я тоже так думал, когда ехал сюда,—согласился я с ним.—Да и как тут будет хорошим край, когда повсюду каторжники расселены и все леса ими набиты...

Он опять взбросил на меня глаза, в которых блеснул огонек иронии, и, несколько помолчав, задал мне вопрос:

— А как вы располагаете... каторжники загадили здешний край?

— Да, я думаю, что они всему виной!—с горячностью ответил я.—Да иначе и быть не может!.. Ведь эти люди сосланы обыкновенно за страшные преступления!.. Кроме того их развратила тюрьма. И я думаю, что после всего этого мудрено быть порядочным человеком...

Гранкин потупил глаза и с чуть заметной иронической улыбкой ответил:

— Ну, а я так совсем по-другому думаю... По-моему, ежели здесь есть хорошие люди, то только промежду каторжников!.. А господа сплошь мошенники!..

Я взглянул на него изумленно.

— Што вы?—заговорил он, отвечая на мой изумленный взгляд.—Не верите?.. Ну да вот поживете—сами узнаете... У нас один стрелочник и два сторожа каторжные... Ремонт почти все из каторжных... Даже дорожный мастер каторжный!

Он замолчал и уставился на меня с какой-то торжествующей улыбкой.

Подошедшие стрелочники выручили меня из неловкого положения; разговор прекратился и мы стали подавать им вещи...

...Я любил попариться в бане. И вот в первую же баню мы сошлись там с Гранкиным, который оказался тоже поклонником веника; он предложил мне пожаловать на полок и сразиться, от чего я, конечно, не отказался; видя, что я выдерживаю такое высокое давление пара, он пришел в восторг и назвал меня за это настоящим русским человеком.

В следующую баню он уже сам предложил мне пойти «сразиться», а к третьей бане мы были уже приятелями и много вели разговоров на разные темы, причем я заметил у него наклонность громить и обличать.

В этой маленькой серенькой фигурке с уморительно трепыхавшейся бороденкой оказалась большая душа, протестующая против всякого вида неправды.

Начальника станции он громил, разумеется, больше всех и, как я ни старался его примирить с начальником, он неизменно твердил одно:

— Што вы там не толкуйте... а подлец он!

— Да почему же?—спрашивал я его.

— А потому, што измывается он над наших братом! Вот почему!—с азартом ответил он.—Ну, рассудите вы сами—по правилу это: выкосили мы ему нынче сено... два стога во каких наворотили!.. И хучь бы тебе грош заплатил, сукин сын!.. Или теперича: пьянствуют сами без просыпу... поезда держат без всякой причины... это ничего... можно!.. А наш брат выпей какую рюмку или задремли в будке—штраф!.. Да што еще...

Он остановился и почти шопотом прибавил:

— По мордасам бьет... тех... дураков-то!.. Ну, рассудите—по-человечески это? По правде это?

— Да, за это похвалить нельзя,—согласился я.

— Ну, вот видите!—радостно подхватил он.—А помните, тогда, как вы просили нас выгрузить свои вещи-то из вагона и я помянул про водку, за труды?.. Ведь он меня как распекал-то за это! А што тут такого?.. Ведь ежели по правде-то рассуждать... я имел полное право просить!.. Потому—все мы робим и все этим кормимся... А ежели я получаю двадцать рублев, так я за это стрелочником состою... и выгрузкой займоваться я не обязан!.. Вот ежели бы на свете все по-одинаковому жили и никто никакой нужды не терпел... тогда другой резонт!.. Тогда и просить бы не к чему было!

— Что ж поделаешь, Гранкин... Ведь один ты этого не выведешь!

— Я-то?—воскликнул он.—Ну и пускай не выведу!.. Когда-нибудь кто-нибудь выведет, окромя меня!.. А за правду я всегда стоять буду!.. Завсегда буду супротив подлецов идтить!

Он замолчал и маленькие серенькие глазки его, гневно блестевшие, вдруг стали наполняться грустью; он вытянул вперед правую руку и, грустно глядя на нее, воскликнул:

— Эх, кабы писала у меня вот эта отсохлая-то!.. Натворил бы я делов!

— Вот и учись,—подхватил я.—Учиться никогда не поздно!

Он махнул рукой и с безнадежностью заговорил:

— Не стоит!.. Все едино так теперь не научишься, штобы значит сразу мог непорядки уничтожить!.. Штобы вот писнул одно слово—и нет одного подлеца!.. А так-то... пробую я... склады разбираю.

Он помолчал и прибавил:

— Вот ежели бы здесь народ был другой... дружный... и без грамоты можно было бы кое-кого сократить!.. А эти што же... одни каторжные—народ натерпевший!.. Другие—рассейские!.. А в Россеи-то их, говорят, раньше барины вроде как бы скотину продавали... да еще на собак меняли!..

Он вдруг как-то смешно встряхнул бороденкой и с беззаботной улыбкой воскликнул:

— Ну, а пакель што... и так поживем!.. Ну-ка, лезьте давайте... а я ковшичка два наддам, да и сразимся.

Он наддал вместо двух ковшей четыре и мы полезли с ним на полок сражаться.

...Однажды утром на нашей станции появились маляры и печники—предвестники ремонта квартир, а к вечеру этого же дня приехал и начальник участка—полный, высокий инженер с красным лоснящимся лицом, в пенсне и с великолепной тросточкой в руках.

Совместно с начальником станции и дорожным мастером он пошел по квартирам определять, где и какой нужен ремонт.

От нечего делать я пошел за ними.

После осмотра квартиры Хвостикова мы вошли к Гранкину, который пропустил нас вперед, а сам с женой стал у порога за спиной начальника станции.

— А это чья квартира?—спросил начальник участка, ни к кому не обращаясь.

— Это стрелочника,—ответил начальник станции,—здесь необходимо печь переложить...

Начальник участка потыкал тросточкой в щели, образовавшиеся по бокам печи, заглянул в чело и промычал:

— Мм... да... пожалуй... надо переложить...

Он помолчал и, обернувшись к начальнику станции, прибавил:

— Имейте в виду, что в квартирах стрелочников окраски полов не будет...

Но только успел он договорить последнее слово, как из-за спины начальника станции раздался дерзкий голос Гранкина:

— Это по какому же такому правилу?

На мгновенье водворилась тишина.

— Это... кто же... говорит?—удивленно спросил начальник участка, задирая голову и сверкая глазами сквозь пенсне.

С заложенными за кушак руками и с вызывающим лицом Гранкин вышел из-за спины начальника станции и тем же тоном ответил:

— Я это говорю... стрелочник!

— А по такому правилу,—злобно передразнил его начальник участка,—что окраски полов в квартирах стрелочников не полагается!

— Т-э-э-к-с!—с иронией пропел Гранкин,—так это што же выходит?.. По-вашему, значит, стрелошник вроде как бы скотина? Значит, только барины должны жить в чистоте да опрятности? А стрелошников можно и в хлеву поместить?

— Помилуйте... что же это такое?—сразу пониженным тоном обратился начальник участка к начальнику станции.

— Это не твое дело!—рявкнул на Гранкина начальник станции.—Я тебе приказываю замолчать!

— Нет, не замолчу!—крикнул в свою очередь Гранкин, делая шаг к начальнику участка.—Он думает, што на постройке Кедровской станции награбил пять тысяч, так и тут утянет што-нибудь? Нет, врет!.. Закону такого нет, штобы нам не красить полов... И я ему не дам ни гроша здесь заработать!

— М-а-ал-ч-а-ть!—взревел начальник станции, багровея и топая ногой.

А начальник участка, потный и красный, как рак, беспомощно повертывался то ко мне, то к начальнику станции и растерянно бормотал:

— Послушайте... что же это такое?.. Я вынужден буду... телеграфировать!.. Ведь это оскорбление высшего агента!.. Ведь это разбой!

Но Гранкин не унимался.

— Хучь самому министру доносите, а я не замолчу!.. Я не дежурный и воспретить мне разговаривать вы не имеете полного права!.. А што касательно грабежу казны... Это вам здесь не выгорит!.. Я и сам министру лупну гумагу!..

— Да замолчи ты, гадина!—взвыл начальник станции, меряя его дикими глазами и сжимая кулаки.

— Нет, не замолчу,—спокойно ответил Гранкин.—Потому, сказываю вам, што не дежурный я.

— Тьфу!—плюнул начальник станции и кинулся к дверям.

Начальник участка рванулся за ним и мы все вышли.

В этот же день начальник станции послал срочный пакет

начальнику отделения, а через три дня приказано было Гранкина отправить в контору начальника отделения для объяснения.

Перед отъездом его я вошел к нему в квартиру.

— Ну, как ты думаешь, Гранкин, конец тебе?—спросил я, здороваясь с ним.

— То-ись... как же это?—удивился он.

— Да неужели ты думаешь, что тебя оставят после этого?

— А то как же? За што же меня увольнять-то?

— Да, конечно, за начальника участка!

Он покрутил головой.

— Ну, это еще неизвестно!.. Я так располагаю, што ежели они меня тронут, то вместе со мной и господин начальник участка полетит!.. Потому: у меня свидетели есть!

— А мне почему-то думается, что конец тебе, Гранкин!.. Проглотят они тебя!..

Он засмеялся и тоном, не допускающим сомнения, ответил:

— И не думайте даже!.. Целехонек вернусь!

Вечером он уехал.

А на другой день, когда мы с начальником станции сидели в его комнате и составляли отчет, туда вошел Гранкин и, поклонившись нам, небрежно сунул на стол пакет и вышел.

Начальник станции разорвал пакет и стал читать бумагу; по мере того, как чтение приближалось к концу, лицо его все бледнело и бледнело и, наконец, швырнув бумагу, он ударил кулаком по столу и крикнул:

— Ххаррашо!.. Тогда я сам возьмусь за это дело!

— В чем дело, Николай Николаевич?—спросил я.

— А вот прочтите-ка!

Он поднял бумагу и подал ее мне.

Это было предписание начальника отделения, в котором начальнику станции просто предлагалось допустить Гранкина до дежурства.

Окончив отчет, я чуть не бегом кинулся к Гранкину.

— Ну, что? Как ты отделался? Что с тобой хотят сделать?—забросал я его вопросами.

А он поглаживал свою клинообразную бороденку и благодушно улыбался.

— Как видите, ничего... Приехал вот служить с вами!.. Не слопали... как вы располагали... Подавились!

— Да не может быть, Гранкин. Неужели тебя совсем допустили до дежурства?.. Ну, рассказывай, как и с кем ты объяснялся?

— Объяснялся я с начальником отделения,—начал Гранкин, улыбаясь.—Накричал он на меня спервоначалу—ужасти!.. Я, говорит, тебя в двадцать четыре часа вышвырну!.. Што ж, говорю, это вы могите!.. Но только ежели я уйду со службы, то по таким-то и таким-то причинам господин начальник участка дол-

жен будет неприятности получить!.. Я, говорит, тебя за этакие слова в тюрьму!.. И на это, говорю, согласен!.. А только неприятности будут беспременно... Хорошо, говорит, убирайся сейчас и приходи часа через четыре... Явился я потом... Вот, говорит, тебе пакет и можешь отправляться на старое место служить!.. Но только, говорит, до первого замечания—прогоню!.. Поблагодарил я его и... домой... Вот видите... и живой остался!

Я слушал его, а в голове у меня носился и путался целый поток мыслей; я старался объяснить себе значение всего происшедшего перед моими глазами и ничего не мог понять в этом; я знал расстояние между Гранкиным и начальником участка, знал, какой силой обладает последний, и не мог понять, каким образом сломил его величие стрелочник Гранкин.

А Гранкин, облокотившись на руку, задумчиво глядел в окно и, как бы предугадывая течение моих мыслей, говорил:

— Да... Вот ежели бы люди дружка дружке только правду в глаза говорили... Сколько бы подлецов-то на свете убавилось! И-и-и... сосчитать невозможно. Я так располагаю, што в конце концов на свете подлецы совсем бы перевелись!..

После столкновения Гранкина с начальником участка станционная жизнь сразу пошла у нас по-иному.

Мелкота прекратила издевательства над Гранкиным и вдруг почувствовала к нему уважение, которое она старалась доказать на каждом шагу. Стрелочники теперь называли его не иначе, как «Егорыч», и даже стали обращаться к нему за советами.

Его поступок, видимо, разбудил в них что-то: они сразу как будто выросли и среди них стали раздаваться, вначале робкие, а потом и открытые протесты против чрезмерных строгостей помощника Хвостикова.

Наконец дошло до того, что они отказались чистить по утрам сапоги и платье начальнику станции и помогать по кухне начальнице.

Начальник станции прекрасно понимал, откуда пошли эти вольнодумства, и скрипел зубами.

Хвостиков выходил из себя и требовал просто отдачи Гранкина под суд за подстрекательство.

Даже буфетчик и дорожный мастер возненавидели Гранкина.

А он пока будто ничего этого не замечал и ходил довольный и улыбающийся.

Как-то раз в ненастный день я сидел в квартире у окна, выходящего на станционные пути.

На дворе шел дождь и то с одной, то с другой стороны дул порывистый ветер; полосы дождя то злобно хлестали по стеклам окна, то постепенно как будто куда-то удалялись и только над крышей слышался непрерывный гул...

Недалеко от жилого дома, около стрелки, стояла будка, и в окно мне видно было, как серенькая фигурка Гранкина то выглядывала из будки, то опять шмыгала туда.

Он ожидал прибытия поезда с соседнего разъезда.

Наконец у семафора раздался свисток и из-за леса сначала показался паровоз, а затем потянулись и вагоны.

Гранкин вышел из будки и, корчась под дождем, стал к стрелке и дал рожковой сигнал.

Но лишь только паровоз стал приближаться к стрелке, как вдруг с него раздались тревожные свистки и машинист дал контрпар; поезд остановился в саженях тридцати от стрелки.

Гранкин испуганно глядел то на остановившийся поезд, то на бегущего со стороны вокзала начальника станции и, видимо, не понимал в чем дело.

Только сейчас я заметил причину замешательства, происшедшего на путях.

Стрелка у Гранкина стояла на первый путь, на котором стоял встречный товарный поезд; произошло это видимо потому, что ранее с правого пути отправлялся поезд и, проводив его, Гранкин забыл перевести стрелку на второй путь и шмыгнул от дождя в будку; так стрелка и стояла до тех пор, пока тот поезд дошел до разъезда и оттуда вышел встречный, а на первый путь за это время прибыл еще поезд.

Не успел я припомнить всех обстоятельств, при которых стрелка могла оказаться поставленной на поезд, как громадная фигура начальника станции была уже около Гранкина.

— Что, бродяга! Под тюрьму подвести хотел!—кричал начальник станции, подбегая вплоть к Гранкину и замахиваясь.

И не успел Гранкин разинуть рта, как увесистый удар повалил его под откос.

На минуту он скрылся.

Затем из-под откоса вынырнула его взъерошенная голова без шапки и он стал карабкаться на полотно, выкрикивая ругательства:

— Бей, сволочь! Бей!.. Сила пока на вашей стороне!.. Бей, взятошник! Вор!

Выкарабкавшись из-под откоса, он быстро вскочил на ноги и крикнул:

— Но вот же тебе и сдачи!

Здоровенный камень полетел в лицо начальника станции и он как-то неестественно взмахнул руками кверху, а лицо его покрылось кровью.

Я замер у окна и думал, что сейчас он схватит Гранкина, приподнимет и просто убьет об землю.

Но к удивлению моему он медленно опустил обе руки, полез в правый карман, выдернул оттуда носовой платок и, прило-

жив его к окровавленному лицу, гордо закинул голову и медленно пошел к вокзалу.

А Гранкин хватался то за баланс стрелки, то за рычаг и все еще кричал:

— Што, сукин сын... получил!.. Будешь еще галиться над людьми?.. Аль достаточно и этого!.. Угомонился?.. Я те покажу!.. Я ведь не расейской! Меня барины не продавали!

Минуты через две он поставил стрелку на свободный путь и дал рожком сигнал машинисту стоявшего за стрелкой поезда; машинист дал свисток «оттормозить» и поезд двинулся к станции.

Я настолько был взволнован происшедшим, что не мог сразу же пойти на станцию, а когда я пришел туда, то поездов уже не было.

В дежурство вступил помощник Хвостиков, а начальник станции уехал в больницу.

Гранкин был отстранен.

В этот же день с пассажирским поездом приехал ревизор движения и, узнав о нашем происшествии, остановился у нас и произвел расследование.

Я пошел первый к нему и рассказал, как было дело у стрелки, постарался вообще обрисовать отношение служащих к Гранкину, в особенности же беспочвенные преследования старших агентов; кроме того, я просил взять показания от стрелочников и сторожей.

Ревизор опросил почти всю станцию и, несмотря на то, что все показания, за исключением Хвостикова, были благоприятны для Гранкина, через неделю от начальника отделения получены были две бумаги: одна об объявлении выговора начальнику станции, а другая об увольнении Гранкина от службы.

Я сейчас же сел за письмо к начальнику отделения и, указывая на несправедливость такого решения, старался доказать, что начальник станции больше виноват в данном случае, так-как, считая себя интеллигентным человеком, он позволил себе нанести удар простому, который иначе и не мог поступить, как ответив ему тем же; наконец, я обрисовал Гранкина самыми розовыми красками и дал понять, что случай этот может попасть и на страницы печати.

Мое письмо, видимо, подействовало на начальника отделения и через два дня от него поступила телеграмма, в которой он предлагал отправить Гранкина к месту нового служения на разъезд 2... версты и увольнение его считать несостоявшимся.

С раскрасневшимся лицом, с возбужденно блестевшими глазами Гранкин бегал по станции и прощался с знакомыми; после всех он забежал и ко мне.

— Ну что, Гранкин, уезжаешь?—заговорил я, подставляя ему стул.

— Уезжаю! Досвиданья!.. Бегаю вот прощаюсь!

— Что же ты не простился с начальником станции и Хвостиковым?.. Ведь теперь между вами все уже кончено.

Он на мгновение задумался и, тряхнув бороденкой, с гневными нотками в голосе ответил:

— Нет!.. Не стоит!.. Все едино... с этими помиришься... там другие будут такие же!.. Они наши враги!.. И помиримся мы с ними только тогда... когда сломим их!..

Прошла осень.

О Гранкине сначала ничего не было слышно. Но потом до стрелочников стали доходить слухи, что он и там бунтует людей и с начальством не ладит.

Зимой меня перевели на разъезд.

Как-то раз я вышел на платформу к пассажирскому поезду, чтобы опустить письмо в почтовый вагон.

Не успел поезд остановиться, как из вагона третьего класса выскочил маленький человек в сером пиджачишке, в форменной фуражке с гербом, и кинулся прямо ко мне.

Это был Гранкин.

Он бежал ко мне улыбающийся, с лихорадочно блестевшими глазами и кричал:

— Здравствуйте!.. господин помощник!.. Съели ведь меня!.. Съели!..

Сердце у меня сжалось.

— Неужели, Гранкин?.. Как же это?

— А так... Приезжал к нашему начальнику в гости Николай Николаевич... А опосля этого наш начальник признал меня слепым... Ну, и конешно послал к дохтуру.. А дохтур-то его приятель... и чичас же стал мне фокусы показывать!.. Показал мне два желтых шарика—один-то шибко желтый, а другой обнаковенный—и спрашивает: этот какого цвета? Желтый, говорю... А этот какого?.. Тоже, говорю, желтый... Врешь, говорит, этот желтый, а этот ранжерейный... Ты, говорит, слепой и служить не можешь!.. Понял я тут все и домой... А там уже и до дежурства меня не допустили.

Раздался второй звонок.

— Куда же ты теперь, Гранкин?

— Куда-нибудь в город думаю махнуть!.. В мастерские хочу пристроиться.

— Оставайся у меня... Где-нибудь устроим!..

Он махнул рукой.

— Не стоит!.. Да и нечего мне здесь делать!.. Ну, досвиданья... Вон уже третий звонок дают!

Он крепко пожал мне руку и кинулся к вагону.

Раздался третий звонок и поезд плавно двинулся с разъезда.

Гранкин стоял на площадке вагона и, широко улыбаясь, ма-

хал мне фуражкой, а я смотрел ему вслед и чувствовал, как болезненно сжимается мое сердце и душу охватывает тоска.

Мне казалось, что с Гранкиным я теряю что-то близкое и родное.

И отвечая поклонами на его маханье фуражкой, я мысленно кричал ему вслед:

— Куда же ты... мятущийся человек?

Но он уже отвернулся и перестал махать мне; ухватившись рукой за колонки, он повис всем туловищем над ступеньками вагона и дерзко смотрел куда-то вдаль, вперед!..

Глава XIII.

ИЗ БЫТА СИБИРСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА ДО РЕВОЛЮЦИИ 1905 года.

Зажиточность сибирского крестьянства и ее причины.—В горнице сибирского крестьянина.—Честность сибирских ямщиков.—Издевательства царских чиновников над крестьянами.

О быте старого сибирского крестьянства сохранилось довольно много свидетельств современников, но далеко не все эти свидетельства заслуживают безусловного доверия: многие из них искажены народническими и либерально-буржуазными мемуаристами и этнографами.

Выдвинуть же своих бытописателей из собственной среды народ, который правящие классы держали в невежестве, не мог по вполне понятным причинам.

Ниже приводится ряд отрывков из мемуаров современников, рисующих быт старого сибирского крестьянства. Первый отрывок представляет собой выдержку из известных путевых очерков Г. И. Успенского «Поездка к переселенцам», относящихся к концу 80-х годов (собр. соч. Г. Успенского, СПБ, 1908 г., т. 6, стр. 18). Г. Успенский провел выразительную параллель между свободным от крепостного ига сибирским крестьянином и задавленным, забитым крестьянином европейской части старой царско-крепостнической России. Второй отрывок взят из «Записок декабриста» А. Е. Розена, СПБ, 1907 г., стр. 167—169 (между прочим, этот отрывок Н. А. Некрасов использовал в своей известной поэме «Дедушка» для создания образа зажиточной и вольной сибирской деревни); третий—из путевых очерков А. П. Чехова «По Сибири», печатавшихся в 1890 г. в газете А. С. Суворина «Новое время» (собр. соч. А. П. Чехова под ред. А. В. Луначарского, М., 1929 г., т. XI, стр. 250—263).

Наконец, четвертый и пятый отрывки—о насилиях царских чиновников над сибирскими крестьянами—заимствованы из кни-

ги известного американского журналиста Джорджа Кеннана, посетившего в 1885—86 гг. Сибирь с целью изучить положение политических ссыльных-революционеров (Дж. Кеннан «Сибирь», СПБ, 1906 г., стр. 236—242), и из мемуаров ссыльного народника И. П. Белоконского «По тюрьмам и этапам» (Орел, 1887 г., стр. 218—223). Отрывки эти не дают полной картины классового расслоения и быта старого сибирского крестьянства, но все же интересны как непосредственные свидетельства очевидцев.

При этом нужно подчеркнуть, что все эти отрывки говорят о жизни старожилого сибирского крестьянского населения, а не о быте вновь переселившихся в Сибирь из-за Урала крестьян, положение которых было гораздо худшим по сравнению со старожилами.

ИЗ ОЧЕРКА Г. И. УСПЕНСКОГО «ПОЕЗДКА К ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ».

...За Екатеринбургом (путевые—Б. Ж.) впечатления начинают принимать уже более определенный смысл, и притом довольно многосложный. Прежде всего значительно убавляются резкости горной природы; начинается наша, знакомая нам, россиянам, степь, поля, луга, а вместе с ними идут уже не заводы (как на Урале—Б. Ж.), не болотца с кучками мужиков-золотоискателей, а деревни, стада, крестьяне. Все это прямо наше, российское, но в то же время есть во всем этом что-то и новое, чего сразу решительно не поймешь и не сообразишь. Не говоря уже о просторе, о привольи, которым веют на вас эти поля, луга и стада, не говоря о достатке, который виден в этих просторных постройках сел и деревень, где нет ни одной соломенной крыши,—чувствуется, что есть тут во всем видимом еще что-то неведомое для нас. Оно тоже почему-то веселит, поднимает в душе что-то радостное, и загорается ожидание чего-то необычайного.

«Нет барского дома!»—вдруг озаряет мысль молчаливо сказавшееся слово, и вся тайна настроения, и вся сущность непостигаемой до сих пор «новизны» становится совершенно ясной и необычайно радостной.

Нет барского дома, но есть крестьянин, живущий на таком просторе, расплодивший там огромные стада, настроивший такие огромные, просторные деревни; есть человек, проживший на своем веку без малейшей прикосновенности к барскому дому: когда мы, обыватели Европейской России, видели такого крестьянина?..[1].

...От города Верхнеудинска мы свернули с большой дороги влево; через три перехода прибыли на дневку в обширное селение Тарбагатай, похожее с первого взгляда на хорошие села ярославские, приволжские, по наружному виду жителей и просторных домов. Здесь и на протяжении пятидесяти верст кругом живут все семейские: так поныне называются обитатели нескольких деревень, которых деды и отцы были сосланы в царствование Анны Ивановны в 1733 году и Екатерины великой в 1767 г. за раскол... Им дозволено было продать все свое имущество движимое и переселиться в Сибирь с женами и детьми, отчего и получили наименование семейных или семейских. Прибыв за Байкал в Верхнеудинск, явились там комиссару, который от начальства имел повеление поселить их отдельно в пустопорожнем месте. Комиссар повел их в конце великого поста в дремучий бор по течению речки Тарбагатай, позволил им самим выбрать место и обстроиться как угодно, дав им четыре года льготы от платежа подушных податей. Каково было удивление этого чиновника, когда посетил их через полтора года и увидел красиво выстроенную деревню, огороды и пашни в таком месте, где за два года был непроходимый лес. Это волшебство было вызвано трудолюбием, но также и деньгами и беглыми. Как семейским позволено было на родине продать все свое имущество, то прибыли (они—Б. Ж.) в Сибирь с деньгами; лишь только соседи узнали о прибытии их, то они и много ссыльных мастеровых из окрестлежащих рудников прибежали к ним на помощь, и дело шло быстро и хорошо...[2]

В Тарбагатае мы дневали и имели время и случай рассмотреть все подробно. Мне отведена была квартира у крестьянина, одного из братьев Чабуниных; дома в несколько горниц, с большими окнами, крыши тесовые, крыльца крытые; в одной половине дома обширная изба для рабочих, с русской печкой для стряпания и печения; в другой половине от трех до пяти чистых горниц, с голландскими печками; полы все покрыты коврами собственного изделия, столы и стулья крашеные, зеркала с ирбитской ярмарки. Избы и дома у них не только красны углами, но и пирогами: хозяйка наша Пестимья Петровна угостила нас на славу щами, ветчиной, осетриною, пирожками и кашицами из всех возможных круп, от гречневой до манной и рисовой. Во дворе под навесом стояли все кованые телеги, сбруя была сыромятная, кони были дюжие и сытые, а люди, люди! ну, право, все молодец к молодцу—красавицы не хуже донских—рослые, белолицые и румяные. День был воскресный, мужчины расхаживали в суконных синих кафтанах, женщины в душегрейках шелковых с собольими воротниками, а кокошники один лучше и богаче другого. Одним словом, все у них соответствовало одно друго-

му: от дома до плуга, от шапки до сапога, от коня до овцы,— все показывало довольство, порядок, трудолюбие...

На другой день ночевали мы также в деревне семейской и нашли тот же быт и тот же достаток... По богатству и довольству поселян мне представилось, что вижу трудолюбивых русских в Америке, а не в Сибири; но в этих местах Сибирь не хуже Америки, земля также привольная, плодородная; жители управляются сами собою, сами открыли сбыт своим произведениям и будут блаженствовать, пока люди бестолковые не станут вмешиваться в их дела...[3]

ИЗ ОЧЕРКА А. П. ЧЕХОВА «ПО СИБИРИ».

...По сибирскому тракту, от Тюмени до Томска, нет ни поселков, ни хуторов, а одни только большие села, отстоящие одно от другого на 20, 25 и даже на 40 верст. Усадеб по дороге не встречается, так как помещиков здесь нет; не увидите вы ни фабрик, ни мельниц, ни постоялых дворов... Единственное, что по пути напоминает о человеке, это телеграфные проволоки, завывающие под ветер, да верстовые столбы.

В каждом селе—церковь, а иногда и две; есть и школы, тоже, кажется, во всех селах. Избы деревянные, часто двухэтажные, крыши тесовые. Около каждой избы на заборе или на березке стоит скворешня, и так низко, что до нее можно рукой достать. Скворцы здесь пользуются общей любовью и их даже кошки не трогают. Садов нет.

Часов в пять утра, после морозной ночи и утомительной езды, я сижу в избе вольного ямщика, в горнице, и пью чай. Горница—это светлая, просторная комната, с обстановкой, о какой нашему курскому или московскому мужику можно только мечтать. Чистота удивительная: ни соринки, ни пятнышка. Стены белые, полы непременно деревянные, крашеные или покрытые цветными холщевыми подстилками; два стола, диван, шкап с посудой, стулья, на окнах горшки с цветами. В углу стоит кровать, на ней целая гора из пуховиков и подушек в красных наволочках; чтобы взобраться на эту гору, надо подставлять стул, а ляжешь—утонешь. Сибиряки любят мягко поспать.

От образа к углу тянутся по обе стороны лубочные картины... На украшение стен идут и конфетные бумажки, и водочные ярлыки, и этикеты из-под папирос, и эта бедность совсем не вяжется с солидною постелью и крашеными полами. Но что делать? Спрос на художество здесь большой, но бог не дает художников. Посмотрите на дверь, на которой нарисовано дерево с синими и красными цветами и с какими-то птицами, похожими больше на рыб, чем на птиц; дерево это растет из вазы и по этой вазе видно, что рисовал его европеец, т. е. ссыльный; ссыльный же малевал и круг на потолке и узоры на печке.

Немудрая живопись, но здешнему крестьянину и она не под силу. Девять месяцев не снимает он рукавиц и не распрямляет пальцев: то мороз в сорок градусов, то луга на двадцать верст затопило, а придет короткое лето—спина болит от работы и тянутся жилы. Когда уж тут рисовать? Оттого, что круглый год ведет он жестокую борьбу с природой, он не живописец, не музыкант, не певец. По деревне вы редко услышите гармонику и не ждите, чтоб ямщик затянул песню.

Дверь отворена, и сквозь сени видна другая комната, светлая и с деревянными полами. Там кипит работа. Хозяйка, женщина лет 25-ти, высокая, худощавая, с добрым, кротким лицом, месит на столе тесто; утреннее солнце бьет ей в глаза, в грудь, в руки, и кажется, она замешивает тесто с солнечным светом; хозяйская сестра—девушка печет блины, стряпка обваривает кипятком только что зарезанного поросенка, хозяин катает из шерсти валенки. Ничего не делают только старики. Бабушка сидит на печке, свесив ноги, стонет и охает; дедушка лежит на полатях и кашляет, но, заметив меня, сползает вниз и идет через сени в горницу. Ему хочется поговорить... Слышится детский плач. Только теперь я замечаю, что между кроватью и печью висит маленькая люлька. Хозяйка бросает тесто и бежит в горницу.

— Однако, какой у нас случай, купец!—говорит она мне, качая люльку и кротко улыбаясь.—Месяца два назад приехала к нам из Омска мещанка с ребеночком... Барыней одета, однако... Ребеночка она родила в Тюкалинске, там и крестила; после родов-то в дороге разнемоглась и стала жить у нас вот в этой горнице. Говорит, что замужняя, а кто ее знает? На лице не написано, а паспорта при ней нет. Может, ребеночек незаконный.

— Не наше дело судить,—бормочет дедушка.

— Прожила она у нас неделю,—продолжает хозяйка,—потом и говорит: «Я поеду в Омск к мужу, а мой Саша пусть у вас останется, я за ним через неделю приеду. Теперь боюсь, как бы не замерз дорогой...» Я ей и говорю: «Послушай, сударыня, бог посылает людям детей, кому десять, кому и двенадцать, а меня с хозяином наказал, ни одного не дал; оставь нам своего Сашу, мы его себе в сыночки возьмем». Она подумала и говорит: «Однако, погодите, я мужа своего спрошу и через неделю вам письмо пришлю. Без мужа не смею». Оставила нам Сашу и уехала. И вот уж два месяца прошло, а она ни сама не едет, ни письма не шлет. Наказание господне! Полюбили мы Сашу, как родного, а сами теперь не знаем, наш он или чужой.

— Надо вам этой мещанке письмо написать,—советую я.

— Стало быть, надо!—говорит из сеней хозяин.

Он входит в горницу и молча смотрит на меня: не дам ли я еще какого-нибудь совета?

— Да как ей напишешь?—говорит хозяйка.—Фамилии своей она нам не сказывала. Марья Петровна—вот и все. А Омск, то-

же сказать, город большой, не найдешь ее там. Ищи ветра в поле!

— Стало быть, не найдешь!—соглашается хозяин и смотрит на меня так, как будто хочет сказать: «помоги же, бога ради!»

— Привыкли мы к Саше,—говорит хозяйка, давая ребенку соску.—Закричит днем или ночью, и на сердце иначе станет, словно изба у нас другая. А вот, неровен час, вернется та и возьмет от нас...

Глаза хозяйки краснеют, наливаются слезами и она быстро выходит из горницы. Хозяин кивает ей вслед, усмехается и говорит:

— Привыкла... Известно, жалко!

Он и сам привык, ему тоже жалко, но он мужчина, и сознаться в этом ему неловко.

Какие хорошие люди! Пока я пью чай и слушаю про Сашу, мои вещи лежат на дворе в возке. На вопрос, не украдут ли их, мне отвечают с улыбкой:

— Кому же тут красть? У нас и ночью не крадут.

И в самом деле, по всему тракту не слышно, чтобы у проезжего что-нибудь украли. Нравы здесь в этом отношении чудесные, традиции добрые. Я глубоко убежден, что если бы я обронил в возке деньги, то нашедший их вольный ямщик возвратил бы мне их, не заглянув даже в бумажник. На почтовых я ездил мало и про почтовых ямщиков могу сказать только одно: в жалобных книгах, которые я читал от скуки на станциях, мне попалась на глаза только одна жалоба на покражу: у проезжего пропал мешочек с сапогами, но и эта жалоба, что видно из резолюции начальства, оставлена без последствий, так как мешочек был скоро найден и возвращен проезжему. О грабежах на дороге здесь не принято даже говорить. Не слышно про них. А встречные бродяги, которыми меня так пугали, когда я ехал сюда, здесь так же страшны для проезжего, как зайцы и утки...[4].

ИЗ КНИГИ ДЖ. КЕННАНА «СИБИРЬ».

...В административном отношении Сибирь разделена также на станы, которые по пространству значительно превосходят станы по сю сторону Урала. Становые пристава называются здесь заседателями. Урядники носят форму и вооружены шашками и револьвером. Они получают крайне малое вознаграждение: урядник получает в год 100—200 рублей, становой—400—600 руб. Конечно, при таком жалком вознаграждении правительству трудно найти на эту должность честных и дельных людей, так что сельская полиция состоит из самых низких, преступных элементов народонаселения. Большей частью это крайне невежествен-

ные и глупые люди; умные урядники большей частью большие плуты и пользуются бесчисленными, иногда крайне тягостными распоряжениями министра внутренних дел, чтобы выжимать из крестьянина последние соки, как видно из следующего примера. Министр делает распоряжение, чтобы крыши деревенских изб смазывались летом составом из глины и воды в видах уменьшения опасности от падающих из печных труб искр. Становой, который обязан сообщить крестьянам об этом распоряжении министра, ждет, пока наступит самое горячее время для полевых работ, т. е. или весной во время посева, или осенью во время жатвы; тогда он велит всем собраться в стан, прочитывает крестьянам министерское распоряжение и требует немедленно привести его в исполнение.

Крестьяне не могут прервать начатых работ и спрашивают станового, сколько он возьмет с человека. Становой сначала ничего слышать не желает о деньгах, уверяя всех и каждого, что если он сделает малейшее послабление, то он рискует головой, но в конце концов его сердце смягчается при виде тяжелого положения, в которое поставило крестьян министерское распоряжение, и он решается пожертвовать собой на благо бедного крестьянского люда.

Он дает крестьянам отсрочку до после посева или жатвы, но требует взамен того с каждого домовладельца по 20 копеек, чтобы не умереть с голоду, если начальство, проведавши об его «снисходительности», выгонит его со службы за неисполнение правительственного предписания. Крестьяне волей-неволей соглашаются и вынимают кровные денежки. Становой, собрав контрибуцию, спешит в кабак, чтобы отвести душу и придумать, каким распоряжением министра внутренних дел следует ему пользоваться, когда ему снова понадобятся деньги...

Некоторые чиновники чистые виртуозы в искусстве вымогательства. Незадолго до нашего приезда в Тюмень тамошний заседатель был извещен, что на опушке леса, принадлежащего одной из заведуемых им деревень, найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. В таких случаях заседатель обязан сейчас же отправиться на место преступления, приказать перенести труп в местную «мертвецкую» и ожидать осмотра трупа уездным врачом. Заседатель тотчас же отправился в деревню, оставив уездному врачу, который выехал в уезд на практику, приказание немедленно явиться для составления протокола. Прибыв на место преступления, заседатель осматривает труп и окружающую его обстановку и, не дождавшись приезда врача, велит перенести убитого в деревню. Уже в Тюмени созрел в его голове план воспользоваться трупом для того, чтобы раздобыть денег, так как он отлично знал, что в деревне нет «мертвецкой». Крестьяне устроили из еловых ветвей носилки и, положив на них труп, направились по приказанию заседателя к дому самого бо-

гатого крестьянина. Заседатель объявил испуганному домовладельцу, что он должен до приезда доктора принять мертвое тело к себе в дом.

«Господи боже мой!»—воскликнул мужик: «да я как же могу принять в свой дом на несколько дней труп, когда у моей дочери послезавтра свадьба».

Заседатель уверяет его самым серьезным образом, что ему крайне жаль, но что он до прибытия врача ничего не может поделать. Преступление очень серьезно, труп не может быть похоронен до тех пор, пока личность убитого не будет удостоверена и пока доктор не составит протокола. Дело это может наделать много неприятностей всему миру, и мужик должен благодарить бога за то, что он так легко отделается от всей истории.

Бедняга был в отчаянии. Он знал, что заседатель имеет по закону право приказать перенести труп в избу; он также знал, что «за сопротивление властям при исполнении своих обязанностей» его ждет долголетнее тюремное заключение, может быть даже каторжная работа. Он умолял заседателя оказать ему величайшую милость и отменить свой приказ; он готов был заплатить 50 рублей, только чтобы не откладывать свадьбы и избавить своих детей от соседства с трупом убитого. Этого только и ожидал полицейский чиновник. Он начал сдаваться на просьбы крестьянина, согласился, что присутствие трупа в доме перед свадьбой не может быть приятно и намекнул, что если крестьянин сумеет достойно оценить его доброту, он прикажет перенести мертвеца в другой дом. Крестьянин «сумел оценить доброту» своего начальника: он передал ему тридцать рублей. Тогда заседатель приказал положить труп под окнами другого богатого крестьянина, разыграл здесь ту же комедию, и здесь удалось ему тоже вытянуть 15—20 рублей. Таким образом убитый совершил путешествие из одного конца деревни в другой, останавливаясь перед окнами зажиточных крестьян и вымогая для заседателя более или менее значительные суммы в виде откупа. Под вечер заседатель, вполне довольный результатами этой оригинальной экспедиции, приказал принести труп в старый заброшенный сарай.

Когда я впоследствии, уже на другом конце Сибири, рассказал знакомым крестьянам об этом происшествии, то они нисколько не казались изумленными. Напротив того, они мне сообщили, что заседатели пользуются очень часто найденным трупом, чтобы совершить вымогательство в двух или трех деревнях. Вообще около сибирских деревень находят часто трупы неизвестных, умерших или насильственной смертью или от голоду и стужи; большей частью эти неизвестные принадлежат к классу беглых каторжников. В одной деревне крестьяне сообщили мне, что если им приходится найти на своей земле труп какого-нибудь незнакомца, они никогда не заявляют об этом на-

чальству, так как это связано с вечными контрибуциями вроде вышеописанной; они или сами предают мертвеца земле или же подбрасывают его ночью тайком своим соседям...

Не все методы вымогательства такие зверские, как вышеприведенные, но многие из них крайне оригинальны. Мне рассказывали однажды, что один заседатель в самый разгар жары приказал 30—40 крестьянам заведуемой им деревни явиться на следующий день в два часа в стан. Крестьяне и не думали ослушаться приказания «начальства» и ровно в два часа явились в стан. Здесь они застали заседателя в парадной форме за столом, покрытым четырьмя томами свода законов. Чиновник сообщает явившимся мужичкам, что из Петербурга пришел приказ, чтобы каждый заседатель познакомил местных жителей с русскими законами. Он раскрывает один из четырех толстых фолиантов и все послеобеденное время проходит в чтении законов, которых крестьяне вовсе не понимают; вечером заседатель отпускает несчастных и велит им явиться на следующее утро для продолжения своего «юридического образования»; но уже короткое время спустя является к нему депутация и просит объявить, на каких условиях могут они быть освобождены от дальнейшего изучения «Российского свода законов». Заседатель очень скромен в своих требованиях и за «бакшиш» в двадцать копеек с человека он объявляет своих слушателей докторами прав.

Между всеми «натуральными повинностями» самой тягостной для сибирского крестьянства является дорожная, так как каждый обязан истратить на отправление ее несколько рабочих дней. Во всей Сибири корыстолюбивые чиновники пользуются ею, чтобы выжимать последние соки из крестьян. Вместо того, чтобы жители деревни А. исправляли ту часть почтового тракта, которая лежит возле их деревни, корыстолюбивый исправник посылает их за много верст от дому для ремонта участка дороги, который лежит возле деревни Б., жители которой таким же порядком отправляются на ремонт дороги в окрестностях деревни А. Опять приходится крестьянам покупать дорогою ценою разрешение работать вблизи своей деревни, а не отправляться за тридевять земель в незнакомую местность. Если исправнику не удается раздобыть нужной ему суммы этим путем, он приказывает мужикам ожидать, пока он сам не осмотрит исправленного участка. Часто поэтому приходится слышать, что десятки и сотни людей по неделе и по две должны подвергаться всевозможным лишениям в разбитых на скорую руку палатках, хотя они уже давным давно закончили свою работу. Чтобы освободиться из этой ничем необъяснимой и неоправдываемой неволи, несчастные поселяне должны опять прибегнуть к подкупу «его высокоблагородия». И все это производится под покровом закона, и за всю русскую «справедливость» приходится несчастному народу расплачиваться своими кровными грошами...

ИЗ КНИГИ И. П. БЕЛОКОНСКОГО «ПО ТЮРЬМАМ И ЭТАПАМ».

...На всем пути от Тюмени до Красноярска живет исключительно русский православный люд с незначительною примесью аборигенов страны, которые повсеместно вымирают и ведут самый жалкий, получеловеческий образ жизни, благодаря отсутствию какого-либо благотворного влияния на них со стороны господствующего населения. Разного рода кулаки только выжимают из несчастных инородцев последние соки... Дорога между двумя помянутыми городами проходит, за весьма незначительным исключением, по плодороднейшим местам Сибири, с умеренным, прибавим, климатом... в этих местах нет недостатка ни в лесе, ни в земле, ни в воде, ни в пастбищах. Всего вдоволь и a priori* можно заключить, что жизнь сибирского крестьянина в этих местах не в пример лучше русской; но это не совсем так. Правда, нигде почти не встречается здесь той забитой, неприглядной нищеты, которая так заметна в русской деревне, но вместе с тем нельзя сказать, чтобы сибирский крестьянин не мог желать лучшего. Дело в том, что сибиряк обременен такою массою разных налогов и повинностей, что ему весьма трудно благоденствовать даже при всех богатствах природы, имеющихся в его распоряжении. Чтобы не быть голословным, мы приведем фактические данные из официальных источников.

Вот так называемые «натуральные повинности», которые приходится отбывать сибирскому крестьянину:

1—исправление дорог, частью мостов, перил, поставка верстовых столбов и приготовление для них леса;

2—отправление междудворной обывательской гоньбы;

3—содержание перевозов через реки;

4—караулы при церквах и экономических магазинах; служба при волостных и сельских правлениях в качестве десятников и проч.;

5—приготовление леса для церквей, общественных строений, училищ, тюрем, богаделен и вообще содержание общественных (строений) зданий, магазинов и ледников;

6—поимка беглых, препровождение их, а равно и пересыльных партий;

7—прекращение лесных пожаров;

8—работы при межевании земли;

9—препровождение воинских партий;

10—перевозка караванов с золотом.

Уже одно это перечисление делает, пожалуй, излишним комментарии; но вникнем в их суть. Для отбывания этих повинностей в Енисейской, например, губернии в 1881 году требовалось

* Заранее, по заранее составленному заключению.

57.676 человек и 93.367 подвод. Если примем во внимание, что население помянутой губернии равнялось 421.000 чел. обоего пола, то выходит, считая, что повинности отбывают и женщины (мужчин в губернии 237.156 ч.), более 13% занято в продолжение года исключительно отбыванием этих повинностей, употребляя 93.957 лошадей, т. е. более 26% всего количества (лошадей в губернии считается 354.357). Перелагая все это на деньги, получим внушительные выводы... Если бы заплатить всем 57.676 рабочим с лошадьми, пришлось бы истратить сумму в 10.266.328 рублей; но и это количество не оплатило бы еще 35.681 лошади, за которых, назначив 1/3 всей цены, полагаемой рабочему с лошадью, нужно прибавить еще 21.051 р. 79 к.

«Натуральные повинности» далеко однако еще не все: существуют «сборы»: «окладные», «губернско-земские; «сборов» этих взимается в Енисейской губ. 1.306.062 руб.; но кроме «сборов» существует еще «денежная повинность» на:

1—содержание дорог, мостов, перевозов и на поверстные чиновникам по строительной части;

2—подводы при полицейских управлениях и для земских сообщений в селениях, на содержание воинских помещений в городах;

3—содержание столов по земским повинностям в губернских местах;

4—содержание тюремных и прочих помещений и устройство дорожных аптек;

5—жалованье оспопрививателям;

6—содержание волостных правлений, степных дум и инородческих управлений, IV отделения главного управления Восточной Сибири и служителей при архиерейском доме;

7—содержание городских полиций;

8—содержание пожарной части по сельским обществам, плата писарям и т. д.;

9—содержание казенных и общественных зданий и экономических магазинов.

На содержание перечисленного крестьяне Енисейской губернии платят 532.956 руб., а вместе с ранее перечисленными «повинностями» и «сборами» всего 12.126.397 руб. Нельзя не заметить при этом, что помянутая сумма увеличивается по меньшей мере вдвое, благодаря способам взимания: нет почти писаря, волостного старшины, которые бы не прибавили при собираниях какого-либо лишку и для себя; нередко писаря, в связи со старшинами, выдумывают несуществующие повинности, собирают деньги и кладут их себе в карман.

Даже исправное отбывание повинностей, правильный взнос в казну денег не гарантируют крестьянина: приезжает мужик в волость верст за 200—300, чтобы внести следуемые деньги, писарь не принимает их по неделям, говоря «некогда», покуда не

задобрит его крестьянин! А во сколько крестьянину обходится суд, «мертвые тела» и т. п.? Вот почему нужно удивляться сносному житью сибирского крестьянина...

Глава XIV.

СИБИРЬ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ 1905 года.

Социал-демократическое революционное движение в Сибири в начале 1900-х годов.—Переход Сибирского социал-демократического союза на «искровские» рельсы.—Первомайская рабочая демонстрация 1903 г. в Томске и ее значение.—Первая конференция Сиб. соц.-дем. союза и ее решения.—Читинская соц.-дем. организация.—Оживление соц.-дем. работы накануне революции.

«После отмены крепостного права развитие промышленного капитализма в России пошло довольно быстро, несмотря на остатки крепостничества, еще задерживавшие это развитие. За 25 лет, с 1865 по 1890 г., количество рабочих на одних только крупных фабриках, заводах и железных дорогах увеличилось с 706 т. до 1.433 тысяч, т.-е. более чем вдвое.

Еще быстрее стала развиваться капиталистическая крупная промышленность в России в 90-х годах. К концу 90-х годов количество рабочих на крупных фабриках и заводах, в горной промышленности, на железных дорогах только по 50 губерниям Европейской России выросло до 2.207 тысяч, а по всей России—до 2.792 тысяч.

Это был современный промышленный пролетариат, в корне отличавшийся от рабочих фабрик крепостного периода и рабочих мелкой, кустарной и всякой иной промышленности, как своей сплоченностью на больших капиталистических предприятиях, так и своими боевыми революционными качествами.

Промышленный подъем 90-х годов был связан в первую очередь с усиленным железнодорожным строительством. За десятилетие (1890—1900 годы) было выстроено свыше 21 тысячи верст новых железнодорожных путей. Железным дорогам требовалось огромное количество металла (на рельсы, паровозы, вагоны), требовалось все больше топлива, каменного угля и нефти. Это привело к развитию металлургии и топливной промышленности» (Краткий курс истории ВКП(б), Госполитиздат, 1938 г., стр. 6—7).

Далекая окраина Сибирь отставала в своем промышленном развитии от Европейской России, но промышленный капитализм проникал все глубже и на эту окраину.

Огромное значение для всей экономической и политической жизни Сибири имело проведение в 1892—1904 гг. Великого Сибирского железнодорожного пути от Урала до Тихого океана. Сибирская железная дорога приблизила сибирское сырье к рын-

кам сбыта, к промышленному центру, связала экономику Сибири более тесными, чем раньше, узами с экономикой всей России в целом, продвинула фабричные товары к сибирскому потребителю и т. д. А главное, железная дорога принесла в Сибирь сплоченный и квалифицированный, обладавший уже некоторыми революционными традициями пролетариат в лице железнодорожных рабочих.

К 1905 г. на Сибирской и Забайкальской ж. д. работало до 100 тысяч рабочих и служащих, из них около 25.000—в ж.-д. мастерских и депо. Столько же, примерно, рабочих было занято в промышленных предприятиях в городах Сибири. Таким образом, армия индустриального пролетариата Сибири насчитывала в своих рядах 50—60 тысяч человек*.

Зачатки пролетарского революционного движения среди сибирских железнодорожников относятся еще к концу 90-х годов. В 1899 г., например, на Сибирской ж. д. была предпринята попытка организовать забастовку, не только с экономическими, но и политическими целями.

В 1905 году сибирские железнодорожники, под руководством партии большевиков, вступили уже в открытую, непримиримую борьбу против самодержавия.

Вооруженное восстание рабочих красноярских ж.-д. мастерских в декабре 1905 г., так называемая «Красноярская республика», события в Чите принадлежат к числу самых крупных событий первой русской революции. Значение этих событий не ограничено пределами Сибири.

К моменту первой русской революции 1905 года почти вся Сибирь была покрыта сетью нелегальных рабочих революционных кружков. Кружки эти начали возникать еще с конца 90-х годов. Руководящую роль в них играли ссыльные и местные социал-демократы—большевики.

В конце 90-х годов организовался Сибирский социал-демократический союз, сыгравший после вытеснения из него «экономистов» выдающуюся роль в революционном воспитании сибирского пролетариата и подготовке революционных событий 1905 года.

«Как и везде, социал-демократическое движение в Сибири возникло с начала развития организованного массового рабочего движения. В Сибири сложились условия несколько более трудные для развития этого движения: там не было крупных пролетарских центров, там не было крупной промышленности, были лишь ее зачатки. К тому времени, когда в России развернулось широкое массовое движение, создать первые организа-

* См. Н. Баранский. Краткий очерк истории Сибирского союза РСДРП— сборник «Сибирский союз РСДРП». М. 1935 г., стр. 10.

ции организованного с.-д. движения в Сибири было, несомненно, гораздо труднее. Но вместе с тем Сибирь находилась в некоторых отношениях в более счастливых, если можно так сказать, условиях в том отношении, что Сибирь была особенно богата представителями всех революционных течений... Сибирь была средоточием, где наиболее крупные и видные деятели революционного движения, правда, невольно, проводили целые годы» (Е. Ярославский. К 30-летию Сибирского союза РСДРП—сборник «Сибирский союз РСДРП», М., 1935 г., стр. 3—4). Эти невольные насельники Сибири много способствовали распространению революционных настроений в передовых слоях местного сибирского пролетариата и учащейся разночинной молодежи и их идейному воспитанию; сибирские большевики выросли и окрепли в жестокой борьбе с осколками старого народничества, эсерами, меньшевиками и прочими оппортунистами всех мастей.

«В то время,—говорит тов. Ярославский (там же, стр. 5—6),—когда народники занимались почти исключительно учащейся молодежью, мы, марксисты, занимались организацией рабочего класса. Мы создали рабочие организации, в начале 900-х годов заложили в Сибири основание организованному движению революционного марксизма. С момента возникновения «Искры» мы были искровцами. Правда, мы не сразу во всем разобрались: кое-какие идеи, как, например, идея централистической организации, встречала еще у отдельных товарищей возражения; но во всяком случае мы стали на путь, который рекомендовала «Искра». Впоследствии, хотя после II съезда большинство наших организаций не раскололось в Сибири, тем не менее внутри их, как и всюду, шла упорная борьба за большевистское течение. И это большевистское течение окрашивало собой по преимуществу работу сибирских комитетов социал-демократов в первую революцию».

Сибирская железная дорога приблизила сибирских социал-демократов к общерусскому и заграничному подпольным центрам революционной социал-демократии и тем способствовала идейному и организационному сплочению сибирских социал-демократических организаций и развертыванию их подпольной революционной работы.

Проведение Сибирской железной дороги имело еще одно, чрезвычайно важное, политическое следствие. Железная дорога убила сибирское областническое движение. С появлением в Сибири революционно настроенного пролетариата, по мере нарастания массового революционного движения, прежние—прогрессивные когда-то—лозунги сибирских областников-автономистов стали явно куцыми и недостаточными, и отсталые, озлобленные появлением нового сильного, непримиримого противника областники начали все быстрее и

быстрее скатываться в болото реакции. Недаром они так энергично возражали против постройки Сибирской ж. д.—они как бы предчувствовали свою гибель с падением прежней изолированности Сибири от остальной России.

В приведенном ниже отрывке из книги «В рядах Сибирского соц.-дем. союза» (Новосибирск, 1923 г., стр. 14—18 и 23—25) старый сибирский партийный работник, активный участник Сибирского соц.-дем. союза Н. Н. Баранский рассказывает о социал-демократическом рабочем движении в Сибири накануне революции 1905 года.

«В рядах Сибирского социал-демократического союза»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. Н. БАРАНСКОГО.

...(В начале 1900-х годов—Б. Ж.) вместе с комитетом экономического направления в Томске было целых три самостоятельных социал-демократических организации[1]. Но тут подоспело «Что делать?» и быстро произвело необходимую для ликвидации кустарничества подготовительную работу в головах с.-д. публики.

Переворот в головах не замедлил сказаться и на организационных формах. Сибирский социал-демократический союз, впервые заявивший о своем существовании «рабочедельскими» листками еще, кажется, в 1901 году и с тех пор ничем себя не проявивший, так что о самом существовании его даже мало кому было известно, подвергся реорганизации: лидер нашего сибирского «экономизма» Валяна Воложанинов принужден был выйти оттуда, и новый состав Союза в своей программной декларации от января 1903 года совершенно категорически высказался за искровское направление; в этой декларации все «ударные места» из «Что делать?» были даже выписаны крупным шрифтом[2].

Вслед за этой декларацией появился целый ряд печатных листков и брошюр с перепечатками из «Искры» и «Зари»[3]. Типографская техника была еще у нас тогда редкостью, поэтому все эти издания весьма импонировали нашей публике и престиж Союза сразу поднялся на значительную высоту.

К тому же создание крепкой партийной организации властно диктовалось и интересами массового движения. Под напором жизни стали подаваться и сидевшие в комитете «хвостисты», начавшие наконец понимать, что политика в рабочем движении может и должна играть более важную роль, чем та, какую до сих пор отводили ей они в своих листках на темы экономической агитации. С весны 1903 года я счел возможным войти в состав комитета (Сибирского соц.-дем. союза—Б. Ж.)... выступал на массов-

ках, писал «листки», участвовал в организации первомайской демонстрации.

Эта первомайская демонстрация 1903 года имела совершенно исключительное значение в истории рабочего движения в Томске. Все предшествовавшие демонстрации были «студенческими» как по инициативе и поводам, так даже и по преимущественному составу. Рабочим, как мне это было известно через свои пропагандистские кружки, определенно захотелось устроить «свою» демонстрацию.

И хотя первая, предпринятая в начале дня, организованная попытка открыть шествие кончилась арестом почти всей инициативной группы, зато к вечеру, сразу по окончании работ, состоялась, почти стихийно, весьма внушительная и чисто рабочая по составу демонстрация, сразу вылившаяся в форму крайне острого столкновения не только с полицией, но и с войсками.

После этой демонстрации все чернорабочие и все строительные рабочие стали работать не более 8 часов. «Как отрезало», «точно взбесились»—объясняли подрядчики. Не менее показательно для значения этой демонстрации было также и то, что эсеровская компания, состоявшая в Томске главным образом из ссыльных народовольцев, признала, наконец, силу «мальчишек» и сделала нам довольно оригинальное предложение: они давали нам деньги на расширение типографии с тем, чтобы мы издавали их листки и прекратили против них «травлю».

Учитывая опыт этой демонстрации, наглядно показавшей необходимость более широкой и дисциплинированной организации, я создал при комитете «боевую организацию» на таких началах: комитет назначал центральную группу, а каждый из членов этой группы формировал свой «десяток».

В конце июля 1903 года я и Доброхотов[4] были приглашены Союзом на конференцию в Иркутск...

Несмотря на малочисленность своего состава, конференция эта сыграла крайне важную роль в истории сибирского социал-демократического движения, обеспечив на долгое время не только идейную, но и организационную преемственность работы, несмотря на все провалы и пертурбации. Не меньшее значение эта конференция имела и в качестве «прививки» действенного революционного фанатизма...

Очередной практической задачей для Сибири было признано построение единой общесибирской организации на строго централистических началах, причем областной орган—Сибирский союз—должен был быть ни более ни менее, как «коллективным агентом» О. К., задачей которого было «связать местную работу с общепартийной, поставить ее в тесную зависимость от партийного центра и... сойти со сцены, очистив арену для работы центральному учреждению».

Местные комитеты призывались «немедленно стать в обязательные отношения к своему центру, не ожидая какого-то формального признания Сибирского союза «Искрой» и О. К., как своего агента»...

Вскоре после конференции к нам в Томск заехал проездом в Россию Богословский, возвел меня в «звание» агента Союза, и мы с ним очень быстро и решительно провели перестройку всех трех томских организаций в единый, централистически построенный аппарат...

С начала японской войны Союз, благодаря прекрасно поставленным типографиям, смог открыть поистине бешеную агитацию против войны: в первую же неделю с объявления войны в одних только томских типографиях было выпущено пять листков в числе около 100.000 экз. [5]

Но уже в марте 1904 года наступил провал и провал грандиозный. Полиции удалось спровоцировать одну работницу, арестованную при провале маленькой комитетской типографии еще в декабре, подсадивши к ней ее знакомую из уголовных, которой та настолько доверилась, что завела через нее переписку с волей. Таким путем удалось «осветить» чуть не всю нашу организацию и добраться до союзной техники.

В связи с провалом типографии жандармы добрались и до меня. Пришли с обыском, когда меня не было дома; я узнал об этом немедленно, поезд на Россию уходил всего через час и, недолго думая, я отправился, как был, в Самару, на явку Восточного бюро ЦК...[6].

...(Вернувшись с Урала—Б. Ж.) в Томске я застал Гутовского[7], успевшего уже к тому времени сбежать из ссылки, куда запрятали его иркутские жандармы. Благодаря его удивительной способности оживлять работу, томская организация стала быстро оправляться от мартовских провалов, расширялись связи, главным образом, среди интеллигенции, завелся даже «революционный салон».

Гутовского, который очень живо интересовался разногласиями (между большевиками и меньшевиками—Б. Ж.), мы вскоре по его просьбе снарядили за границу «для ориентации», я же летом 1904 г. отправился в объезд до Читы.

Читинская организация произвела на меня чрезвычайно сильное, неизгладимое впечатление.

Это была первая чисто пролетарская организация, которую мне пришлось наблюдать: интеллигенты играли в ней совершенно незаметную роль. Массовка, собравшаяся на горе за (рекою—Б. Ж.) Ингодою, сплошь состояла из молодежи жел.-дор. мастерских, чистой, прекрасной пролетарской молодежи, которая глубоко и жадно воспринимала идеи своего класса и притом воспринимала их с совершенно особенной простотой, отчетли-

востью и действенностью и без тех оттенков романтики, изощренности и позерства, которые всегда в той или другой степени приходилось наблюдать в кружках молодежи интеллигентской. Непосредственной борьбой организация еще не была затронута, движение переживало еще свой первый, чисто идейный период, и эта «пора юности» пролетарского движения была, право, нисколько не хуже тех дней молодости народнического движения, о которых вспоминал Мышкин в своей знаменитой речи...[8]

В Иркутске, где я несколько задержался на обратном пути, пришлось наблюдать совершенно другую картину. С рабочими там приходилось встречаться только в пропагандистских кружках. Организация же вся целиком состояла из интеллигентов, большинство их сочувствовало меньшевикам, что не мешало каждому иметь еще и свой собственный «оттенок» или «оттеночек» и отстаивать этот оттеночек с настойчивостью обратно пропорциональной его важности. В результате «работа» принимала характер перманентной и весьма нудной дискуссии—дискуссии и внутри организации и вне ее, так как Иркутск, как город ссылки, представлял собою, в смысле политических оттенков, нечто вроде археологического музея: тут были и старые народовольцы, и народоправцы, и бундисты, и пепеесовцы, и махайцы, и эсеры всяких мастей[9]. Все они при всех своих идеологических различиях совершенно сходились между собою в одном отношении: все они искренне и добросовестно под революционной работой понимали дискуссию—и дискуссировали.

Так как все участники нашей Иркутской организации были «птицами стреляными» и притом неоднократно, и за каждым из них была специальная слежка, то кроме дискуссии приходилось немало забот и времени уделять конспирации.

Наиболее осязательные и реальные результаты давала работа по связи с тюрьмой и ссылкой, которая все время сосредоточивалась именно в Иркутском комитете союзной организации и заключалась не только в поддержании связи ссылки с партийными центрами, но и в устройстве побегов.

Необходимо попутно отметить, что в этой отрасли своей работы мы не ограничивались только пассивным содействием тем, кто сам желал бежать на работу. Основной директивой Союза в сношениях со ссылкой, директивой, соблюдавшейся неуклонно по всей линии и обратившейся в традицию, была борьба с «демобилизационными» настроениями, иногда довольно сильно сказывавшимися среди ссыльных. Каждого дельного работника мы сами тянули из ссылки, насколько, конечно, нам позволяли наши средства, причем не забывали, признаться, и интересов собственной организации: обыкновенно за устройство побега предлагалось отработать хоть два-три месяца у нас в Сибири. Эта «отработочная» система не только пополняла наши

силы, но при нашей пространственной оторванности была и весьма важной формой связи с общерусским движением.

Приблизительно в конце сентября (1904 г.—Б. Ж.), когда Гутовский вернулся из-за границы, меня вызвали в Томск на совещание членов Союза, после чего я снова отправился в объезд, войдя таким образом окончательно в амплуа разъездного организатора Союза.

В каждом городе моя работа шла по одной и той же программе: несколько комитетских собраний для взаимной информации и проведения директив партии и Союза, одно-два более широких собрания, один-два листка для «техники», проверка конспиративного аппарата... С организационной же стороны наиболее важным результатом этих поездок было закрепление связей и перераспределение работников, парализовавшее действие местных провалов. Кроме того, этими поездками удавалось встряхнуть «засидевшихся», а при случае и завербовать в профессионалы.

Главными директивами, которые были нами выработаны для Сибири в конце 1904 года, были—расширение агитации, сосредоточение ее на лозунге всеобщей стачки против войны и распространение связей по всей линии ж. д. и среди войск; с этими директивами я поехал опять в объезд до Читы и обратно, с остановками не только в городах, но и на более крупных станциях, где были депо. Признаться, лозунг всеобщей стачки против войны на безлюдных станциях, где среди снежной пустыни затерялось всего-то несколько сот человек, звучал не особенно реально. Но свое дело он делал как нельзя лучше, ибо давал конкретный ответ и для всей массы рабочих, и для каждой нашей ячейки. Именно на почве этого лозунга нам и удалось уже тогда закрепить связи по многим депо Сибирской и Забайкальской ж. д.[10]

Устраивать «массовки» в чистом смысле этого слова тогда, по большей части, еще не удавалось; в таких случаях созывались общие собрания—человек в 50 и больше—тех, кто мог вести массовую агитацию, и на этих собраниях подробно разбиралось, как отвечать на каждое возражение против нашего основного лозунга противовоенной стачки; такие собрания встряхивали активное революционное сознание, конечно, гораздо лучше всяких отвлеченных рефератов.

Приходилось иногда в этих разъездах «ходить и в другие слои». Так, помню, в конце 1904 г. мы провели с т. Ветошкиным нелегальный учительский съезд, собравшийся на станции Зима, где тоже одним из центральных пунктов поставили вопрос об агитации за противовоенную забастовку.

Вернувшись в декабре в Томск, я застал там работу нашей организации развернувшейся в небывалом еще ранее масштабе...[11]

ПРИМЕЧАНИЯ[1]

К ГЛАВЕ «СИБИРСКИЙ БЫТ В КОНЦЕ XVIII—НАЧАЛЕ XIX в.в.»

1) В обычае брить бороды и не носить долгополых кафтанов явно сквозит стремление иркутского купечества того времени к «цивилизации». Даже иркутские купчихи подражали в костюме и манерах «светским» дамам. Само собою разумеется, что этот «лоск цивилизации» был чисто внешним.

2) Российско-Американская торговая компания была основана в 1798—99 гг. путем слияния основанной в 1781 г. купцами Григорием Шелиховым и Иваном Голиковым торговой компании с «Коммерческой американской компанией» сибирских (иркутских) купцов. Российско-Американская компания получила от царского правительства исключительную привилегию промышлять ценного морского зверя, бобра и котика, на северо-восточных морях и вести торговлю с тогдашними владениями царской России в Северной Америке. Главное управление Российско-Американской компании находилось до 1800 г. в Иркутске.

3) Даба, канча, фанза, чанча—названия китайских шелковых и бумажных материй, ввозившихся в Россию через Кяхту.

4) Писано в 30-х годах XIX века.

5) Сарацинским (или сарачинским) пшеном в старину называли рис. Культура риса была занесена в Европу, в Испанию, маврами.

6) Принадлежность Е. А. Авдеевой к купеческому сословию наложила явственный отпечаток на ее записки: она чересчур идеализирует патриархальную нравственность старого сибирского купечества, не замечая отрицательных сторон этой патриархальности. Из других исторических источников известно, что пьянство, разврат и другие пороки процветали в среде старого сибирского купечества не меньше, чем в среде чиновничества и дворянства, хотя и прикрывались лицемерными приличиями. Пили горькую и безобразили не только мужчины, но и женщины. Купчиха Анна Ксенофонтовна Сибирякова («Селифонтьевна»), например, устраивала со своими приказчиками дикие попойки, сопровождавшиеся циничными безобразиями. (См. Из автобиографии С. С. Шашкова, газ. «Восточное обозрение», 1882 г. № 27).

7) Ужасающее невежество было характернейшей чертой старого сибирского и вообще российского купечества. Если мальчиков еще учили, для целей торговой деятельности, чтению, письму и счету, то для девочек даже простая грамота считалась лишней. С. С. Шашков рассказывает в автобиографии («Восточное обозрение», 1882 г. № 27) о двух своих незамужних тетках по матери, происходивших из старинной иркутской купе-

[1] В примечаниях позади текста приводятся только фактические данные, поясняющие или исправляющие неясные или ошибочные места текста. Комментарии социально-исторического порядка даны во вступительных заметках к каждой главе книги.

ческой фамилии Сибиряковых, что «обе оне с грехом пополам умели читать и писать, были в высшей степени неразвиты, пока была жива мать, не тревожили своих мозгов даже хозяйственными делами, так что в своей изолированной, крайне монотонной жизни окончательно одичали» и боялись каждого незнакомого человека.

Первое женское учебное заведение в Иркутске—«Сиропитательный дом»—было открыто только в 1838 г., Девичий институт—в 1845 г. Да и те были доступны далеко не всем девочкам.

8) Сивилла—знаменитая в древности легендарная пророчица-старуха.

9) Обычай этот заключался в том, что в «прощальный день» (последний день масленицы) просили друг у друга прощения в возможных обидах.

10) Так называемый Великий пост, продолжавшийся семь недель до самой пасхи.

11) Друиды—жрецы кельтских племен, населявших в древние времена теперешнюю Францию. Леса, в которых друиды приносили жертвы божеству, считались священными.

К ГЛАВЕ «ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ СИБИРИ В НАЧАЛЕ XIX в.»

1) Должность сибирского генерал-губернатора, с особыми правами, ввиду отдаленности края, была учреждена в 1803 г. Первым сибирским генерал-губернатором был И. О. Селифонтов, с 1806 г. по 1819 г. эту должность занимал И. Б. Пестель (отец декабриста П. И. Пестеля). Пестель почти все время жил в Петербурге, фактически Сибирью за него управлял иркутский губернатор Н. И. Трескин, назначенный на эту должность по протекции Пестеля и смещенный в результате ревизии Сперанского в 1819 г., с преданием суду за злоупотребления по службе и взяточничество.

2) Калашников ошибся: Трескин прибыл в Иркутск в октябре 1806 г.

3) Это, конечно, было только маскировкой: сибирские чиновники доброго старого времени славились даже в среде дореформенного российского чиновничества своим неимоверным лихоимством.

4) После покорения Новгорода в 1478 г. Иваном Ш-м виднейшие представители правящей верхушки Новгорода были разосланы на жительство по разным городам московской Руси. Гипотеза Калашникова о происхождении иркутских купеческих фамилий по прямой линии от древних новгородцев нуждается в особой проверке. Среди старого населения Иркутска было действительно немало выходцев из новгородских поселений—Перми, Великого Устюга и др.

5) Необходимо подчеркнуть, что эти жалобы были вызваны отнюдь не стремлением иркутского купечества к законности и справедливости, как изображает Калашников, а желанием избавиться от бюрократического вмешательства в свои, довольно темные, торговые дела, закрепить свою торговую монополию и обеспечить награбленное с «низших» классов населения Сибири добро от покушений хищных чиновных лихоимцев. Борьба иркутского купечества против чиновных самодуров диктовалась самыми корыстными интересами, а вовсе не «самостоятельностью» купеческого характера (см. А. П. Щапов. «Сибирское общество до Сперанского», собр. соч. Щапова, СПБ, 1908 г., т. III, стр. 643—678; В. И. Вагин. Исторические сведения о деятельности гр. М. М. Сперанского в Сибири, СПБ, 1872 г., т. I и приложения).

6) По указу Александра I для получения чинов на государственной службе стал требоваться известный образовательный ценз. Этот указ способствовал появлению большего, по сравнению с прежним временем, числа образованных чиновников.

7) Действительно, святочный кукольный «вертеп», широко распространенный на старой Украине, был занесен в Сибирь воспитанниками украинских церковных школ, явившимися в XVII—XVIII в. в. «просвещать» туземную языческую Сибирь в качестве миссионеров православной церкви.

8) Под «тяжелой годиной» Калашников разумеет управление Иркутском Н. И. Трескина (1806—1819 гг.).

9) В 1805 году. Первый любительский спектакль в Иркутске состоялся в 80-х годах XVIII в., по инициативе жены видного местного чиновника В. А. Троепольского. В 1803 г. некий купеческий сын Е. П. Солдатов устроил в Иркутске общественный театр «для всей публики», с труппой из подьячих и ссыльных. Театр Солдатова просуществовал одни святки. В 1805 г. ссыльные кн. В. Н. Горчаков и бывший гвардейский офицер А. П. Шубин основали постоянный полупрофессиональный театр, о котором и рассказывает Калашников. Об иркутском театре этого периода см. также Н. Щукин. Воспоминания об иркутских театрах—«Северная пчела», 1843 г. № 144; Ф. Ф. Вигель. Записки. М. 1892 г., ч. 2, стр. 188.

10) Плодовитый немецкий драматург Август фон-Коцебу (1761—1819 гг.) был в конце XVIII—начале XIX вв. и в России самым популярным драматическим автором; острили, что на русской сцене царит «коцебятина». Сентиментально-добродетельные драмы Коцебу примыкали к так называемой мещанской драме, заполнившей западно-европейскую сцену по мере политического и культурного роста буржуазии, противопоставлявшей свой реалистический буржуазный театр пышному придворному дворянскому театру.

11) Талия—у древних греков муза (богиня) комедии; Мельпомена—муза трагедии.

12) Париж был занят союзными войсками 19(31) марта 1814 г.

13) Экосез, матрадур—старинные танцы; кадриль—танец с фигурами.

14) Мих. Мих. Сперанский, назначенный в 1819 г. сибирским генерал-губернатором, прибыл в Иркутск 29 августа 1819 г. и прожил здесь 11 месяцев, до августа 1820 года. Он старался оживить иркутскую общественную жизнь: «Завожу здесь,—писал он дочери,—еженедельные собрания, ибо мне нужны точки соединения местного общества, нужно снять оковы прежнего сурового и угрюмого правительства (Трескина—Б. Ж.). Едва верят здешние жители, что они имеют некоторую степень свободы и могут без спроса и дозволения собираться, танцовать или ничего не делать» (М. Корф. Жизнь графа Сперанского, СПБ, 1861 г., т. II, стр. 211).

15) Об иркутском обычае «капустки» см. также в «Записках и замечаниях о Сибири» Е. А. Авдеевой. М., 1837 г., стр. 77—79.

16) Бортнянский Дмитрий Степанович (1751—1825 гг.)—директор придворного хора, известный композитор, создатель русской церковной музыки. Учился музыке в Италии.

17) Первая городская школа открылась в Иркутске в феврале 1781 г. (см. И. Щеглов. Перечень важнейших данных из истории Сибири, Иркутск, 1883 г., стр. 320).

18) Речь идет о Екатерине Алексеевне Авдеевой, рожденной Полевой. О ней см. вступительную заметку к предыдущей главе: «Сибирский быт в конце XVIII—начале XIX в. в.».

19) Роллен Шарль (1661—1741 гг.)—известный французский писатель-историк. Его сочинения «Древняя история» в 12 томах и «Римская история» в 16 томах были переведены на русский язык В. К. Тредиаковским в 60-х годах XVIII в. и изданы Академией наук. На этот перевод писатель XVIII в. А. А. Нартов сочинил язвительную эпиграмму.

20) Калашников цитирует свою собственную оду, написанную им в возрасте 15 лет. Об этой оде его отец Тимофей Петрович Калашников записал в своем дневнике («Жизнь незнаменитого Т. П. Калашникова, простым слогом описанная»—«Русский архив», 1904 г., кн. 10, стр. 182), что она очень нравилась современным иркутским читателям. О «рукописной» поэзии в старом Иркутске см. также А. П. Щапов «Сибирское общество до Сперанского».

21) В. А. Жуковского. «Певец во стане русских воинов», известное патриотическое стихотворение, прославляющее подвиги русских войск в войне против Наполеона, написано было Жуковским в 1812 г.

22) Энциклопедия или «Словарь наук, искусств и ремесл»—знаменитое коллективное творение французских буржуазных философов

XVIII в., проникнутое духом «вольномыслия», свойственным революционной в то время буржуазии.

23) Идеализации старого сибирского патриархального быта, подобно Авдеевой, не избежал и Калашников. Выше (см. комментарий к предыдущей главе) уже отмечалось, что этот быт далеко не был столь идиллическим.

24) В числе выдающихся воспитанников иркутской гимназии начала XIX в. Калашников называет: Семена Семеновича Щукина (у Калашникова ошибочно—Ивановича), впоследствии окончившего курс педагогического института в Петербурге и в 30-х годах занимавшего пост директора иркутской гимназии; его брата Ник. Сем. Щукина, небезызвестного сибирского краеведа, автора краеведческого сочинения «Поездка в Якутск» (1832 г.) и двух повестей из сибирской жизни («Ангарские пороги»—1834 г. и «Посельщик»—1835 г.); Н. Ф. Кокорина, служившего по окончании педагогического института в Иркутске; Л. С. Белышева, воспитанника Петербургского университета, преподавателя в иркутской гимназии; В. И. Беккера, много путешествовавшего по России и Европе, сибирского журналиста—сотрудника «Иркутских губернских ведомостей» 50—60-х гг.

25) Остальная часть «Записок иркутского жителя» посвящена описанию жизни и деятельности известного сибирского ученого и общественного деятеля П. А. Словцова. П. А. Словцов, назначенный в 1815 г. директором училищ Иркутской губ., много сделал для поднятия учебного дела в губернии и, в частности, в иркутской гимназии. При нем упавшая было гимназия снова пришла в порядок.

К ГЛАВЕ «ЗАРОЖДЕНИЕ СИБИРСКОГО ОБЛАСТНИЧЕСТВА».

1) Сибиряковы, Трапезниковы, Баснины, Мыльниковы, Чупаловы, Медведниковы—богатые старинные иркутские купеческие фамилии. Состояния многих из этих купеческих династий исчислялись миллионами.

2) Тельминская суконная фабрика (в с. Тельме, в 30 клм. от Иркутска) была основана в XVIII в. для удовлетворения нужд местного гарнизона и административных учреждений; впоследствии перешла в руки частных предпринимателей.

3) Семен Семенович Дудоровский представлял собою исключительную фигуру в среде старого сибирского купечества. Его вполне возможно, наряду с П. А. Словцовым и П. П. Ершовым, считать одним из первых сибирских «патриотов»—предшественников позднейших областников.

4) Посольство графа Ю. А. Головкина, отправленное в 1805 г. в Китай, не было допущено китайцами в Пекин, и драгоценные подарки, предназначенные к поднесению китайскому богдыхану, были вследствие этого распроданы в Иркутске, чтобы не везти их обратно в Петербург.

5) Прокофий Федорович Медведников, богатый иркутский купец, много лет сряду занимал должность иркутского городского головы. Славился своею скупостью и чванством. Триумфальные ворота были сооружены в Иркутске на берегу Ангары после войны 1812 года.

6) «Новая Элоиза»—популярный в свое время роман известного французского писателя Жан-Жака Руссо (1712-1778 гг.); Вольтер (Франсуа Мари Аруэ, 1694—1778 гг.)—знаменитый французский писатель, автор острых памфлетов, направленных против феодального режима и католической церкви. В царской России Вольтер считался «неблагонадежным», чем и объясняется описанная Александровым конфискация его книги иркутской полицией.

7) Иркутское адмиралтейство имело задачей строить парусные суда для переправы казенных грузов через озеро Байкал. Кругобайкальский тракт в то время находился в очень плохом состоянии.

8) В ведении Российско-Американской торговой компании находились Алеутские, Курильские и Командорские острова в северной части Тихого океана и тогдашние русские владения в Северной Америке (Аляска и др.).

9) Мягкой рухлядью в XVI—XVII столетиях называли пушнину.

10) Эти мысли анонимного семинарского «профессора» 20-х годов предвосхищают высказывания по тому же предмету позднейших сибирских областников. «Среди девственной и суровой природы,—писал в 80-х гг. Н. М. Ядринцев в своей известной статье «Судьба сибирской поэзии» (Литературный сборник газеты «Восточное обозрение», СПБ, 1885 г., стр. 407—408),—среди темных лесов, под кущею звероловческого балагана, человеку не до песен... Не рвутся, не просятся еще из груди человека «сладкие мотивы», мольба, стоны флейты, звоны лютен. Бедный зверовщик ничего не понимает в этих звуках... Русский народ в Сибири не музыкален, он утратил эту музыкальность, вероятно, вследствие своего звероловческого быта».

Современные собиратели сибирского народного фольклора доказали, что это ошибочное мнение областников было основано попросту на незнании песенно-сказочного творчества старожилого русского населения Сибири. Творчество это очень ярко и своеобразно (см., напр., сборник М. К. Азадовского «Верхнеленские сказки», Иркутск, 1938 г., или «Фольклор Восточной Сибири», Иркутск, 1938 г.).

11) Стихотворение это, если оно не сочинено самим М. Александровым, представляет собой любопытный образец «рукописной» сатирической поэзии, широко распространенной в старой Сибири. Подробнее об этой «рукописной» поэзии см. в сборнике «Старая сибирская сатирическая поэзия», изд. Новосибирского облгиза, Новосибирск, 1938 г.

12) Мартын Задека—знаменитый в старину «оракул», якобы предсказывавший будущее.

13) Это ироническое описание патриархального быта старого иркутского купечества представляет хороший корректив к идеализированному описанию этого быта Е. А. Авдеевой-Полевой (см. главу «Сибирский быт в конце XVIII—начале XIX в.в.»).

14) Порто-франко—право беспошлинного ввоза иностранных товаров и беспошлинного вывоза отечественных продуктов через какой-либо порт. В царской России порто-франко существовало некоторое время в Одессе, Владивостоке и других портах. Порто-франко объявлялось для оживления внешней и внутренней торговли и для привлечения иностранных капиталов. Борьба за порто-франко в устье Енисея долгое время была одним из главных лозунгов старой сибирской буржуазии.

15) Из этого монолога видно, что С. С. Дудоровский ясно понимал необходимость для сибирского купечества перейти от хищнического истощения пушных богатств к более широкой и прочной эксплоатации естественных, в частности горных богатств Сибири. В требовании «индустриализировать» современную ему Сибирь Дудоровский является прямым предшественником позднейших сибирских областников.

16) Василий Николаевич Баснин действительно представлял собой выдающуюся фигуру в среде старого сибирского купечества (см. его некролог в «Современной России», 1876 г., стр. 391). Он занимался ботаникой и устроил в Иркутске оранжерею с редкими тропическими растениями.

К ГЛАВЕ «СИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВО И ДЕКАБРИСТЫ».

1) Юшневский Алексей Петрович (1786—1844 гг.), генерал-интендант второй (южной) армии, декабрист, ближайший соратник П. И. Пестеля, вступил в Союз благоденствия в 1819 г., играл в нем и в южном обществе декабристов видную роль, был председателем Тульчинской думы и (с 1822 г.) одним из директоров южного об-ва. Верховным судом по делу декабристов, был приговорен по 1 разряду к смертной казни, замененной вечной каторгой. Каторгу отбывал в Чите и Петровском заводе, в 1839 г. был выпущен на поселение и поселен сначала в дер. Кузьмихе вблизи Иркутска, а затем (в 1840 г.) переведен в д. Малую Разводную. Приведенный выше (стр. 51) рассказ Белоголового о скоропостижной смерти Юшневского вполне верен: А. П. Юшневский умер скоропостижно 10 января 1844 г. в с. Оек в церкви, во время отпевания тела умершего декабриста Ф. Ф. Вадковского (см. сборник «Восстание декабристов», Л. 1925 г.,

т. VIII, Алфавит декабристов, стр. 214 и 429—430). Жена Юшневского, Мария Казимировна добровольно последовала за ним в Сибирь.

2) Это посредничество между декабристами и их российскими родственниками выполнял не один Белоголовый—отец. Целый ряд сибирских промышленников и купцов во всех сибирских городах, где были декабристы, занимались этим посредничеством: перевозили письма туда и оттуда, привозили из России для декабристов деньги, вещи и т. д. В Иркутске этим посредничеством занимались, кроме Белоголового, Кузнецов, Медведниковы и др. И, конечно, не одно «сочувствие» декабристам руководило ими в данном случае. Были и другие стимулы, более эгоистические, напр. возможность через знатную и сановную родню декабристов, завязать и укрепить свои коммерческие связи, наладить деловые отношения с биржей, банками, департаментами и т. д.

3) Муравьев Артамон Захарович (1794—1846 гг.)—полковник, командир Ахтырского гусарского полка, член Союза благоденствия и южного общества декабристов; присужден был к смертной казни, замененной каторжными работами. Каторгу отбывал в Петровском заводе, с июля 1839 г. поселен в д. Елань, Иркутской губ., с марта 1840 г.—в Малой Разводной.

4) Борисов 1-й Андрей Иванович (1798—1854 гг.)—отставной подпоручик, один из основателей и активных членов Общества соединенных славян, приговоренный к вечной каторге, с 1841 г. жил вместе с братом на поселении в М. Разводной, страдал психическим расстройством и покончил с собой в день скоропостижной смерти брата 30/IX-1854 г.; Борисов 2-й Петр Иванович (1800—1854 гг.)—младший брат А. И. Борисова, артиллерийский подпоручик, основатель и член общества соединенных славян, после отбытия каторги, был поселен в 1839 г. вместе с братом в д. Подлопатки, Верхнеудинского округа, в 1841 г. переведен в Малую Разводную, умер скоропостижно 30/IX-1854 г. Рассказ Белоголового о бедствиях братьев Борисовых, лишенных почти всяких заработков, подтверждает высказанное нами во вступительном комментарии к настоящей главе утверждение, что отношение сибирской буржуазии к декабристам не было свободно от своекорыстного расчета.

5) Якубович Александр Иванович (1792—1845 гг.)—известный декабрист, капитан Нижегородского драгунского полка. По словам современников, Якубович действительно отличался необыкновенной «романтической» наружностью: «крестообразные рубцы на лбу и большие глаза придавали ему очень суровый вид». (Из воспоминаний Л. Ф. Львова, «Русский архив», 1885 г., кн. 1, стр. 359). Якубович носил на лбу черную повязку, чтобы прикрыть след раны, полученной им на Кавказе.

6) Не следует преувеличивать значения «благоговейного уважения», какое питал к декабристам Н. А. Белоголовый и другие сибирские воспитанники декабристов: из этих воспитанников не вышло ни одного революционера, и уважение их ограничивалось преклонением пред высокими нравственными качествами декабристов. Сам Н. А. Белоголовый, при всей его несомненной гуманности, был не более чем буржуазным либералом-прогрессистом.

7) Анкудинов—третий воспитанник А. П. Юшневского, сын богатого крестьянина, помещенный к Юшневскому своим дядей, содержателем почтовой гоньбы по Иркутской губ.

8) Большинство декабристов, в том числе П. И. Борисов, отбывало каторгу сначала в Читинском остроге, а с момента постройки в 1830 г. специальной тюрьмы—в Петровском заводе, Нерчинского округа.

9) Возбуждать в 8—10-летних мальчиках «злобные чувства» к царскому правительству П. И. Борисов не мог по вполне понятным причинам.

10) А. З. Муравьев умер 4/XI-1846 г. после пятинедельной болезни, вызванной падением с разбившегося экипажа. Погребен в Большой Разводной, рядом с А. П. Юшневским.

11) Вадковский Федор Федорович (1800—1844 гг.)—прапорщик Нежинского конноегерского полка, член северного и южного тайных об-

ществ, с 1840 г. жил на поселении в с. Оек, вблизи Иркутска, где и умер 8/I-1844 г.

12) Жена А. П. Юшневского Мария Казимировна Юшневская была ревностной католичкой и строго соблюдала обряды католической церкви. Но она—одна из тех декабристок, которые не убоялись препятствий, чинимых правительством против их стремления в Сибирь за своими осужденными мужьями. О ней см. Письма декабриста А. П. Юшневского и его жены из Сибири, Киев, 1908 г.

13) Поджио Александр Викторович (1798—1873 г.г.)—отставной подполковник, из обруселой итальянской семьи, член южного общества декабристов, с 1839 г. жил на поселении в с. Усть-Кудинском, Иркутской губ., после амнистии возвратился в Европейскую Россию, жил за границей. Н. А. Белоголовый посвятил А. В. Поджио особую большую главу своих воспоминаний.

14) С. Г. Волконский с семьей переселился в Иркутск с 1844 г., С. П. Трубецкой с семьей—почти одновременно. Александр Викторович и его брат Иосиф Викторович Поджио (ум. в 1848 г.) и П. А. Муханов были поселены в с. Усть-Кудинском, в 23 верстах от Иркутска, но часто приезжали в Иркутск «для лечения» и жили в городе подолгу. В с. Урик, в 17 в. от Иркутска, жил Н. А. Панов, также часто приезжавший в город, в с. Смоленщине—В. А. Бечасный. Остальные декабристы, поселенные по отбытии каторги в деревнях вблизи Иркутска (А. П. Юшневский, А. З. Муравьев, Ф. Ф. Вадковский, А. М. и Н. М. Муравьевы, А. Н. Сутгоф и др.), к этому моменту уже либо умерли, либо были переведены в Западную Сибирь или на Кавказ.

15) Волконская Мария Николаевна (1805—1863 гг.)—жена С. Г. Волконского, рожденная Раевская; Трубецкая Екатерина Ивановна (ум. 14/X-1854 г. в Иркутске)—жена С. П. Трубецкого, рожденная графиня Лаваль. У С. Г. и М. Н. Волконских были дети: Николай (1826—1828 гг.), Михаил (1832—1907 гг.), Елена (1835—1916 гг.); у Трубецких—дочь Александра (1830—1860 гг.), сын Никита (ум. в 1840 г., 3-х лет от роду), дочери Елизавета (род. в 1834 г.) и Зинаида (род. в 1837 г.), сыновья Владимир (1838—1839 гг.) и Иван (р. в 1843 г.). Елизавета и Зинаида Трубецкие учились в Иркутском девичьем институте, открытом в 1845 г., Михаил Волконский—в Иркутской гимназии.

16) Трубецкой Сергей Петрович (1790—1860 гг.), князь, гвардейский полковник, видный член северного общества декабристов, после каторги был поселен с 1839 г. в Оеке, вблизи Иркутска. После амнистии 1856 г. возвратился в Европейскую Россию.

17) Волконский Сергей Григорьевич (1788—1865 гг.), князь, генерал-майор, командир пехотной дивизии, член Союза благоденствия и южного тайного общества, осужденный по первому разряду, с 1836 г. жил на поселении в с. Урик, после амнистии уехал в Европейскую Россию. Н. А. Некрасов посвятил С. Г. Волконскому свою известную поэму «Дедушка» (1859 г.).

18) Генерал-лейтенант Вильгельм Яковлевич Руперт, по отзывам современников, не злой, но не отличавшийся умом старик, занимал пост генерал-губернатора Восточной Сибири с 1837 по 1847 г. А. В. Пятницкого современники характеризуют, как человека весьма ограниченного, грубого и сомнительной честности (см. В. И. Вагин «Сороковые годы в Иркутске», и др. источники).

19) Ревизия сенатора Д. А. Толстого была назначена в Восточную Сибирь вследствие чиновничьих злоупотреблений, особенно усилившихся во время генерал-губернаторства Руперта. В результате ревизии Руперт был смещен со своего поста и на его место назначен Н. Н. Муравьев, впоследствии граф Амурский.

20) Любительские спектакли устраивались в 40-х годах в Иркутске довольно часто местными чиновниками и учителями. Другой современник, служивший в это время в Иркутске, сообщает, что в доме Руперта «бывали домашние спектакли, в которых дочь его Елена и майор горной служ-

бы Таскин высказывали выдающиеся драматические таланты... Несколько спектаклей устраивалось в купеческой зале с благотворительной целью, и некоторые были очень удачны как сценическим исполнением, так и сборами» (Из воспоминаний Л. Ф. Львова,—«Русский архив», 1885 г., кн. 1, стр. 541—542. См. также В. И. Вагин «Сороковые годы в Иркутске»—Литер. сборник газ. «Вост. обозрение», СПБ, 1885 г., стр. 261). В начале 50-х гг. в Иркутске был выстроен уже «настоящий» театр, с профессиональной драматической труппой.

21) Демидовская премия была установлена известным меценатом П. Н. Демидовым (1798—1841 гг.) в качестве ежегодной награды за лучшую научную работу. Для этой цели Демидов ассигновал ежегодно 20.000 руб.

22) Об этом театре, построенном в начале 50-х гг., другой современник писал: «В архитектурном и акустическом отношениях театр удовлетворяет всем требованиям сценического искусства. Здание деревянное, длиною 17, шириною 12 и вышиною до 4 сажен. Два яруса лож и галлерея, партер в 9 рядов кресел, расположены с большим знанием дела и в отличном вкусе» (Ар. П. Письмо из Иркутска—«Московские ведомости», 1852 г. № 8). Труппа этого театра была постоянной и обладала рядом неплохих артистов.

23) Бестужев Николай Александрович (1791—1855 гг.), морской офицер, один из выдающихся декабристов, был поселен с 1839 г. в Селенгинске, где и умер, не дождавшись амнистии. Н. А. Бестужев, искусный механик и талантливый художник, оказал большое влияние на хозяйственную жизнь местного населения. Муравьев Никита Михайлович (1796—1843 гг.)—капитан генерального штаба, сын попечителя Московского университета М. Н. Муравьева, также выдающийся декабрист, один из главных руководителей северного общества, автор известного проекта конституции, вокруг которой группировалось северное о-во декабристов. Лунин Михаил Сергеевич (1787—1845 гг.), подполковник, адъютант Константина Романова,—один из самых последовательных и непримиримых декабристов, был с 1836 г. поселен в с. Урик под Иркутском. В письмах к сестре и специальных записках Лунин резко критиковал действия николаевского правительства. Копии с писем Лунина к сестре и его записок широко расходились в местном сибирском обществе. Правительство Николая I жестоко отомстило Лунину: в марте 1841 г. он был снова арестован и заключен в знаменитую Акатуйскую каторжную тюрьму в Забайкальи. Здесь Лунин скоропостижно умер 3/XII-1845 г. О жизни Лунина в Сибири см. Б. Г. Кубалов. Декабрист М. С. Лунин в Сибири—«Декабристы в Восточной Сибири», Иркутск, 1925 г., стр. 122—155.

24) Как известно, декабристы, находясь на каторге, организовали целую «каторжную академию» взаимной товарищеской учебы. Наиболее образованные из них читали своим товарищам лекции по различным предметам, изучались иностранные языки и т. д.

К ГЛАВЕ «КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕКАБРИСТОВ В СИБИРИ».

1) См. А. И. Дмитриев-Мамонов. Декабристы в Западной Сибири, СПБ, 1905 г., стр. 42—46, 70—87, 88—91, 92—96, 114—125, 162—166, 201—203, 208—213. Якушкин Иван Дмитриевич (1796—1857 гг.)—отставной капитан, один из учредителей и составитель устава Союза спасения, член северного общества декабристов, после каторги был, с сентября 1836 г., поселен в Ялуторовске, где прожил до амнистии 1856 г. Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793—1886 гг.)—отставной подполковник, брат повешенного декабриста С. И. Муравьева-Апостола, один из основателей Союза благоденствия, прибыл на поселение в Ялуторовск почти одновременно с Якушкиным. Ентальцев Андрей Васильевич (1788—1845 гг.)—подполковник артиллерии, член южного общества, был переведен в Ялуторовск в 1830 г. из Березова. Вследствие притеснений и до-

носов местных властей Ентальцев впал в психическое расстройство и умер в Ялуторовске в 1845 г. Тизенгаузен Василий Карлович (1781—1857 гг.)—командир Полтавского пехотного полка, член южного тайного общества, первый из поселенных (с июня 1829 г.) в Ялуторовске декабристов. Пущин Иван Иванович (1798—1859 гг.)—известный декабрист, лицейский товарищ и друг А. С. Пушкина, и князь Евгений Петрович Оболенский (1796—1865 гг.) были переведены в Ялуторовск из Туринска в июле 1842 г. и жили до женитьбы Оболенского вместе. Декабрист Враницкий Василий Иванович, член южного общества, отбывал ссылку сначала в Пелыме, Тобольской губ., а с марта 1830 г. в Ялуторовске, где и умер в конце 1832 г. Барон Черкасов Алексей Иванович (1799—1855 гг.) после годичной каторги был поселен сначала в Березове (вместе с А. В. Ентальцевым), в 1833 г. переведен в Ялуторовск, откуда в 1837 г. отправлен рядовым на Кавказ. Басаргин Николай Васильевич (1799—1861 гг.), которому в 1846 г. было разрешено вступить в гражданскую службу в Сибири, поселился в Ялуторовске только с 1848 г., и в романе Знаменского он не фигурирует, также как Враницкий и Черкасов.

2) Полуторовском в романе назван Ялуторовск.

3) Легенда о «колдовстве» И. Д. Якушкина родилась среди суеверных обывателей Ялуторовска вследствие того, что страстно увлекавшийся ботаникой Якушкин совершал в окрестностях Ялуторовска частые экскурсии с целью составления гербария местной флоры. Прогулки эти нередко затягивались до ночи.

4) М. И. Муравьев-Апостол был женат на воспитаннице жены бухтарминского чиновника Бранта, дочери умершего священника, Марии Константиновне Константиновой. Женился он на М. К. Константиновой во время своего поселения в Бухтарминской крепости на Алтае. В романе Мария Константиновна названа Матреной Кондратьевной.

5) Кабаньский—так назван в романе проживавший в 40-х гг. в Ялуторовске ссыльный польский националист Сабаньский, сосланный, как полагают, в связи с делом декабристов и друживший с ялуторовскими декабристами. Сабаньский был зверски убит с целью грабежа своими домочадцами (см. заметку С. Семенова «Убийство Сабаньского», «Сибирский архив», 1913 г. № 12, стр. 503—504). Этот эпизод также вошел в роман Знаменского. Кто такой «низенький пожилой господин в рыжем сноповидном парике» установить, к сожалению, не удалось.

6) Василиса Александровна Кандальцева—это Александра Васильевна Ентальцева, вдова умершего в 1845 г. А. В. Ентальцева. Ей не было разрешено вернуться в Европейскую Россию, и она вынуждена была жить в Ялуторовске вплоть до амнистии 1856 г. «Молодой протопоп Илья Яковлевич»—это отец романиста, Степан Яковлевич Знаменский, соборный протоиерей г. Ялуторовска, вместе с И. Д. Якушкиным организовавший в Ялуторовске ланкастерские школы для мальчиков и девочек.

7) Знаменский намекает на А. В. Ентальцева, доведенного до психического расстройства придирками местных властей (см. Дмитриев-Мамонов. Декабристы в Западной Сибири, стр. 70—87).

8) Каролина Карловна Козмина—это тоже реальное лицо, тесно связанное с семьей Муравьевых, воспитательница дочери Никиты Муравьева Софьи (Ноннушки). К. К. Козмина навестила ялуторовских декабристов в начале 40-х гг. проездом из Восточной Сибири в Европейскую Россию.

9) Когда осужденных декабристов везли с фельдъегерями в Сибирь на каторгу, они иногда при остановках на почтовых станциях, чтобы размять затекшие ноги, устраивали импровизированные «балы» в кандалах.

10) Ялуторовским декабристам иногда удавалось охладить слишком пылкое рвение местного начальства при помощи своих друзей-декабристов, живших на поселении в Тобольске и имевших доступ к высшим губернским властям. Из тобольских декабристов особенно дружили с ялуторовскими М. А. Фонвизин и его жена Н. Д. Фонвизина.

11) В воспоминаниях ялуторовской жительницы, воспитанницы М. И. Муравьева-Апостола, Е. П. Созонович эпизод с выступлением спро-

воцированных темными элементами крестьян против метеорологических работ И. Д. Якушкина рассказан очень похоже: ялуторовский городничий Скорняков действительно упрашивал Якушкина «во избежание греха» срубить столб с ветромером и получил категорический отказ (см. сборник «Декабристы. Материалы для характеристики», М. 1907 г., стр. 131—132). Таким образом и здесь Знаменский не отступил в своем романе от исторической истины.

12) Ратуша—городская управа—выборное самоуправление городских торговцев и ремесленников, введенное в России Петром I; в переносном смысле—здание, где помещается ратуша.

13) Ланкастерская школа И. Д. Якушкина и прот. С. Я. Знаменского была открыта 6 августа 1842 г. В 1842 г. в ней училось 42 мальчика, в 1843 г.—уже 91, в 1844 г.—135, в 1845 г.—184 и т. д. Наряду с детьми зажиточных родителей, в школу принимались дети бедных мещан и крестьян. Обучение велось по ланкастерскому «взаимному» методу, который заключался в том, что более способные и знающие ученики под контролем учителя передавали свои знания менее знающим. Телесных наказаний в школе не употреблялось. Слава о новой, образцово поставленной школе скоро распространилась по всей Тобольской губернии и в нее стали поступать даже дети высокопоставленных губернских чиновников из Тобольска. Смотритель ялуторовского уездного училища Лукин и другие чинуши учебного ведомства не раз пытались дискредитировать новую школу и посылали множество доносов на Якушкина. В конце концов, чтобы спасти школу, Якушкину и Знаменскому пришлось передать ее под покровительство тобольского архиерея (см. М. Знаменский. И. Д. Якушкин—«Сибирский сборник», 1886 г., кн. 3, стр. 86—105; Б. Балакшин. Воспоминания о декабристах—«Сибирские огни», 1924 г., кн. 3).

14) Квакеры—английская религиозная секта, уделявшая особое внимание чистоте и строгости нравов.

15) В заключительных главах романа Знаменского рассказывается о жизни в Ялуторовске декабристов И. И. Пущина и Е. П. Оболенского, переведенных сюда в 1843 г. Об этих декабристах Знаменский в беллетристической форме также сообщает подлинные исторические факты.

К ГЛАВЕ «ШКОЛА В СТАРОЙ СИБИРИ».

1) Ядринцев говорит об очерке некоего П. Б. «Томская гимназия в 50-х годах», напечатанном в «Сибирской газете» в 1881 г., №№ 3, 6, 7 и 14. Кажется, это—товарищ Ядринцева по Томской гимназии—П. Буткевич.

2) Приводим соответствующие места из воспоминаний П. Б.:

«...Инспектор, согнувшись, беспрерывно поправляя слезающие на нос очки, тихим лисьим шагом прокрадывается из класса в класс, выслеживая добычу. Человека два-три успело уже побывать в сторожке и получить должное возмездие за свои прегрешения из рук знаменитого в свое время исполнителя приговоров сторожа Павла Антоновича. Два мальчугана, по приказанию инспектора, стоят в коридоре на коленях и держат в назидание друг друга за волосы, следуя пословице: чем ушибся, тем и лечись. Шалунишки уморительно плачут. Вокруг наказанных собралась толпа, хохот и гоготанье.

...Вдруг в коридоре послышались поспешные шаги и крики: le singe! le singe! (обезьяна—Б. Ж.). Так назывался воспитанниками учитель французского языка Александр Иванович. В открытых дверях одного из классов показалась лысая голоса с злыми, пронзающими глазами, принадлежавшая среднего роста человеческой фигуре в учительском вицмундире... Александр Иванович вошел в класс твердой поступью и, не глядя на воспитанников, сел к учительскому столу.

— Bonjour, monsieur!

— Bonjour!—сквозь зубы процедил тот.

— Быть беде!—думали воспитанники, искоса поглядывая на учителя. Воцарилась мертвая тишина.

— Мухин, отвечайте урок!..

...— робко начинает спрошенный. В произнесенной фразе сделана была небольшая ошибка в отношении выговора.

— Repetéz! (повторите!—Б. Ж.), крикнул учитель, крикнул настолько сильно, что все воспитанники вздрогнули, что даже в соседних классах все притихло и присмирело. В то же мгновенье Мухин получает весьма веский удар в лоб перстнем, который Александр Иванович носил на правой руке. На месте ужасного щелчка показалось багровое пятно. Ошеломленный ударом, потерявший присутствие духа и всякую возможность соображать, воспитанник делает еще более ошибок при повторении злосчастной фразы. Новый еще более сильный удар и тот же оглушительный крик обезумевшего от раздражения педагога. На лбу у Мухина заалела кровь и он падает в изнеможении на парту.

— Suivant! (следующий!—Б. Ж.), задыхаясь от злости, кричит учитель...»

3) Товарищ Ядринцева по томской гимназии Николай Иванович Наумов (1838—1901 гг.), известный впоследствии беллетрист-народник. Н. И. Наумов оставил ценные воспоминания об ученических годах Ядринцева («Н. М. Ядринцев в томской гимназии»—«Сибирский сборник», 1895 г., кн. 4, стр. 1—16). Ядринцев и Наумов учились в одном (третьем) классе только один год, но дружили и впоследствии, до отъезда Наумова на военную службу в Омск. Подтверждая рассказ Ядринцева об учиненной ими над учителем Барановым шалости, Наумов оговаривает, что «шалость эту учинили мы вместе с ним по обоюдному нашему изобретению». По словам Наумова, инспектор Федор Афанасьевич Прядильщиков выдрал Ядринцева за волосы и поставил его на колени посредине класса; Наумов же остался безнаказанным.

4) Пески, Кирпичи (кирпичные заводы), Заречье, Заозерье—названия окраинных частей Томска. Происходившие в старом Томске «войнишки» описаны в известном романе писателя-сибиряка И. А. Кущевского «Николай Негорев или благополучный россиянин» (1871 г.), в котором есть также несколько ярких реалистических картин из быта старой томской гимназии. И. А. Кущевский также учился в томской гимназии, немного позже Ядринцева и Наумова.

5) Королева Марго, Госпожа де-Монсоро, Три мушкетера—заглавия увлекательных романов известного французского писателя Александра Дюма—старшего (1803—1870 гг.). Исторические романы А. Дюма пользовались широчайшей популярностью у читателей всех стран.

6) Педагогический институт был основан в Петербурге в 1804 г. для подготовки преподавателей средних учебных заведений, в 60-х годах признан несоответствующим своему назначению и закрыт. Шишков Александр Семенович (1754—1841 гг.),—адмирал, министр народного просвещения в 1824—28 гг., глава реакционной литературной партии, ведшей борьбу против нового направления русской литературы, возглавляемого Пушкиным. Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855 гг.)—известный мракобес, попечитель Казанского университета в 1819—26 гг., прославившийся своей яростной борьбой против либеральной профессуры и студенчества; довел Казанский университет почти до полного развала.

7) Аландские острова—группа островов на Балтийском море у входа в Ботнический залив. Ныне принадлежат Финляндии. Ранее на этих островах находились крепостные укрепления.

8) Томская мужская гимназия, третья по счету в старой Сибири, была открыта в 1838 г.

9) Пастора Тецлава, преподававшего в томской гимназии немецкий язык и очень плохо говорившего по-русски, современники рисуют вспыльчивым, но незлобивым чудаком. Ученики смеялись над ним в глаза и выкидывали на уроках всяческие шалости (см. Н. И. Наумов. Ядринцев в томской гимназии—«Сибирский сборник», 1895 г., кн. 4, стр. 11—14).

10) «Кокос»—прозвище преподавателя географии Федора Дмитриевича Наумова, «угощавшего» учеников «кокосами», как называл он удар в голову костяшками сжатых в кулак пальцев.

11) Настоящей причиной выхода Н. И. Наумова из 3-го класса томской гимназии были не его плохие отметки, а необходимость поддерживать обедневшую после смерти отца Н. И. семью. Для этого Наумов вступил в военную службу юнкером и прослужил в Омске до 1860 г., когда вышел в отставку и уехал в Петербург, чтобы поступить вольнослушателем в университет. Впрочем, Наумов подтверждает в своих воспоминаниях, что и он, и Ядринцев учились в казенной гимназии «не только скверно, но вернее сказать, ничему не учились», и увлекались больше чтением книг.

12) Странного в этом не было ничего: после французской революции 1848 г. имя Белинского было в николаевской России под запретом и даже в эпоху «либеральной весны» 50-х годов Н. Г. Чернышевский в своих известных «Очерках гоголевского периода русской литературы» не мог назвать его в печати открыто. Тем менее это было возможно в гимназических классах.

13) Барон Брамбеус—литературный псевдоним О. И. Сенковского (1800—1855 гг.), известного в своё время литератора, основателя и редактора широко распространенного в 30—40-х гг. журнала «Библиотека для чтения». Литературно-критические статьи Сенковского отличались фельетонной легкостью и балагурством.

14) «Русский вестник»—журнал, основанный в 1856 г. известным реакционным публицистом М. Н. Катковым, вначале стоял на позициях умеренного либерализма, пропагандируя английские конституционные порядки, но по мере усиления реакции становился все более реакционным. Устрялов Николай Герасимович (1805—1870 гг.)—известный ученый-историк, профессор Петербургского университета, автор «Русской истории» в 5 томах. Н. Г. Устрялов написал также учебник русской истории для гимназий и реальных училищ.

15) Основанный А. С. Пушкиным в 1836 г. журнал «Современник» после смерти Пушкина издавался его другом П. А. Плетневым, с 1847 г. перешел в руки В. Г. Белинского, Н. А. Некрасова и И. И. Панаева и скоро стал лучшим русским журналом того времени, с яркопрогрессивным направлением. В 50-х гг. в «Современнике» сотрудничали Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и многие другие крупнейшие радикальные и либеральные писатели той эпохи.

16) Николай Семенович Щукин-младший—сын директора иркутской гимназии С. С. Щукина, небезызвестный сибирский культурный деятель эпохи 60-х гг.; впоследствии он переехал в Иркутск, где также много хлопотал об объединении местных общественных сил. Был осужден в 1868 г. вместе с Ядринцевым по известному делу «сибирских областников», кончил жизнь помешательством. Н. С. Щукин представлял собою чрезвычайно характерный тип «пропагандиста»-общественника эпохи «либеральной весны» 50-х годов. Между прочим, он первым, учась в Петербурге, пытался организовать сибирское землячество из сибиряков-студентов, учившихся в высших учебных заведениях столицы (см. ниже, глава «Общественное оживление 60-х годов и Сибирь»).

17) Н. А. Добролюбов учился в Петербургском педагогическом институте в 1853—57 гг.

18) Известный революционер-анархист Михаил Александрович Бакунин, после освобождения из Шлиссельбургской крепости в 1857 г., был отправлен в ссылку в Томск, где прожил около двух лет до переезда в Иркутск.

19) «Искра»—знаменитый сатирический журнал, издававшийся в 1859—73 гг. поэтом В. С. Курочкиным и художником Н. А. Степановым, орган радикально настроенной разночинно-демократической интеллигенции 60-х годов. В свое время «Искра» была грозой для реакционеров всех мастей и пользовалась огромной популярностью в широких кругах демократических читателей. Царская цензура беспощадно преследовала журнал, но не могла пресечь его смелых обличений.

К ГЛАВЕ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ОЖИВЛЕНИЕ 60-х ГОДОВ И СИБИРЬ».

1) Максимов Сергей Васильевич (1831—1901 гг.)—известный писатель-этнограф, автор книг «На Востоке» (СПБ, 1864 г.) и «Сибирь и каторга» (СПБ, 1871 г.), посетил Томск в конце 1859 г. или начале 1860 г., во время своего путешествия с этнографическими целями в Амурский край.

2) «Русский вестник»—журнал, основанный в 1856 г. М. Н. Катковым, в первые годы своего издания был либеральным органом и обличал крепостнический строй. В дальнейшем, этот журнал, как и его редактор, стал одним из активнейших защитников самодержавного полицейского режима.

Ниже Ядринцев под «закинутыми в Сибирь исключительными личностями» разумеет, повидимому, М. А. Бакунина, жившего в 50-х годах в ссылке в Томске.

3) См. выше, гл. «Школа в старой Сибири», стр. 84—85 и примечания.

4) В середине 1860 г. Ядринцев, не окончив формально курса томской гимназии (не сдал выпускных экзаменов), уехал из Томска в Петербург, где поступил вольнослушателем в университет. В Петербурге Ядринцев прожил до осени 1863 г., когда вернулся в Сибирь. К этому периоду относится его сближение с Г. Н. Потаниным, оказавшее громадное влияние на всю последующую жизнь и общественную деятельность Ядринцева. Именно под влиянием Потанина Ядринцев решил возвратиться для общественной работы в духе областничества на родину, в Сибирь.

5) Курочкин Василий Степанович (1831—1875 гг.)—популярный поэт радикальной разночинной интеллигенции 60-х годов, переводчик на русский язык песен Беранже, основатель и редактор знаменитого сатирического журнала «Искра».

Мартынов Александр Евстафьевич—известный драматический артист, умерший в 1860 г.

6) Потанин Григорий Николаевич (1835—1920 гг.)—лидер сибирского областнического движения. Родился в станице Ямышевской, Петропавловского округа, в семье зажиточного казака, первоначальное образование получил в Омском кадетском корпусе, в 1858 г. поступил в Петербургский университет на естественный факультет, в 1863 г., немного раньше Ядринцева, возвратился на родину, в Сибирь. Здесь Потанин, вместе с Ядринцевым и другими единомышленниками, вскоре был арестован и предан суду по обвинению в «сепаратизме». Отбыл каторгу и ссылку в Архангельскую губ., впоследствии занимался этнографическими и археологическими изучениями, совершил ряд научных экспедиций в Монголию и Тибет. До самой своей смерти (в 1920 г. в Томске) Г. Н. Потанин стоял во главе сибирского буржуазно-областнического движения, в эпоху Великой Октябрьской социалистической революции возглавлял идейно сибирскую «областническую» контрреволюцию, был председателем так называемой Сибирской областной думы и вел борьбу против Советской власти.

В своих воспоминаниях (газ. «Сибирская жизнь», 1913 г., №№ 68 и 93) Г. Н. Потанин, подтверждая в общем нижеследующий рассказ Ядринцева о зарождении областнических идей в петербургском студенческом кружке 60 гг., указывал, что сибирское студенческое землячество сложилось в Петербурге вокруг Н. С. Щукина и студента-математика Сидорова еще в 1858 г. Это землячество просуществовало одну зиму. «Члены этого кружка все собирались возвратиться на родину, чтобы служить ей». Таким образом, кружок Потанина и Ядринцева был вторым по времени объединением учившихся в столице сибиряков. Это нисколько не снижает исключительной роли потанинского кружка в формировании сибирского областничества. Потанин и Ядринцев оказались крупнее Щукина и Сидорова и более пригодными к роли вождей и идеологов «сибирского патриотизма».

7) Федоров (литературный псевдоним Омулевский) Иннокентий Васильевич (1836—1883 гг.)—известный сибирский поэт и писатель, автор популярного в свое время романа «Шаг за шагом» и книги стихов «Песни жизни». Род. в Петропавловске на Камчатке, учился в иркутской гимназии, в 1857 г. приехал в Петербург, где и жил с некоторыми перерывами до

самой своей смерти в 1883 г. Печататься начал с конца 50-х гг., переведя на русский язык стихи польского поэта А. Мицкевича.

8) Ядринцев несовсем справедливо оценивает литературную деятельность Омулевского: Омулевский, действительно, не был первоклассным поэтом, но в плеяде радикально-демократических разночинных поэтов 60—70-х гг. он занимал не последнее место. Роман Омулевского «Шаг за шагом» с радикальными тенденциями целые десятилетия был любимым чтением демократических читателей, особенно из молодежи. Стихи Федорова-Омулевского переизданы в 1937 г. Иркутским областным издательством. Роман его переиздавался при Советской власти несколько раз.

9) Наумов Николай Иванович (1838—1901 гг.), известный впоследствии беллетрист-народник, начал свою литературную деятельность в 1858 г. рассказом «Случай из солдатской жизни». Наумов приехал в Петербург для поступления в университет в 1860 г., в 1864 г. возвратился в Сибирь. Расцвет литературной деятельности Н. И. Наумова падает на 70-е—первую половину 80-х годов.

10) Шашков Серафим Серафимович—ученый-историк и публицист, род. в 1841 г. в Иркутске, учился в иркутском духовном училище и духовной семинарии, затем в казанской духовной академии, но оставил академию, не окончив курса, и перешел в 1862 г. в Петербургский университет. Печатать научные статьи в журналах начал в 60-х гг. Вместе с Потаниным и Ядринцевым был присужден по делу сибирских областников к пятилетней ссылке, которую отбывал в г. Шенкурске, Архангельской губ. Умер в 1882 г. Наиболее известные работы С. С. Шашкова: «Исторические судьбы женщины», «Очерк истории русской женщины» и ряд ценных очерков по истории и этнографии Сибири («Рабство в Сибири», «Положение сибирских инородцев» и др.).

11) «Бездненская история»—в 1861 г., после обнародования манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости, произошли крестьянские волнения в с. Бездне, Казанской губ., перекинувшиеся и на соседние уезды. При «усмирении» войсками было убито до 50 и ранено до 300 крестьян. В Казани группа радикальной интеллигенции решила отслужить, в виде протеста, панихиду по жертвам полицейского террора. На панихиде с резкой речью выступил известный ученый, профессор Казанского университета А. П. Щапов. За эту речь он был арестован и впоследстии сослан в Иркутск. Прочие участники антиправительственной демонстрации также пострадали в той или иной мере.

12) «Век»—литературный журнал, основанный в 1861 г. в Петербурге группой литераторов (П. И. Вейнберг, А. В. Дружинин и др.) на артельных началах. С 1862 г. перешел под редакцию Г. З. Елисеева и вскоре прекратился.

13) Щапов Афанасий Прокопьевич (1830—1876 гг.)—известный ученый-историк, автор ряда ценных работ по русской истории и истории Сибири, сибиряк по рождению.

За выступление на Бездненской панихиде и вообще за политическую неблагонадежность, в 1864 г. сослан был на жительство в Иркутск, где и умер в 1876 г. В ссылке много работал по историческим вопросам и очень не ладил с сибирскими областниками.

14) Елисеев Григорий Захарович (1821—1891 гг.)—популярный в свое время публицист-народник, один из редакторов (вместе с Н. А. Некрасовым и М. Е. Салтыковым-Щедриным) известного народнического журнала «Отечественные записки». Род. в Томской губ. в семье священника.

15) И. В. Федоров-Омулевский поместил в 1866—67 гг. в «Будильнике» и «Искре» ряд сатирических стихотворений. Некоторые из них очень удачны (напр. «Свобода»).

16) Знаменский Михаил Степанович (1833—1892 гг.)—сибирский художник-карикатурист, сотрудник «Искры». Автор романа «Исчезнувшие люди» о декабристах, отрывок из которого приведен в этой книге, гл. «Культурнопросветительная деятельность декабристов в Сибири». О художнике-сибиряке Калганове нам неизвестно ничего.

17) С. С. Шашков, возвратясь из Петербурга в Сибирь, поселился в Красноярске, но приезжал в Томск для чтения лекций по истории Сибири с ярким областническим оттенком. В 1865 г. был арестован по делу сибирских областников и привезен в Омск, где содержался до суда в остроге вместе с Потаниным и Ядринцевым.

18) Песков Михаил Иванович (1834—1864)—рано умерший талантливый художник-сибиряк, один из основателей «передвижнического» направления русской живописи, автор нескольких картин на сибирские сюжеты. О нем см. А. Н. Турунов. Художник-реалист М. И. Песков. Иркутск, 1938 г.

19) Вероятно, Н. Г. Чернышевский.

20) Эту задачу выполнил впоследствии известный библиограф В. И. Межов, трехтомная «Сибирская библиография» которого вышла в свет в 1891—92 гг.

21) После волнений студентов петербургского университета, разыгравшихся в 1861 г., начальство стало очень подозрительным. Правительственная реакция вообще усиливалась в это время с каждым днем.

22) Ядринцев имеет в виду Г. Н. Потанина, С. С. Шашкова, И. В. Федорова-Омулевского и себя. Н. И. Наумов, кажется, к петербургскому сибирскому студенческому землячеству имел мало отношения.

К ГЛАВЕ «НАЧАЛО ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКИХ ОБЛАСТНИКОВ».

1) Буржуазный характер идеологии областников ярко сказался и в этих мечтах о превращении Сибири—хотя бы в отдаленном будущем— в «царицу Азии», господствующую над азиатским рынком промышленную империалистическую страну.

2) Ядринцев говорит о своей речи, произнесенной им в декабре 1863 г. в Омске на литературном вечере в пользу школы для казачьих детей и напечатанной потом в виде статьи в № 5 «Томских губернских ведомостей» за 1864 г. В этой речи-статье Ядринцев пылко ратовал за открытие в Сибири университета и организацию общественной подписки с этой целью. В 1865 г. Ядринцев поместил в «Томских губернских ведомостях» еще несколько статей, пропагандирующих главные пункты программы областников.

3) Первый в Сибири Томский университет был открыт (в первое время в составе одного лишь факультета—медицинского) 22 июля 1888 г.— 25 лет спустя после первого публичного выступления Ядринцева с идеей создания сибирского университета.

4) Забота о создании местной интеллигенции, могущей служить своему родному краю, была одним из краеугольных камней программы молодых сибирских областников. Они вели усиленную агитацию среди сибирской молодежи за поступление в высшие учебные заведения и возвращение по окончании их для общественной работы на родину, в Сибирь.

5) Г. Н. Потанин, возвратясь в 1863 г. в Сибирь из Петербурга, принял участие в научной экспедиции по Западной Сибири.

6) Должность генерал-губернатора Западной Сибири в это время исполнял генерал Панов. Генерал-губернатор А. О. Дюгамель был в Петербурге. В своих воспоминаниях он пишет, что, получив от ген. Панова известие о раскрытом «заговоре», он поспешил в Омск для расправы,—«хотя не усматривал никакой серьезной опасности в тайных происках нескольких десятков молодых людей, которые не имели никакого корня внутри страны». Истинную причину переполоха западносибирской администрации раскрыл тогдашний тобольский губернатор А. И. Деспот-Зенович, который писал впоследствии, что «если минутным утопическим мечтаниям юношей, образовавших в Петербурге сибирский кружок, придано было тогда государственное значение, то это объясняется тревожным состоянием, в котором находились правительственные власти ввиду польского восстания, резкого изобличительного направления тогдашней прессы и многих ненормальных явлений самого общества, призванного, после веко-

вого сна, к новой жизни» (см. М. Лемке «Н. М. Ядринцев», СПБ, 1904 г., стр. 64, подстрочное примечание). Реакция, смоловшая уже Н. Г. Чернышевского, М. И. Михайлова, некрасовский «Современник» и многое другое, смолола заодно и молодых сибирских областников.

7) Здесь Ядринцев, подобно Потанину, явно старается оправдаться перед царской администрацией и буржуазной общественностью в своем былом «радикализме» и «сепаратизме». Он откровенно подтверждает, что движение областников, даже в первые годы «бури и натиска», не было заострено против самодержавия, а ограничивалось требованием весьма умеренных либеральных реформ.

Позже в автобиографии, написанной в последний год жизни (в 1894 г.), Ядринцев весьма пессимистически оценивал перспективы областнического движения в Сибири, где «общество неразвито, тупо, малограмотно, и не проснулись в нем не только политические инстинкты, но и простое сознание собственного достоинства».

Такую горькую характеристику местного чиновничье-купеческого «общества» дал на склоне своих лет пламенный трубадур сибирского областничества.

8) В 1868 г. Ядринцеву, родившемуся в 1842 г., было 26 лет, С. С. Шашкову—27 (род. в 1841 г.). Самым «старым» был Г. Н. Потанин, родившийся в 1835 году.

9) Заглавие своей статьи Ядринцев указал неточно: она называется «Женщина в Сибири в XVII и XVIII столетиях»; напечатана была в «Женском вестнике» в 1867 г. (кн. 8). «Русская община в тюрьме и ссылке»—первая крупная работа Н. М. Ядринцева, вышла отдельным изданием в 1872 г. и принесла ему литературную известность, проникшую даже в высшие бюрократические сферы.

К ГЛАВЕ «НАЧАЛО ГАЗЕТНОЙ ПЕЧАТИ В СИБИРИ».

1) Повидимому, «Томские губернские ведомости», начавшие выходить в 1857 г. Многие изложенные ниже факты, как это известно из других источников, относятся именно к «Томским губернским ведомостям».

2) Яков Степанович Сергеев—преподаватель русского языка и словесности в томской гимназии 50-х гг. О нем см. выше, гл. «Школа в старой Сибири».

3) Н. М. Ядринцев в статье «Начало печати в Сибири» (Литературный сборник газеты «Восточное обозрение», СПБ, 1885 г., стр. 373—374) так охарактеризовал значение губернских ведомостей, выходивших с 1857 г. в губернских городах Сибири—Иркутске, Томске, Красноярске и Тобольске:

«Во все время своего существования до возникновения частной литературной деятельности в Сибири и ученых обществ (с их изданиями—Б. Ж.) губернские ведомости были единственным прибежищем пишущих образованных людей Сибири. Поэтому в них раскидано немало этнографического и бытового материала. Впоследствии этот материал перешел в отделы географического общества, открытые в Иркутске и Омске. Временами губернские ведомости печатали акты из местных архивов и памятники старины и в этом случае, так сказать, были полезным складом вспомогательного материала. Зато они вовсе не могли удовлетворять требованиям литературного органа и оказывались ниже принятой роли, когда пускались характеризовать общественную жизнь, прибегали к приемам фельетона или помещали официальные корреспонденции с целью угодить местному администратору. Восхваление губернских прелестей было убого... Всякая попытка конкурировать с частными изданиями по части литературного материала да еще вести с ними полемику, обыкновенно и до последнего времени кончается плачевно. Сибирские губернские ведомости утратили уже свое прежнее значение».

4) Повидимому, речь здесь идет о томском губернаторе 80-х годов В. И. Мерцалове, который снисходительно ходатайствовал о разрешении издания «Сибирской газеты» в надежде иметь свой «лейб-орган», а когда

обманулся в своих ожиданиях, то пытался основать рептильную газетку, которая была бы всецело в его распоряжении. Ср. ниже воспоминания П. И. Макушина.

5) Подобная «литература», понятно, не могла иметь никакого общественного значения, и с основанием местной общественной печати, «Губернские ведомости» окончательно сошли на нет.

6) Первый в Сибири книжный магазин был открыт П. И. Макушиным в компании с купцом В. В. Михайловым в 70-х годах в Томске. При магазине существовал «кабинет для чтения» журналов и газет.

7) В 70-х—начале 80-х гг., в связи с разгромом первой волны народнического движения, приток политических ссыльных в Сибирь принял массовый характер и далее все увеличивался по мере роста массового революционного движения.

8) Адрианов Александр Васильевич (1853—1920 гг.)—сибирский ученый—этнограф и общественный деятель, ярый областник, в годы гражданской войны занимал резко антисоветскую позицию, расстрелян в Томске в 1920 году. Муромов И. Г.—бухгалтер томского отделения государственного банка. Войцеховский А. М.—польский националист, сосланный в Сибирь за участие в польском восстании 1863 г.; он был хорошо образован, владел несколькими иностранными языками и живо интересовался европейскими политическими делами.

9) Жандармы, конечно, сильно преувеличивали «революционность» «Сибирской газеты»; все время своего существования она была лишь органом либеральной местной буржуазии с народническим оттенком, который придавали ей сотрудничавшие в газете политические ссыльные—народники.

10) Волховской Феликс Вадимович (1846—1914 гг.)—литературный псевдоним Иван Брут,—известный революционер-народник, присужденный по знаменитому процессу 193-х к ссылке в Сибирь. За участие в «Сибирской газете» и предоставление американскому журналисту Дж. Кеннану сведений о положении политических ссыльных в Сибири, Волховской был выслан из Томска в Забайкалье, откуда, при содействии Кеннана, бежал за границу. Клеменц Дмитрий Александрович (1848—1914 гг.)—один из первых народников-«пропагандистов», редактор нелегального народнического журнала «Земля и воля», был сослан в Сибирь в 1881 г., известен также своими этнографическими работами. Корш Евгений Васильевич—петербургский адвокат, сосланный в Сибирь по уголовному делу. Впоследствии принимал активнейшее участие в организации «Сибирского вестника»—первой сибирской рептильной газеты, начавшей выходить в 1885 г. «Сибирский вестник» вел с либеральной «Сибирской газетой» свирепую борьбу, не стесняясь средствами.

11) Голубев Петр Александрович—политический ссыльный-народник, работал в области статистики. Станюкович Константин Михайлович (1844—1903 гг.)—известный беллетрист, автор «Морских рассказов», был сослан в 1885 г. на три года в Томск за помещение в редактируемом им журнале «Дело» статей, непонравившихся царскому правительству. Чудновский Соломон Лазаревич (1849—1912 гг.)—активный участник народнического движения, был арестован в 1878 г. и приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в Сибирь. Ссылку отбывал в Енисейске, Томске и Иркутске. Покинул Сибирь в 1905 г. Впоследствии примкнул к кадетам.

12) Это, конечно, было сильным преувеличением: Макушин был не более чем буржуазным либералом, ни о каком «очаге революции» в его квартире не могло быть и речи.

13) Деспот-Зенович А. И.—тобольский и забайкальский губернатор, впоследствии член совета министра внутренних дел, имел репутацию «либерала».

14) Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866 гг.)—известный революционер, стрелявший 4/IV-1866 г. в Летнем саду в Петербурге в Александра II.

15) «Московские ведомости», 1886 г., № 25—примечание П. И. Макушина. Газету «Московские ведомости» в 1863—87 гг. редактировал известный реакционный публицист М. Н. Катков, часто впадавший в крайности и пугавший неистовыми выходками даже царское правительство. Катков вел против «нигилизма» яростную борьбу, не останавливаясь перед клеветой и доносами.

16) Лишь через 6 лет, в 1894 г., П. И. Макушину удалось получить разрешение на издание «Томского справочного листка», который еще через несколько лет развернулся в большую ежедневную газету «Сибирская жизнь». О начальном периоде «Сибирской жизни» см. в тех же воспоминаниях П. И. Макушина. «Сибирская жизнь» просуществовала до конца 1919 г. В эпоху Октябрьской революции «С. Ж.» из либерального когда-то органа кадетского пошиба выродилась в открыто-контрреволюционный орган и была закрыта Советской властью.

К ГЛАВЕ «РЕВОЛЮЦИОННАЯ РАБОЧАЯ ПЕЧАТЬ В СИБИРИ».

1) «Рабочая мысль»—газета, выходившая в 1897—1902 гг., орган так называемых «экономистов», ограничивавших классовые цели пролетариата борьбой за улучшение его экономического положения и отрицавших политическую революционную борьбу рабочих против царского самодержавия. С оппортунизмом «экономистов» энергично боролся В. И. Ленин. В своей знаменитой брошюре «Что делать?», вышедшей в 1902 г., Ленин нанес «экономизму» сокрушительный удар. «Да, господа,—писал Ленин (Сочинения, т. IV, стр. 369), обращаясь к «экономистам»,—вы свободны не только звать, но и итти куда вам угодно, хотя бы в болото; мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам посильное содействие к вашему переселению туда. Но только оставьте тогда наши руки, не хватайтесь за нас и не пачкайте великого слова свобода, потому что мы ведь тоже «свободны» идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту!»

Еще раньше, в 1899 г., находясь в сибирской ссылке, Ленин организовал энергичный протест ссыльных социал-демократов (так называемый «протест 17-ти») против известной статьи Е. Д. Кусковой «Credo», представлявшей собой программное изложение основ «экономизма». О том, как возник этот протест и о роли Ленина в его организации, старый большевик П. Н. Лепешинский рассказывает следующее:

«Все социал-демократы Минусинского уезда летом (кажется, в июле) 1899 г. собрались по инициативе Владимира Ильича, чтобы достойным образом реагировать на пресловутое profession de foi (исповедание веры—Б. Ж.) так называемых «молодых» социал-демократов,—на известный, ставший историческим документ под названием «Credo». Получивши из Петербурга рукопись с этим «Кредо», Владимир Ильич взволновался, как охотник, почуявший близость очень крупной дичи. Он сейчас же составил себе план отповеди авторам «Credo» и набросал проект протеста против этого нового символа веры. Было решено «Протест» сделать коллективным, и для этой цели всем товарищам собраться в с. Ермаковском...» (См. П. Н. Лепешинский. На повороте. М. 1935 г., стр. 117). См. также выше, стр. 124—126, из воспоминаний А. С. Шаповалова.

Протест был нелегальными путями переслан за границу и в конце 1899 г. появился в заграничной (русской нелегальной) с.-д. печати.

«Пресловутое «Credo»—писал впоследствии в «Что делать?» Ленин (Соч., т. IV, стр. 375)—потому и приобрело такую заслуженную знаменитость, что оно... проболтало основную политическую тенденцию «экономизма»: рабочие пусть ведут экономическую борьбу (точнее было бы сказать: тред-юнионистскую борьбу, ибо последняя объемлет и специфически рабочую политику), а марксистская интеллигенция пусть сливается с либералами для «борьбы» политической. Тред-юнионистская работа «в народе»

сказывалась исполнением первой, легальная критика—второй половины этой задачи. Это заявление было таким прекрасным оружием против экономизма, что если бы не было «Credo»—его стоило бы выдумать».

2) Каутский Карл—известный теоретик германской социал-демократии, впоследствии социал-фашист (умер в 1938 г.). Эрфуртская программа была принята съездом германской социал-демократической партии в Эрфурте в 1891 г. и формулировала основные требования революционно-классового движения пролетариата. Липперт Юлиус (1839—1909 гг.)—известный австрийский ученый-историк культуры; его популярная «История культуры», переведенная на русский язык, была одним из основных пособий по самообразованию в подпольных революционных рабочих кружках.

3) Томский университет, открытый в 1888 г., и Технологический институт, открытый в 1900 г.

4) Таким образом, сибирские социал-демократические организации с самого первого момента своего зарождения заняли позицию, резко противоположную позиции областников, которые на первый план выдвигали местные нужды Сибири, а не общие задачи революционной борьбы с самодержавием. Буржуазные либералы-областники думали, что нужды края можно удовлетворить путем постепенных реформ в рамках царско-капиталистического строя.

5) Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия образовалась, как известно, в 1898 г., но объединение разрозненных подпольных социал-демократических кружков в широкую партию произошло только в 1903 г. на втором съезде партии, состоявшемся за границей, в Брюсселе (Бельгия) и в Лондоне.

6) Калмаков Н. С.—рабочий, проживает в настоящее время (1927 г.—Б. Ж.) в Сибири.—Примечание в оригинале очерка.

7) Томский архиерей, впоследствии митрополит московский, Макарий известен не только страстью к нравоучительным проповедям: 20 октября 1905 г. он торжественно благословил томских черносотенных погромщиков на погром и убийства ни в чем неповинных людей.

8) Рогов А. Г.—сын чернорабочего, слесарь. С 1903 г. социал-демократ (большевик), работал в Красноярске, Петербурге, Баку, Харбине. Много раз арестовывался. В 1911—17 гг. отбывал каторгу, ныне проживает в Москве. Член ВКП(б).

9) «Письмо к товарищу о наших организационных задачах», было написано В. И. Лениным в 1902 г. в ответ на письмо петербургского эсдека А. А. Шнейрсона, выдвигавшего проект организации с.-д. работы в Петербурге. Ленин в этом листке высказывался за централистически построенную конспиративную организацию и за то, чтобы во всей организационной работе «особенно подчеркивать задачи общерусской работы и всей партии вообще» (см. Соч., т. V, стр. 179—192 и прим. 53). «Письмо к товарищу» было в июне 1903 г. нелегально издано Сибирским соц.-дем. союзом; в 1904 г. оно было переиздано за границей с предисловием и послесловием В. И. Ленина.

10) В 1902 г. В. И. выпустил свою знаменитую брошюру «Что делать?», в которой нанес сокрушительный удар оппортунистам всех мастей внутри партии. «Искра» была создана в 1900 г. и руководилась (до № 52, когда ее захватили меньшевики) Лениным, как боевой орган революционной социал-демократии. «Искра» боролась за создание крепкой революционной партии, способной возглавить массы в предстоящих революционных боях, и по существу подготовила идейное и организационное оформление большевистского крыла РСДРП.

«Ленин считал, что построение политической партии рабочего класса следует начать с организации общерусской боевой политической газеты, ведущей пропаганду и агитацию за взгляды революционной социал-демократии,—что постановка такой газеты должна быть первым шагом построения партии...

Ленин считал, что такая газета послужит не только средством идейного сплочения партии, но и средством организационного объединения местных организаций в партию. Сеть агентов и корреспондентов такой газеты, являющихся представителями местных организаций, послужит тем остовом, вокруг которого и будет собрана организационно партия... И, действительно, «Искра» стала такой именно общерусской политической газетой, подготовившей идейное и организационное сплочение партии...

Историческое значение «Что делать?» состоит в том, что Ленин в этой своей знаменитой книге:

1) Первый в истории марксистской мысли обнажил до корней идейные истоки оппортунизма, показав, что они заключаются прежде всего в преклонении перед стихийностью рабочего движения и в принижении роли социалистического сознания в рабочем движении.

2) Поднял на высоту значение теории, сознательности, партии, как революционизирующей и руководящей силы стихийного рабочего движения.

3) Блестяще обосновал коренное марксистское положение, гласящее, что марксистская партия есть соединение рабочего движения с социализмом.

4) Дал гениальную разработку идеологических основ марксистской партии.

Теоретические положения, развитые в «Что делать?», легли потом в основу идеологии большевистской партии» (Краткий курс истории ВКП(б), Госполитиздат, 1938 г., стр. 32—33 и 37—38).

11) «Заря»—нелегальный с.-д. журнал, выходивший в 1901—02 гг. за границей под редакцией В. И. Ленина и Г. В. Плеханова.

12) Далее в очерке рассказывается о работе подпольных с.-д. типографий в период первой революции 1905 г. и приводятся статистические данные о числе подпольных типографий в Сибири. В 1905—06 гг. на территории Сибири от Кургана до Харбина насчитывалось более десяти подпольных типографий с печатными станками, а в Томске даже две. Этот список подпольных типографий еще не полон.

В работе подпольных томских типографий энергичное участие принимал С. М. Киров, живший в 1904—06 гг. в Томске.

13) В настоящее время т. В. Виноградов—покойный. Примечание в оригинале очерка.

К ГЛАВЕ «ИЗ БЫТА РАБОЧИХ СИБИРСКИХ ЗОЛОТЫХ ПРИИСКОВ»

1) Иван Михайлович (возможно, лицо вымышленное)—дорожный спутник автора, доверенный крупного золотопромышленника.

2) «Это факт. Великому множеству выпиваемого шампанского в Сибири уже давно удивлялись по цифрам; в прекратившейся газете «Весть» было высчитано, что если граф Воронцов, производитель вина из крымского винограда, пустит в Сибирь весь столетний запас своего производства, то эту громаду сибирские золотопромышленники выпьют в один год».—Примечание Кущевского.

3) «Лицо историческое. Все богатейшие прииски в Сибири открыты им. Он умер в крайней бедности, будучи разбит параличом и бесприютен, даже без необходимой одежды». Примечание Кущевского. Этот пример ярко показывает, как обращалась даже со своими лучшими, вернейшими слугами хищная сибирская буржуазия.

4) Ястребов—управляющий казенным золотым прииском на Алтае; Анзаров—молодой горный инженер, посланный из Барнаула расследовать правильность поданной на Ястребова жалобы. Сунгуров—горный урядник, правая рука Ястребова. Гурин—молодой штейгер из рабочих, доведенный издевательствами Ястребова до отчаяния. Фролов—рабочий, друг Гурина.

К ГЛАВЕ «ИЗ БЫТА СИБИРСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА ДО РЕВОЛЮЦИИ 1905 года».

1) Почти полное отсутствие в Сибири дворянского землевладения и относительное, до начала массового переселенческого движения из-за Урала,

земельное приволье являлись главными причинами относительной, по сравнению с Европейской Россией, зажиточности старожилого сибирского крестьянства, так поражавшей Г. Успенского, А. П. Чехова и других наблюдателей жизни сибирских крестьян. Следует подчеркнуть, что наблюдения Успенского и Чехова относятся к зажиточной верхушке сибирских старожилов.

2) Необходимо указать, что зажиточность крестьян села Тарбагатай была основана именно на том обстоятельстве, что они явились в Сибирь с деньгами и вследствие этого могли эксплоатировать труд ссыльных и окружающих бурят. Положение других переселенцев в Сибири было далеко не столь выгодным, и они влачили жалкое существование. Тяжкое положение переселенцев, между прочим, ярко отражено в очерке писателя-сибиряка Н. И. Наумова «Картинка с натуры»—1894 г. (см. Н. И. Наумов. Рассказы о старой Сибири, Новосибирск, 1937 г., стр. 348—372).

3) Другой декабрист, А. П. Беляев, описывал Тарбагатай и другие старообрядческие поселенья в Забайкалье очень похожим образом (см. «Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном», СПБ, 1882 г., стр. 236—237). А. П. Беляев отмечал, что из забайкальских крестьян-раскольников «многие выписывали и читали журналы и газеты, интересовались современностью и охотно входили в религиозные разговоры с многими из наших». Среди забайкальских раскольников «не заметно было того фанатизма и нетерпимости, какими отличаются закоренелые и невежественные раскольники в России».

Причинами зажиточной и относительно культурной жизни сибирских—не только забайкальских, но и ленских и енисейских—крестьян А. П. Беляев считал «страшный земельный простор, девственную почву, бесчисленные стада крупного и мелкого скота, табуны лошадей». «Но все же,—добавлял Беляев (там же, стр. 265),—свобода сибиряков, никогда не знавших крепостного права, свободный труд, более всего способствовали их процветанию».

4) Как в записках А. Е. Розена, так и в путевых очерках А. П. Чехова быт зажиточной части сибирского крестьянства изображен в несколько идиллических тонах, что объясняется кратковременностью путевых наблюдений этих мемуаристов. На самом деле в старой сибирской деревне было уже много и отрицательных явлений: и классовое расслоение, и выделение кулачества, и закабаление бедноты кулаками, и притеснения со стороны чиновников и т. д. Ср. ниже—отрывки из книг Кеннана и Белоконского.

К ГЛАВЕ «СИБИРЬ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА».

1) Это были: 1) кружок «экономистов»-оппортунистов, ограничивавших борьбу рабочих борьбой за улучшение своего экономического положения и «отрицавших» политику; 2) группа тов. Баранского, состоявшая, главным образом, из студентов и рабочих и развертывавшая агитационную работу в массах, и 3) еще одна группа социал-демократов, преимущественно студенческого состава. О работе этих групп см. Баранский, указ. книга, стр. 13—14.

2) О значении брошюры В. И. Ленина «Что делать?» и основанной Лениным в 1900 г. газеты «Искра» в развитии революционного соц.-дем. движения в России см. выше, примечание 10 к главе «Рабочая революционная печать в Сибири». В упомянутой Баранским декларации Сибирский Соц.-дем. союз, заявляя о своем присоединении к Российской социал-демократической рабочей партии, писал:

«Признавая основной целью своей деятельности внесение в классовую борьбу пролетариата сознания его положения и сознания его задачи,—развитие его классового самосознания, раскрытие ему враждебной противоположности его классового интереса интересам буржуазии,—Социал-демократический союз решительно отвергает оппортунизм как в теории, так и на практике революционной борьбы. Работу в

духе бернштейнианства, тред-юнионизма и терроризма, свидетельствующую о преклонении революционеров перед стихийностью движения, о принижении и сужении революционной деятельности, Союз считает несовместимой с истинными задачами социал-демократии, как сознательной руководительницы организованного классового движения пролетариата, борющейся против всех условий, могущих подчинить классовое сознание пролетариата элементам буржуазной демократии и являющейся партией не «экономической борьбы» «рабочих организаций» с «хозяевами и правительством» за «ближайшие, конкретные, сулящие осязательные результаты экономические и политические требования», а партией широкой революционно-политической борьбы за социалистический переворот» (разрядка оригинала—Б. Ж.).

Указывая дальше, что социалистический переворот в царско-деспотической России недостижим без предварительного революционного свержения царизма, Сибирский с.-д. союз выдвигал эту «ближайшую политическую задачу социалистического движения русского пролетариата» на первый план (см. приложения к книге Баранского, стр. 70—71). Вскоре большевики-искровцы одержали, хотя и не без борьбы, внутри Сибирского с.-д. союза решительную победу над «экономистами».

3) «Заря»—соц.-дем. журнал, выходивший за границей (в Штутгарте, Германия) с апреля 1901 г. по август 1902 г. под редакцией В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, Ю. О. Мартова, П. Б. Аксельрод, А. Н. Потресова и В. И. Засулич. «Заря» поддерживала «Искру» в ее борьбе против «экономизма» и других разновидностей оппортунизма в социал-демократическом движении.

4) Доброхотов Николай Михайлович—сибирский подпольный работник, впоследствии примкнул к меньшевикам и «эволюционировал» все более и более вправо, после Октябрьской революции эмигрировал за границу.

5) Подробнее о работе подпольных томских соц.-дем. типографий см. выше, в главе «Революционная рабочая печать в Сибири».

6) Далее Н. Н. Баранский рассказывает о своей подпольной революционной работе в Екатеринбурге (ныне Свердловск) и Перми, куда его направило Восточное бюро ЦК РСДРП. Вернулся Баранский с Урала в Томск в середине или конце мая 1904 г.

7) Гутовский (Маевский) Викентий Аницетович—сибирский подпольный работник, один из основателей Сибирского соц.-дем. союза, вскоре примкнул к меньшевикам и вел против большевиков активную борьбу. Расстрелян колчаковцами в декабре 1918 г. в Омске.

8) Мышкин Ипполит Никитич (1840—1885 гг.)—известный революционер-народник, судившийся по знаменитому «процессу 193-х» и произнесший на суде ярко революционную речь. Между прочим, в 1875 г. Мышкин предпринял неудачную попытку освободить из сибирской ссылки Н. Г. Чернышевского. Казнен в 1885 г. в Шлиссельбургской крепости.

Читинские ж.-д. рабочие вскоре, в эпоху революции 1905 г., доказали свою классовую зрелость и сознательность. Вплоть до прибытия карательных отрядов генералов Меллер-Закомельского и Ренненкампфа власть в Чите фактически находилась в руках восставшего под руководством партии большевиков пролетариата; сам военный губернатор Холщевников «добровольно» передал власть в руки рабочих. Так называемая «Читинская республика» была одним из самых выдающихся событий революции 1905 года в Сибири (см. воспоминания Баранского, стр. 42—46, и др. историч. источники).

9) Народовольцы—члены подпольной революционной партии «Народная воля», образовавшейся в 1879 г. и ставившей своей главной целью террористическую борьбу с царизмом; в 1881 г. народовольцы казнили Александра II. Народоправцы—члены умеренно-народнической партии «Народное право», основанной в 1893 г. группой старых народников (М. А. Натансон, Н. С. Тютчев и др.); партия эта была разгромлена

жандармами в 1894 г. и более не возродилась. Бунд—партия еврейских ремесленников и мелкой буржуазии, основанная в конце 90-х годов; все время своего существования вплоть до Октябрьской революции Бунд проявлял большую склонность к оппортунизму и «экономизму». ППС—партия польских социалистов с сильным националистическим оттенком, после Октябрьской социалистической революции превратилась в социал-фашистскую. Махайцы или махаевцы—сторонники вульгарного полуанархиста Я. Махайского, отрицавшие роль революционной теории, политическую борьбу рабочего класса и враждебно-хулигански относившиеся к интеллигенции, даже трудовой и демократической. Эсеры—члены партии «социалистов-революционеров», основанной в 1901 г.; партия эсеров, отражавшая интересы зажиточной верхушки крестьянства и городской мелкой буржуазии, вела против социал-демократов-большевиков яростную борьбу и в момент Октябрьской революции окончательно скатилась в контрреволюционное болото.

10) Вскоре, в октябре 1905 г., лозунг о стачке был претворен в жизнь: сибирские железнодорожники дружно поддержали всеобщую забастовку зауральских железнодорожников и бастовали до тех пор, пока не прекратилась забастовка на железных дорогах центра.

11) Работа эта заключалась главным образом в распространении напечатанных в подпольных типографиях прокламаций против царизма и войны и в устной агитации в рабочих и студенческих массах. Далее в воспоминаниях Н. Н. Баранского приведено немало интересных фактов революционной деятельности Сибирского соц.-дем. союза в эпоху первой русской революции 1905 года.

О Сибирском с.-д. союзе см. также статью Г. Бузурбаева «Сибирский союз РСДРП»—ж. «Сибирские огни», 1939 г., кн. 2.

Содержание

Б. Жеребцов. Старая Сибирь в воспоминаниях современников III
Глава I. Сибирский быт в конце XVIII—начале XIX вв. 1
Глава II. Общественная жизнь Сибири в начале XIX в. 11
Глава III. Зарождение сибирского областничества 23
Глава IV. Сибирское общество и декабристы 41
Глава V. Культурнопросветительная деятельность декабристов в Сибири . 57
Глава VI. Школа в старой Сибири . 77
Глава VII. Общественное оживление 60-х годов и Сибирь 86
Глава VIII. Начало общественной деятельности сибирских областников . 103
Глава IX. Начало газетной печати в Сибири 112
Глава X. Революционная рабочая печать в Сибири 121
Глава XI. Из быта рабочих сибирских золотых приисков 133
Глава XII. Из быта сибирских железнодорожных рабочих до революции 1905 г. 141
Глава XIII. Из быта сибирского крестьянства до революции 1905 г. . . 151
Глава XIV. Сибирь накануне революции 1905 года 162
Примечания . 170

Старая Сибирь в воспоминаниях современников. Ирк. обл. изд-во. 1939. Огиз № 1143. Инд. Эк-1в.

Отв. редактор В. И. Соколов. Техн. редактор М. Ф. Клинской.
Корректор Т. В. Расина.

Сдано в набор 7/II-1939 г. Подп. к печати 20 XI-1939 г. Бумага 60×92. Бум. листов $6^7/_{16}$. Печ. листов $12^7/_8$. Учетно-изд. листов 18,4. Уполн. Обллита № 4091. Тираж 5000. Заказ № 438.

Отп. в Иркутской тип. Огиза треста „Полиграфкнига“, ул. К. Маркса, 19.

1944

5 р. 60 к.

2007333114